ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ

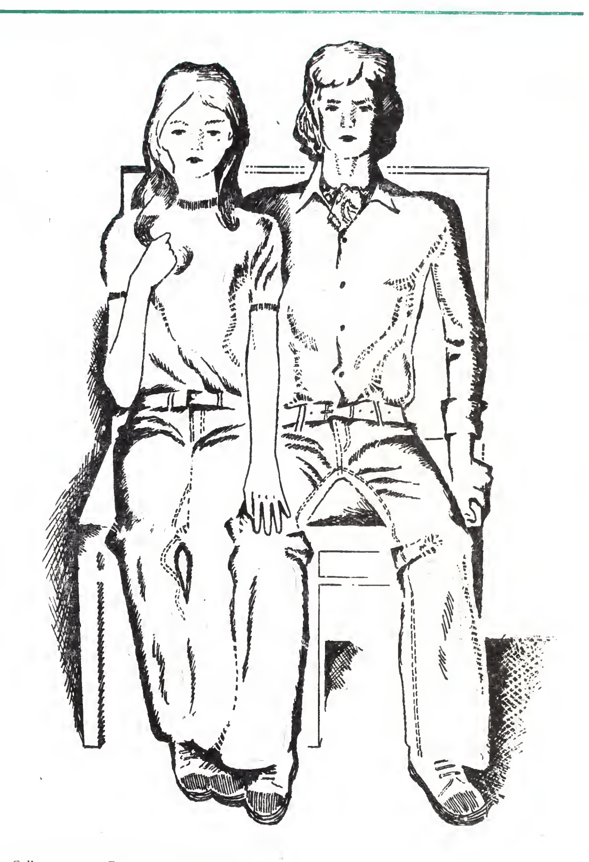


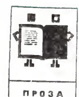
1 (236)
ЯНВАРЬ
1975

Журнал
основан
в
1955
году

Итоги конкурса «Зеленого листка» за 1974 год — *на стр. 111 и третьей странице обложки этого номера.*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА





ПРОЗА

Анатолий
ТОБОЛЯК



Анатолий ТОБОЛЯК родился в г. Новокузнецке, Кемеровской области. Рос и учился в Сибири и на Урале. После окончания средней школы сотрудничал в редакции городской газеты «Орский рабочий». Заочно учился на факультете журналистики Уральского государственного университета. Затем работал на Крайнем Севере (Таймыр, Эвенкия) и в Средней Азии. Сейчас Анатолий Тоболяк — корреспондент Сахалинского областного комитета по телевидению и радиовещанию. Это его первая повесть.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

ПОВЕСТЬ

I



Я познакомился с ними в один из последних августовских дней.

Помню, меня задержала на работе неоконченная статья для журнала «Телевидение и радиовещание». К шести часам сотрудники разошлись по домам, редакция опустела, лишь в аппаратной слышались голоса дежурных операторов.

Я сидел около окна за пишущей машинкой, поглядывал на широкую и пустынную полосу реки, на далекую желтизну сопок, курил, стряхивая пепел в бобышку от стационарного магнитофона, и время от времени постукивал по клавишам двумя пальцами... Солнце стояло высоко, комната была залита светом. Около моих ног валялся, как бездыханный, пес Кучум. Изредка по телу его пробегала дрожь, не иначе он видел во сне белоснежные поляны, перечеркнутые тонким собольим следом... Тихонько мурлыкал репродуктор на стене. Под музыку в голове бродили всякие посторонние мысли. Неплохо бы, думал я, поехать сейчас в отпуск, поваляться где-нибудь на южном пляже, попить пивка вволю, а потом закатиться с женой в Прибалтику, послушать орган в Каукасе, побывать, наконец, в музее Чюрлёниса... Да, неплохо бы, думал я, а пальцы между тем выстукивали скучную фразу: «...накоплен опыт освещения работы оленеводческих бригад»..

Еще я думал о том, что таймени на Виви в такую пору славно берутся на желтую блесну и не худо бы подговорить знакомых вертолетчиков слетать на рыбалку. И пора бы уже найти более расторопного работника, чем Иван Иванович Суворов, и зама не мешало бы иметь посимпатичней, чем Юлия Павловна Мусова, и сатирический радиожурнал возобновить неплохо бы...

«...практикуются частые поездки в отдаленные бригады»...

Дверь распахнулась.

— Можно?

Вошел высокий молодой человек в ярко-красной рубашке, джинсах и кедах. Его светлые, давно не стриженные волосы клубились на голове. Вокруг шеи был повя-

Рисунки
А. БАРАХТЯНСКОГО.

зан цветной платок. Узкое загорелое лицо освещали голубые глаза. На вид ему было лет восемнадцать.

Он остановился посреди комнаты, нахмурился и спросил, где найти главного редактора. Вопрос прозвучал с вызовом. Кучум поднял морду и легонько зарычал.

— Слушаю вас.

— Вы главный редактор?

Я подтвердил: совершенно верно, главный редактор собственной персоной.

— Можно с вами поговорить?

Я пожал плечами: отчего бы и нет, пожалуйста. Посетитель крутнулся на резиновых подошвах.

— Одну секунду! — и скрылся за дверью.

Я закурил новую сигарету. В коридоре слышался быстрый шепот, какая-то странная возня. Наконец он появился снова, ведя за руку, точно ребенка через опасный перекресток, тоненькую девушку. Она была одного возраста со своим спутником, в таких же, как он, джинсах и кедах. Неуловимое сходство угадывалось и в их лицах — загорелых и узких, хотя волосы у нее были каштановые, гладкие, открывающие выпуклый лоб, а глаза посверкивали, как обточенные камешки янтаря.

Она вошла с закушенной губой, пылающими щеками, шепнула:

— Здравствуйте.

Мы с Кучумом встали как по команде.

— Проходите, садитесь, ребята! — пригласил я.

Они переглянулись.

— Садитесь, садитесь,— повторил я приветливо.

Они опять переглянулись.

— Сядем,— сказал он, глядя на девушку.

Они расцепили руки и опустились рядышком на стулья около стены. Кучум тотчас приблизился к незнакомцам, принялся обнюхивать их колени. Рука девушки скользнула ему на загривок. Он вздохнул и повалился на пол, как подкошенный.

Я рассмеялся. Девушка подняла глаза и робко улыбнулась. Ее спутник ткнул Кучума кедом в бок и вдруг звонко ляпнул:

— Ваш сотрудник?

Девушка бросила на него быстрый беспокойный взгляд.

Я слегка удивился.

— Нет, в штат его не взяли. Голос не радиофоничный. Но соболей, между прочим, загоняет отменно.

— И оберегает вас от посетителей?

— Сережа...— шепнула девушка.

Он повернулся к ней:

— А что я сказал? Я только спросил.— И снова ко мне:— Я вас не оскорбил?

— Меня? Оскорбили?

Довольно холодно я ответил, что не замечаю ничего оскорбительного в его шутке, и добавил, что посетители в редакции — всегда желанные гости.

— Вот видишь,— бросил он девушке, и его пальцы быстро коснулись ее руки, словно успокаивая.

— Слушаю вас, ребята.

Он тряхнул светловолосой головой и выпалил:

— Мы ищем работу. Есть у вас вакансии?

Это было неожиданно.

Оба не мигая смотрели на меня.

В некотором замешательстве я принялся раскуривать погасшую сигарету.

— Работу... у нас в редакции? А кто вы такие, ребята? Откуда вы?

— Сначала скажите: есть у вас вакансии? Если есть, мы расскажем о себе. А нет — уйдем.

— Ой, Сережа...

— Зря болтать нет смысла, верно?

— Вы уж так прямо быка за рога...

— А зачем зря тратить время? Мы не бессмертные.

— Ой, Сережа... пожалуйста...

— Лучше сразу: есть у вас вакансии или нет?

— Ну-у...— протянул я, слегка ошеломленный.— Это зависит от того, на что вы претендуете. Мне не совсем понятно, какую работу вы хотите получить. У нас есть должности технические, есть творческие. Может, вы поясните, что вас интересует?

— Одна творческая, одна техническая.

— Ага! Одна творческая и одна техническая. А точнее можно?

— Пожалуйста! Катя,— кивнул он на девушку, и ее лицо вспыхнуло, как факелок,— хочет работать машинисткой. А я умею писать.

Так и заявил: «Я умею писать»!

Кажется, я не сдержал улыбку. Он заметил и сразу нахмурился.

— Вы не верите?

— Да нет, почему же... Писать сейчас умеет каждый. И читать. Я хочу сказать, что сейчас все грамотные. Вы работали на радио?

— Сначала скажите, есть у вас вакансии?

— Предположим, есть.

— Предположим, работал.

Девушка закрыла лицо руками.

— Ну и ну! — покачал я головой.— Кто вас научил так устраиваться на работу? Есть у меня вакансии. Без всяких «предположим». Но это еще ничего не значит, согласитесь.

— Вам нужны работники, так?

— Ну, так.

— Корреспондент и машинистка, так?

— Так.

— Вот это деловой разговор. Можете спрашивать.

— А что я должен спрашивать?

— Кто мы, откуда мы — все, что нужно.

«Мы, мы, мы...» Я откинулся на стуле, с интересом разглядывая обоих.

— Хорошо, будь по-вашему. Откуда вы, ребята?

— Из Москвы.

— Ого! Издалека. И что вас сюда привело, если не секрет?

— Мы ищем работу, я сказал. В Москве мы учились.

— А, учились! Где?

— В школе, разумеется.

— Почему «разумеется»? Могли и в техникуме и в училище. Десять классов закончили?

— Да, по десятке.

— И что же... получили аттестаты — и сразу на самолет? Вы извините, что я так расспрашиваю. Но, коли пришли устраиваться на работу, я должен знать, что̀ вы собой представляете.

— Понятно! — перебил он нетерпеливо. — Мы должны представиться. А вас как зовут?

— Ох, Сережа...— пронесся вздох девушки.

— Действительно,— согласился я,— это упущение. Меня зовут Борис Антонович. Фамилия Воронин. Должность моя вам уже известна.

— А мы Кротовы. Сергей и Катя. В институт мы не поступали. Хотели, да раздумали. Нам было не до этого. Мы поженились и решили работать.

Наступило молчание. Я старательно тушил окурок, собираясь с мыслями. Оба не спускали с меня глаз.

— Вот оно что...— промямлил я.— А ведь, откровенно говоря, я подумал...

— Вы подумали, что мы брат и сестра! — опередил он меня.

— Вот именно. Вы чем-то похожи друг на друга.

— Нам уже это говорили. Знаете, кто? Редактор вашей местной газеты. Мы ей сказали, что мы муж

и жена. Она всплеснула руками и закудахтала, как курица. Она случайно не старая дева?

— Что-что? — изумился я.

— Мы подумали, она старая дева...

— Черт возьми! Ну и суждения у вас!

— А что, не правда?

— Нет, конечно. У нее трое взрослых детей.

— А по натуре ханжа.

— Сережа!..

— У нее взгляды допотопные, как и ее платье. Мы не смогли бы там работать. Так ей и заявили.

— А она предлагала вам работу?

— Нет. Она прочла нам мораль. Мы встали и ушли. Мы сыты моралями.

— Понимаю... И все-таки оценки у вас слишком категоричные. По-моему, вы излишне горячитесь. Нельзя ли поспокойнее?

— Как это? Умереть, что ли?

— Нет, просто не петушитесь. Давайте говорить спокойно.

— О чем? Почему мы поженились так рано? На это мы не отвечаем.

«Мы... мы... мы...»

— А сколько вам лет, я могу хотя бы узнать?

— Пожалуйста! Обоим тридцать четыре.

— Это звучит солидно. А по отдельности?

— Разделите на два.

— Ага! Значит, по семнадцать.

В его живых глазах блеснул смешливый огонек.

— У вас математические способности,— брякнул он.

— Первый раз в жизни слышу такой комплимент... Постойте, ребята! — вдруг осенило меня.— Как же так? Вам по семнадцать, а вы...

— ...а мы женаты! — стремительно закончил Кротов мою мысль.— Все правильно. Вы отстали от жизни. Сейчас и в шестнадцать регистрируют в исключительных случаях. Мы — исключение, понимаете?

— Ага! Гм... Понятно... Акселерация...— довольно глупо пробормотал я.

Опять наступило молчание, и вновь я потянулся за сигаретой, ощущая на себе напряженные взгляды Кротовых.

— Видите ли, в чем дело,— заговорил я, закуривая.— У всякой администрации существует правило: не покупать кота в мешке. Я уже знаю, что вы муж и жена, что вы окончили школу. А вот, например, ваши родители знают, что вы здесь? Только не зачисляйте меня сразу в ханжи.

— Родители за нас не будут работать, верно?

— Верно. Но родители могут вас разыскивать или что-нибудь в этом роде. А я приму вас на работу и окажусь в дурацком положении. Может так получиться?

— Не может! Они в курсе событий. Остальное вас не касается.

— Правильно. Значит, им известно, что вы здесь?

— Известно. Еще как!

— Ладно, с этим ясно. А теперь скажите, почему вы решили, что сможете работать в редакции? Вы печатались в газетах, писали для радио?

— Нет.

— Вот видите...

— Так, как пишут, и я смогу. Даже лучше.

— Не слишком ли вы самоуверенны?

— А вы проверьте! Дайте мне задание!

— Какое, например?

— Любое. Репортаж, статью, корреспонденцию.

— Ого! Вы и с жанрами знакомы,— легонько съязвил я.— Но этого недостаточно, чтобы работать в редакции.

Они поглядели друг на друга.

— Сказать? — спросил Кротов у своей Кати. Она кивнула. Он метнул взгляд на меня.— Я пишу. Давно пишу. И хочу стать профессиональным литератором.

Ни больше ни меньше! Профессиональным литератором!

Не удержавшись, я глубоко вздохнул. Мой явный скептицизм не остался незамеченным. Кротов сумрачно посмотрел на Катю, словно спрашивая ее: «Не пора ли кончать с этим типом?» Потом развалился на стуле, закинул ногу на ногу.

— Опять не верите?

— Да нет, отчего же...— осторожно сказал я.— Задумано, во всяком случае, смело. Правда, трудностей на вашем пути немало.

— Знаю!

— Ну, если знаете, тогда...

Я был огорчен. Он вдруг разочаровал меня. Внезапно мне стало тревожно за эту девушку, эту Катю, которая смотрела на него во все глаза.

— Стихи, вероятно, пишете? — спросил я с угасающим интересом.

Он презрительно отмахнулся: нет, не стихи — прозу, роман.

Я заметил, что роман — жанр трудный и требует большого жизненного опыта и литературного мастерства. Он сдержанно согласился, что я прав. Я выразил опасение, что в его годы роман, тем более хороший роман, может не получиться. Он не ответил. Молчание было красноречивым. Он прикоснулся к ладони жены, как к талисману.

Я поинтересовался, кто его любимый писатель. Фолкнер! Уильям Фолкнер! Мы помолчали. В раздумье я стукнул пальцем по клавише машинки.

— Ну, хорошо! Оставим ваши литературные планы в стороне. Откровенно говоря, я считаю их безнадежными...— Катя вздрогнула, и я тут же поправился: —...слегка легкомысленными. Мы в нашей радиоредакции романов не пишем. Романистов у нас в штате нет, и они нам не нужны. И деньги за будущие романы у нас не платят.

— Я буду делать все, что надо. Этого мало?

— Кое-что такое заявление значит, но...

Я встал, подошел к окну, откуда открывался вид на незакатное солнце и широкую ленту реки. Я прикидывал все «за» и «против». Они зашептались за моей спиной.

— Сережа... Сережа...— умолял голос девушки.

Наконец, я принял решение.

— Послушайте, ребята,— обернулся я к ним.— А почему вы именно сюда приехали? — Он открыл было рот, но я его перебил и попросил ответить Катю: — А то муж не дает вам слова сказать.

Она растерялась, стиснула руки на коленях, заерзала на стуле...

— Видите ли... мы купили карту Сибири, Сережа мне завязал глаза и попросил ткнуть пальцем. Я попала прямо сюда. Мы купили билеты и поехали.

Я изумленно взглянул на Кротова: неужели это правда? Улыбаясь во весь рот, он подтвердил: самая настоящая!

— А родственники у вас тут есть?

— Откуда! — отверг он.

— А знакомые?

— Ни одного!

— Ну, знаете, Катя, вам медаль нужно выдать за храбрость.

— А мне что? — поинтересовался Кротов.

— Вам ремнем всыпать.

— Не очень остроумно,— поморщился он.

— Зато эффективно! Кстати,— обратился я к девушке,— вы разбираетесь в музыке?

Вопросительно взглянув на мужа, она шепнула:

— Немножко...

Кротов смотрел на меня недоуменно и подозрительно. На этот раз я игнорировал его взгляд.
— Современную музыку любите?
— Очень.
— С классической знакомы?
— Кажется... Да, знакома.
— Проверка грамотности? — осведомился молодой наглец.
Я не удостоил его вниманием.
— Вы имеете представление, что такое фонотека в радиоредакции?
— Это... это вроде библиотеки, только музыкальные записи... Правильно?
— Правильно. У нас свободна должность фонотекаря. Обязанности на первых порах такие: нужно привести в порядок пленки — а их, между прочим, сорок тысяч,— постепенно создать каталог, ну, а в дальнейшем оформлять заказы на новые записи. Если вас это устроит...
Кротов сорвался со стула и завопил:
— Соглашайся, Катька, соглашайся!
— Знаете... я, конечно... конечно, я согласна.
Кротов повернулся ко мне с каким-то растерянным и счастливым видом.
— Вот спасибо! — выдохнул он. И тут же, у меня на глазах, обнял за плечи свою Катю и чмокнул ее в щеку. — Что я тебе говорил! А ты боялась!
У девушки светились глаза.
Кротов сунул руки в карманы, шагнул к столу.
— А со мной как? Возьмете меня?
Я решил дать ему урок.
— Боюсь, что с вами ничего не получится. У нас есть вакансия корреспондента последних известий, но нужен опытный журналист. Нештатничать, конечно, вам не возбраняется.
— Вы хотели дать мне задание.
— Я раздумал.
Он сник, но только на мгновение.
— Ладно! Я не пропаду. Можно вам сказать откровенно?
— Пожалуйста.
Он сказал откровенно. Он сказал, что, по его мнению, у меня нет редакторской интуиции. Он сказал, что мне представляется редкий шанс, да, редкий шанс, а я его теряю.
— Неужели? — вяло удивился я.
Его слова неприятно меня задели. Урок не удался; я хотел попугать его, смирить непомерную гордыню, но только разжег ее...
— Ну, вот что! Я не такой перестраховщик, как вы думаете, и потому дам вам задание. Если выполните его удовлетворительно, возьму в штат с месячным испытательным сроком.
«Редкий шанс» нахмурил свои светлые брови:
— Это одолжение?
Тут уж я не сдержался... Да и кто бы сдержался?
— Черт возьми, это слишком! Послушайте, Катя, ваш муж — порядочный нахал.
— Вы не обижайтесь, пожалуйста. Сережа очень добрый. Просто он самолюбивый.
Ну, что с ними было делать!
— Ладно, проваливайте, — сказал я. — Завтра в девять ноль-ноль будьте здесь. Кстати, где вы остановились?
Можно было и не спрашивать: они нигде еще не остановились. Вещи в камере хранения аэропорта. Они полагают, что здесь есть гостиница.
Я объяснил, что в нашей столице Дом приезжих на десять коек, поднял телефонную трубку и с трудом уговорил знакомого администратора поставить в коридоре две раскладушки. Кротовы горячо поблагодарили и двинулись к двери.
— Послушайте,— осенило меня.— А деньги у вас есть?
Будущий романист остановился на пороге, рука его нырнула в светлую легкую шевелюру.
— Кать, сколько у нас?
Она что-то тихо шепнула.
— Десятка! — вдохновенно проговорил Кротов.
Через минуту я увидел в окно: он в яркой своей рубашке, тугих джинсах, светловолосый и длинноногий, ведет Катю, обняв ее за плечи, размахивая свободной рукой, и что-то горячо говорит ей на ухо... Они скрылись.
Я сел за машинку и хотел продолжить работу, но странные посетители не шли у меня из головы. Испортив две страницы, я прекратил попытки дописать статью, зачехлил машинку.
Домой я пришел в скверном настроении. На вопрос жены, почему задержался, буркнул что-то нечленораздельное, был ворчлив и несправедливо придирчив к дочери. Когда после ужина она собралась к подруге — на наших широтах в августе солнце светит допоздна,— я накричал на нее. Вечер был безнадежно загублен.
Перед сном я не выдержал и позвонил в Дом приезжих.
— Опять Воронин беспокоит. Как они там?
Администратор негромко ответила:
— Заснули голубки... только что.

2

Назавтра, когда они вошли в мой кабинет, пахнуло как будто парным молоком и свежими, с грядки, огурцами. Кротов был в модном вязаном джемпере, светлых брюках и сандалетах. Катя сменила джинсы на короткое зеленое платье, открывающее загорелые ноги. Ее длинные волосы были расчесаны и покрывали плечи и спину, как шаль.
В кабинете у меня сидело несколько сотрудников. Я представил им Кротовых: Катю как нового фонотекаря, а Сергея назвал начинающим журналистом, который хочет попробовать свои силы на радио. Кротов вежливо склонил голову. Катя стояла с потупленными глазами, очень хорошенькая и беспомощная.
Я усадил ребят. Некоторое время их разглядывали.
Затем, как я и ожидал, заворочался и заскрипел самый старый наш работник, старший редактор сельскохозяйственного отдела Иван Иванович Суворов. Каким-то ржавым голосом он спросил, является ли уже молодой человек штатным сотрудником редакции.
— Нет,— сказал я,— молодой человек получит задание и, если справится с ним, то будет принят в штат с месячным испытательным сроком. Кстати, вы могли бы, Иван Иванович, предложить ему тему. У вас в последнее время с материалами не густо,— напомнил я не без сарказма.— Вот вам и помощь.
— Нет уж, увольте,— буркнул Суворов.— Я уж какнибудь сам. У меня нету времени заниматься обучением. Проще, знаете, самому написать, чем чужое заново переделывать. Отказываюсь от такой помощи, обойдусь без нее.
Мне захотелось наказать Суворова за его вечное старческое брюзжание и строптивость. Работник он был выдыхающийся, по сути дела, бесполезный. Но за его спиной, точно капитал на сберкнижке, хранилось тридцать лет местного стажа.

— Напрасно вы так,— заметил я.— Вы еще пожалеете, что не согласились. Верно, Сергей?

К моему удивлению, Кротов промолчал. Он смотрел на Суворова, подняв одну бровь, словно видел что-то диковинное, недоступное его пониманию. Поговорив о делах, я отпустил сотрудников. Они вышли из кабинета.

Кротов взглядом проводил Суворова, затем обратился ко мне:

— Это кто?

Я объяснил.

— Хороший журналист?

— Опытный работник.

Кротов секунду подумал и отчеканил по слогам:

— Он напоминает старика Ромуальдыча, жующего портянку.

Я холодно посмотрел на него.

— Не знаю такого. И впредь оставьте свои суждения о людях при себе.

— Даже когда меня оскорбляют?

— Никто вас не оскорблял, не фантазируйте. Не мог же он с первой минуты понять, что имеет дело с гением! Правда, Катя?

— Конечно! — откликнулась она, встрепенувшись.— Он же тебя не знает, Сережа.

«Господи боже мой»,— подумал я... Глубоко вздохнув, перевел разговор на другую тему: как они отдохнули?

— Спасибо, хорошо,— ответил Кротов.

— Замечательно! — скрепила Катя.

— Позавтракали?

Да, они побывали в столовой, первый раз в жизни ели оленину.

— Ну и как, вкусно?

— Очень! — оценила она.

— Бесподобно! — причмокнул он.

Мы перешли к делам. Я попросил Катю написать автобиографию и заполнить трудовой листок. Она села в стороне за маленький журнальный столик, а я занялся Кротовым. Едва я начал рассказывать ему о нашем таежном округе, тихом, как охотничий скрадок, Катя подала голос:

— Все. Написала.

Я взял у ней листки. Почерк был плавный, круглый, буквы огромные. Автобиография выглядела так:

«Я, КРОТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА (ДО ЗАМУЖЕСТВА НАУМОВА), РОДИЛАСЬ 16 МАЯ 1955 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ. МОЙ ОТЕЦ — НАУЧНЫЙ РАБОТНИК ИНСТИТУТА МЕТАЛЛУРГИИ, МАМА — ВРАЧ. В 1962 ГОДУ ПОСТУПИЛА В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ, КОТОРУЮ ОКОНЧИЛА В 1972 ГОДУ. КОМСОМОЛКА С 1969 ГОДА».

Две трети листка по учету кадров остались белым пятном.

— Ну что ж,— сказал я.— Все в порядке. Теперь отправляйтесь в студию, последняя комната по коридору налево. Спросите там Леонида Семеновича Голубева. Это наш диктор. Скажите, что я послал. Пусть введет вас в курс дела.

Ее губы шевельнулись, повторяя имя. Она кинула последний, как бы прощальный взгляд на мужа... Мы остались вдвоем.

Полчаса я рассказывал Кротову о нашем округе, замкнутом в кольце лиственничной тайги. Полярный круг пересекал его как раз посередине. Глаза Кротова разгорелись, когда я перечислял названия эвенкийских факторий: Кербо, Мойеро, Амо, Таймура... Я говорил о специфике местного хозяйства, о стадах оленей, бродящих по ягельным пустошам, об одиноких охотничьих станах, о зверофермах, где томятся серебристо-черные лисицы, о геологических партиях, разыскивающих драгоценный исландский шпат, и о бескрайности воздушных дорог, на которых тарахтят самолеты АН-2... Он слушал как зачарованный. Я добавил, что каждый новый человек в этих местах приметен, как высокое дерево, и душу его определяют, как возраст дерева, по внутренним кольцам.

Кротов выдохнул:

— А нам повезло!

— Да, вам повезло.

И тут я рассказал ему о том, как вымораживает шестимесячная зима слабые души, как, не выдерживая, сбегают многие новички... Он залился тонким мальчишеским смехом. Я рассердился:

— В чем дело? Что-нибудь смешное?

— Да нет... извините... Толстой как-то сказал о Леониде Андрееве, что тот пугает читателя своими рассказами, а ему не страшно. И мне тоже.

— И напрасно. Я ничего не сочиняю.

— Я не Красная Шапочка, а вы не Серый Волк, правильно?

— Допустим. И все-таки задуматься вам стоит. Хотя бы ради Кати. Кстати, что вы думаете делать, если ваши журналистские способности окажутся лишь воображаемыми и я вынужден буду вам отказать?

— Такого не случится.

— Ну, конечно! Что еще можно от вас ожидать! И все-таки. Есть у вас что-нибудь в резерве?

— А как же! Пойду в тайгу.

— Что-что?

— Оленей пасти! Я читал: здесь нужны оленеводы. Разве не так?

— Так. А вы когда-нибудь были в тайге? Я имею в виду настоящую тайгу, а не подмосковные перелески.

— Откуда! Я же горожанин.

Я разозлился.

— Ну, тогда ваша самонадеянность просто пугает. Извините меня, она граничит с тупостью.— Он побледнел.— Только человек без всяких внутренних тормозов может уверить себя, что после московского кафе-мороженого способен стать оленеводом. Да вы хоть представляете, что такое окарауливание стада? Это постоянное кочевье в передвижном чуме, стужа зимой, гнус летом, жизнь в седле, вдали от населенных пунктов, опыт, опыт и еще раз опыт! Вам известно, что оленеводство — потомственное занятие? А почему? Потому что этому нужно учиться с детства. Да и то не всякий местный выдерживает. Молодежь предпочитает идти в механизаторы. Да что там говорить, черт побери! Вы ошалели, Сергей, ейбогу! Не заикайтесь здесь об этом никому, если не хотите, чтобы вас осмеяли. Я думал, вы более зрелый человек. Вы меня огорчили.— Я чиркнул спичкой и разжег погасшую сигарету. Он сидел напряженный, с плотно сжатыми губами.— Если уж у вас ничего не получится на поприще журналистики — а теперь я именно так склонен думать — и возвращаться вам домой не резон, идите на стройку. Заводов здесь нет, а жилье понемногу строят. Разнорабочим вас возьмут. Оклад вполне приличный плюс северный коэффициент. Сможете по крайней мере прокормить вашу Катю.

Он разжал губы. Голос был спокойный.

— Можно узнать, сколько вам лет?

— Мне? А в чем дело? Впрочем, пожалуйста. Сорок два.

Он прищурился, что-то соображая...

— Зачем вам понадобился мой возраст? Хотите записать меня в свою коллекцию анахронизмов?

— Нет. Подсчитываю, сколько мне осталось до старости. Не так много. Двадцать пять лет.

Вслед за ним я мысленно вычел из сорока двух семнадцать...

— Ах, черт возьми! Это вы меня в старики записали? На каком, интересно знать, основании? Ну-ка выкладывайте.

— Пожалуйста. Вы даете мудрые советы. Раз! Вы все учли. Два! Даже северный коэффициент не забыли. Три! Рассчитали все, как на счетах. Нотацию прочитали — будь здоров! Спасибо. Только я вашими советами не воспользуюсь.

— И зря! Зря!

— Нет, не зря. Я тоже могу надавать вам советов. Сколько угодно.

— Вы? Мне? Это любопытно.

— Уйдите из конторы, возьмите ружье, постройте зимовье в тайге, наберите книг и живите!

— Ну, спасибо за такой совет! — Я невольно рассмеялся.

— Не нравится?

— Ни в коей мере. Нелепо, глупо и бессмысленно.

— Рассудочно и меркантильно! Это я про ваш совет. Знаете, сколько я их выслушал в школе? Биллион! Два биллиона! Я могу отключить свой мозг и жить по подсказкам. И все будет о'кэй.

— Мозг? Есть ли он? Вот в чем вопрос.

Кротов мгновенно напрягся, побледнел.

— Это что, юмор?

— Ладно, ладно,— перепугался я,— прошу прощения. И все-таки должен сказать тебе, мудрец, что у тебя довольно путаная философия. Ничего, что я на «ты»?

— Не возражаю.

— Благодарю.— Я хмыкнул.— Тебе такого разрешения, разумеется, не даю.

— Понятно.

— Можешь перейти со мной на «ты», когда станешь знаменитым романистом. Чего улыбаешься? Черный юмор?

— Да нет, ничего... сносно.

— Нахал ты все-таки.

— В меру.

— Какое уж там в меру! Если ты хоть на десять процентов оправдаешь свои заявки, я прощу, что ты испортил мне столько крови. У меня повышенное давление, между прочим.

— Я вам советую уйти в тайгу.

— А, брось ты эту ерунду! Я в этом кресле уже восемь лет. И пока не выгонят, уходить не собираюсь. Мне здесь нравится. Хотя, должен сказать, рутина у нас тут еще имеется.

— Понятно.

— Что тебе понятно?

— Рутина имеется.

— Как везде, как везде... Много ты понимаешь в рутине! Для тебя человек, который любит классику, уже, наверно, рутинер. А тебе подавай Фолкнера.

— Фолкнер — тоже классика.

— Может быть. Не стану спорить. Мне он кажется сложным.— Я покосился на него: не улыбнется ли? Нет, сдержался.— Ну, ладно! Мне пора на совещание. Задание тебе будет такое...

Я объяснил, что от него требуется: сделать текстовую, без магнитофонных записей корреспонденцию из геологической экспедиции. Тема — итоги полевого сезона.

— Отрекомендуешься внештатным сотрудником. Если потребуют подтверждения, а это не исключено, позвонишь мне.

— Хорошо.

Коротко и ясно. Он ушел. Я посидел некоторое время, размышляя, подымил, поднял телефонную трубку и вызвал к себе старшего бухгалтера. Она сразу явилась — тоненькая, сухонькая старушка. Я передал ей документы Кати. Клавдия Ильинична через очки прочитала их и удивленно подняла брови:

— Такая молоденькая, Борис Антонович... прямо со школы?

— Ну да, молоденькая, что ж тут такого? Нельзя ли ее как-нибудь зачислить задним числом... скажем, на неделю раньше? Она из Москвы приехала.

— Без вызова?

— Ну, конечно.

— Нарушение, Борис Антонович.

— Я знаю, Клавдия Ильинична. Я оформлю приказом. Девочка совсем без денег.

— Понимаю, Борис Антонович.

— Вот и хорошо. И еще одно дело. Возможно, с этого же числа придется взять на должность корреспондента ее мужа, некоего Кротова. Имейте в виду.

— Хорошо, Борис Антонович. Такой же молоденький?

— Да, знаете, такой же. Может быть, рядом с ними и мы помолодеем.

— Едва ли, Борис Антонович.

— Душой, Клавдия Ильинична, душой!

— А, вот вы о чем,— сказала она с милой старческой улыбкой.— Я не против, Борис Антонович.

«Черт бы его взял,— подумал я,— хоть бы он не провалился!»

ИЗ ДНЕВНИКА КРОТОВА

«25 июня 1972 года, в полдень, на оживленном перекрестке Москвы произошло столкновение. В сводках ГАИ оно не значится. Один пешеход, развив недозволенную скорость, налетел на другого пешехода.

Яблоки посыпались из авоськи и запрыгали по мостовой, как радужные мячи. Девушка закусила губу.

Молодой человек кинулся собирать плоды райского сада. Когда он разогнулся, она уже уходила. Ее плечи были возмущенно расправлены, лопатки под платьем сошлись, как тиски. Черная негритянская нога с силой поддала одно из яблок. Оно запрыгало на середину улицы.

Вся ее фигура источала гнев и презрение. Гнев и презрение.

В тот день у меня была уйма свободного времени. Я направлялся в кинотеатр, но всю дорогу колебался, стоит ли убивать три часа на мексиканскую мелодраму. Я киногурман, к вашему сведению.

Девушка с облегченной авоськой шагала, не оглядываясь.

Я сунул несколько яблок за пазуху, одно обтер и надкусил.

Она вошла в метро.

Нет лучшего занятия, чем преследование. Система проста. Выбирается девушка с длинными ногами, в мини-юбке. Она идет по тротуару, пересекает улицы, разглядывает афиши, заходит в магазины, делает покупки, звонит по телефону, спускается в метро — едет. Вы идете по тротуару в двадцати шагах за ее спиной, пересекаете улицы, разглядываете афиши, заходите в магазины, спускаетесь в метро — едете. Час, два, три часа — какая разница! Куда она направляется? Кто она? Десять ступенек эскалатора отделяют незнание от знакомства.

Ира? Аня? Оля? Люба? Света?

Прежде чем шагнуть с движущейся ступеньки, она оглянулась. Как дикая птица, почувствовала взгляд охотника из-за куста.



«Хвост» обнаружен. Преследование потеряло тайну.

Я с хрустом отгрыз кусок яблока.

Из туннеля вылетел, как бешеная, вопящая гармошка, поезд. Из дыр в его мехах повалили люди. Она скользнула внутрь, я — следом, с куском яблока за щекой.

Рванулись и понеслись в темный зев туннеля.

Посмотрит или нет?

Взглянула.

Я помигал яблоком, как фонариком.

Она отвернулась.

И тут мы влетели под своды «Краснопресненской».

Металлический голос подтвердил надписи на стенах.

Теперь мы поднимались. Я плыл на десять ступенек ниже. Ее ноги, как два ослепительных черных луча, били в глаза.

Затем ее поглотила телефонная будка.

Я прислонился к пустому лотку из-под мороженого. Яблоко в моей руке взлетало.

Итак, телефонный разговор.

«Алё, Света, это ты? Я звоню из автомата с Краснопресненской. Со мной приключилась ужасная история. Какой-то тип преследует меня. Да, да, преследует. Идет по пятам и грызет мои яблоки. Вон он стоит напротив, ждет, когда я переговорю. Какой из себя? Блондин, лет восемнадцати, высокий, с голубыми глазами. Что мне делать, как ты думаешь?»

Или:

«Алё, Витя, это ты? Откуда звоню? Из автомата. Ходила в магазин за яблоками, а какой-то тип, представь себе, налетел и рассыпал. Как насчет кино? В восемь жди меня на углу, как всегда».

А может быть:

«Мама, я задержалась. В магазине ужасная очередь. Купила яблоки, а какой-то тип налетел на меня и половину рассыпал. Что? Сейчас на «Краснопресненской»... Он меня преследует. Полчаса едет за мной и не отстает. Что? Хорошо, возьму такси».

А вдруг:

«Алё, шеф! Говорит Мариана, по кличке «Газировка». Ваше поручение выполнила, достала яблоки по рупь двадцать. Обнаружила «хвост». Он имитировал столкновение. Пытаюсь сбить со следа. Какие будут указания?»

Мама, Витя, Света, шеф... Опасные соперники! Пора действовать!

Румяным яблоком я выбил по стеклу будки три точки, три тире, три точки. Сигнал SOS.

В ответ гневный взгляд карих глаз.

Шевелящиеся губы... Розовая мочка уха, прижатая трубкой...

Я выкинул вверх три пальца — символ автоматного лимита.

Дверца будки распахнулась. Мы стояли лицом к лицу.

Я превратился во фруктовое дерево.

— Ваши яблоки,— сказал я и посыпался плодами в ее авоську».

3

Утром на следующий день Кротов принес готовую корреспонденцию, положил ее на мой стол и удалился. Через полчаса приказом за моей подписью он был зачислен в штат редакции.

Его корреспонденция меня поразила. На четырех восковках Кротов уместил настоящее, прошлое и будущее нашей геологоразведки, словно сам прошагал по глухомани с рюкзаком за спиной.

Я снял трубку и позвонил начальнику экспедиции Морозову.

— Лев Львович, привет. Воронин. У тебя недавно был светловолосый паренек?

— Был такой,— прогудел Морозов.— Замучил меня твой паренек. Настырный, бродяга.

— Послушай, что он сочинил.— Я прочитал корреспонденцию Кротова.— Ты поставишь визу под таким материалом?

Морозов, не отвечая, сопел в трубку.

— Что молчишь, Лев Львович?

— Думаю. Откуда парнишку раздобыл?

— Сам прилетел. И представь себе, с молодой супругой.

— Да ну? Прыткий, бродяга.

— Если не сказать больше... Так как насчет подписи?

— Толково накатал. Самую суть уловил. От вашего брата этого редко дождешься.

— Значит, ставишь визу?

— Хоть две.

— А знаешь, Лев Львович,— внезапно загордился я,— это ведь его первый материал, представляешь?

— Ишь ты, бродяга! Как фамилия, говоришь?

— Кротов. Сергей.

— Теперь запомню. Присылай его еще. Славно накатал малец!

Кротова я нашел в фонотеке вместе с Катей. Когда я открыл дверь, они отпрянули друг от друга. Обнимались, конечно.

— Ну, романист,— сказал я.— Прочел твой опус.— Оба замерли. Я выдержал паузу.— Не знаю, как насчет романа, а корреспонденция тебе удалась. Молодец! Принимаю на работу.

Катя тихонько ойкнула. Кротов расстегнул ворот рубахи, словно тот его душил. На лбу у него выступили капельки пота.

— Оклад тебе положен девяносто восемь рублей. Плюс шестьдесят процентов местного коэффициента. Гонорар — сколько заработаешь. Устраивает?

Кротов провел ладонью по вспотевшему лбу.

— Ввиду вашей бедности,— продолжал я, непонятно чему радуясь,— можете оба получить в бухгалтерии аванс на пропитание. По пятьдесят рублей каждому хватит?

— Ой! — сказала Катя и звонко икнула.— Пожалуйста, извините. Ик!

Сергей шлепнул ее ладонью по спине.

— Это она от счастья,— пояснил он.— Предчувствует новые туфли.

— А ты почему не икаешь?

— Я не слабонервный. Все логично.

— Ну-ну! А где ты думаешь, логик, поселить молодую жену? На раскладушке в гостинице?

Он взъерошил свои светлые мягкие волосы.

— Вообще-то мы думали...

— Ну-ну, это интересно.

— На крайний случай можно построить чум.

— Остроумно.

— Или снять угол.

— Так.

— Или редакция предоставит нам квартиру,— закончил он.

— Блестящая идея. А где ее взять, квартиру?

— Мы не требовательны, Борис Антонович. Какой-нибудь завалящий двухэтажный коттедж нас устроит. Правда, Кать?

— Он шутит, Борис Антонович. Он всегда шутит,— заторопилась она.— Вы его не слушайте. Нам ничего не надо. Вы и так для нас много сделали. Не беспокойтесь, пожалуйста. Мы сами что-нибудь придумаем.

— Катя придумает,— подтвердил Кротов, обнимая ее за плечи.— Катя—исключительно деловой человек. Вы ее еще не знаете. Она сегодня утром умудрилась позавтракать на тридцать восемь копеек. Рекорд экономии!

— Сережа, перестань!

— И сожгла утюг в гостинице.

— Перестань, пожалуйста! Вы его не слушайте, Борис Антонович. Мы что-нибудь придумаем.

— Думать вам надо,— сказал я.— Через месяц пожалует зима. Походите по поселку, поищите, может быть, кто-нибудь сдаст комнату. Но надежды мало. Здесь не принято пускать квартирантов. Если ничего не найдете, придется поселить вас на время в кабинете.

Они переглянулись. Кротов присвистнул:

— В вашем кабинете?

— Ну уж так прямо в моем! Есть тут у нас одна свободная комната. Не очень комфортабельная, конечно, но лучше, чем ничего. Во всяком случае, близко ходить на работу.

— Не то что в Москве,— подхватила Катя самым счастливым голосом.— А я, знаете, думала, что только в Москве трудности с жильем. Оказывается, здесь тоже.

— Вечная проблема,— изрек Кротов.— Строят много, но мало.

— Ты прав,— сказал я.

Мы поговорили еще об обязанностях фонотекаря; я разрешил им посвятить завтрашний день поискам квартиры и оставил их одних.

Квартиру они не нашли.

Мое ходатайство в райисполком не увенчалось, как водится, успехом. Раньше весны рассчитывать было не на что.

По моему распоряжению завхоз переоборудовал один из наших кабинетов под жилую комнату. Это было довольно сумрачное и тесное помещение с маленьким окном и грандиозной печкой.

На полученный аванс Кротовы купили кровать — старомодную железяку с высокими спинками,— а стол, шкаф и стулья им достались редакционные.

Меня утешало, что им не придется возить воду и заготавливать дрова, благо под рукой были бочка и поленница.

Так они поселились в редакции.

4

Появление Кротова в редакции не всем пришлось по душе. Иван Иванович Суворов и близкие ему по возрасту творческие работники были открыто недовольны. Смех и грех! Семнадцатилетний юнец без образования, без опыта зачислен в штат. Где это видано? Нет, пускай поживет с наше, наберется ума, пускай его жареный петух клюнет куда нужно — тогда и берется за перо! Борис Антонович проявил непонятный либерализм. Скоро он начнет принимать в штат выпускников детского сада.

Конфликт произошел уже через месяц после начала работы Кротова.

Иван Иванович Суворов написал заметку о любопытном происшествии. На реке Котуй эвенк-проводник Хутокогир в схватке с медведем спас двух молодых геологов. Суворов был чрезвычайно горд, что раздобыл эту маленькую сенсацию. Машинистка перепечатала информацию и передала ее Кротову для дневного выпуска новостей. Вскоре появился Суворов.

Ему сообщили, что информация у Кротова.

Ссутулившись, с хмурыми складками на лбу, Суворов подошел к столу, где работал Кротов. Его желчное лицо нервно подергивалось.

— Заметка у тебя?

Кротов продолжал писать.

— Заметка у тебя, что ли? Чего молчишь?

Кротов поднял затуманенные раздумьем глаза.

— Вы ко мне обращаетесь?

— А к кому же еще? Заметку давай!

Кротов отложил в сторону ручку:

— С каких пор мы с вами на «ты»?

— Давай, давай, подумаешь! — поторопил Суворов.

Кротов протянул ему машинописный листок, переправленный так густо, что за чернильными строками не видно было печатных. Суворов машинально взял листок, взглянул — и лицо его страшно исказилось. Несколько секунд губы старика беззвучно шевелились.

— Это... ты... меня... так?

Кротов безмятежно подтвердил:

— Вот именно. Я.

Суворов весь задрожал. Взгляд его обошел комнату, ничего не видя, уперся в листок, словно в какую-то ядовитую нечисть.

В полной тишине Кротов проговорил:

— По-моему, информация неплохая. Факт интересный. Только написана убого. Я ее сократил, выделил главное в первый абзац и убрал мишуру. В таком виде она пойдет.

Суворов захрипел:

— Ты... учишь... меня?

— А вы что, господь бог?

— Учишь?.. Меня?.. Ты?..— Он скомкал бумагу и швырнул ее в лицо Кротову.— Вот тебе! Нос утри своей писаниной!

Тот поймал на лету бумажный комок, расправил и на всю комнату отчеканил:

— Как говорил Остап Бендер, вам, предводитель, пора лечиться электричеством.

— Молокосос! Сопляк! Ты еще на свет не появился, а я уже печатался!

— Отечественной журналистике это не пошло на пользу.

— Стиляга городская!

Кротов залился своим тонким смехом.

— ...Учить меня вздумал! Жизни еще не нюхал, а учить взялся! Я тебе такую учебу покажу, что в штанах мокро станет.

Кротов оборвал смех.

— Не понял,— сказал он.— Это как же?

— А вот тогда увидишь, как! На готовенькое, понимаешь, привыкли жить, у папы с мамой за пазухой. Войны не нюхали, жизни не пробовали... уже учить вздумал!

Суворов пошел вразнос. Кротов внимательно слушал, склонив набок голову с рассыпавшимися по плечу светлыми волосами. Наконец выбрал секунду и влепил ответ:

— На курсах ликбеза, дядя, вас явно не учили вежливости.

Суворов кинулся на него. Диктор Голубев схватил Ивана Ивановича за рукав, оттащил. Вмешались другие сотрудники, стали его уговаривать, отпоили водой, увели... Подтянутая сорокалетняя Юлия Павловна Миусова взялась отчитывать Кротова:

— Вы должны были отдать заметку Борису Антоновичу. Борис Антонович сам правит Ивана Ивановича. Вы не имеете морального права этого делать. Мало того, что он опытней вас, он же еще старший редактор... Неужели вы не понимаете? Нужно соблюдать субординацию хотя бы.

— В творчестве субординация? Как это?

— Ах, оставьте, пожалуйста! — разволновалась Миусова.— Вы без года неделю работаете у нас и уже хотите править старшего редактора. Это просто смешно и нетактично наконец.

Кротов потряс смятым листком.

— Я должен пустить в эфир ахинею? Почитайте! «Капающие слюни медведя»! «Разъяренные клыки»! «Объятые ужасом лица разведчиков недр»!

— Да поймите же, это не ваше дело, не ваше дело. Согласна, вам поручены последние известия, поскольку редактора нет. Но ведь вы всего лишь корреспондент. Есть старшие редакторы, есть, наконец, Борис Антонович.

— А я за что получаю деньги?

— Брось, старик,— миролюбиво вмешался двухметровый диктор Голубев.— Не лезь в бутылку.

— Вы можете править нештатных авторов. Это ваше право. Но старшего редактора с тридцатилетним стажем...

— Понял,— сказал Кротов.

— Слава богу, поняли!

— Надо было не править, а выкинуть в урну.

— Брось, старик,— повторил Голубев,— не зарывайся.

Кротов схватил наушники, яростно нацепил их, спутав волосы, и включил стационарный магнитофон. Через минуту в комнату влетела Катя. Никого не замечая, она встала рядом с мужем и принялась гладить его по плечу...

Об этой семейной сценке и о конфликте с Кротовым Юлия Павловна Миусова рассказала мне, недоуменно вскидывая брови и поджимая губы.

— Вы должны принять меры, Борис Антонович.

Я пообещал.

Взволнованная Миусова удалилась.

После обеда Суворов не появился в редакции. Это меня обеспокоило. Я позвонил ему домой. Жена Ивана Ивановича ответила, что обедать он не приходил.

Я вызвал к себе Кротова.

Он вошел с бобиной пленки в руках, увешанный длинными разноцветными лентами раккордов. Волосы взлохмачены, в руке дымится сигарета.

— Вызывали?

— Вызывал. Ты что, курить начал?

— Пробую.

— Иди выкинь сигарету, сними с себя эти елочные украшения, причешись — тогда приходи. Ты работаешь в редакции или в цирке?

Он безмятежно улыбнулся:

— А разве не одно и то же?

— Хватит острить! Делай, как я сказал. И принеси эту злосчастную заметку.

Он пожал плечами и ушел. Через минуту раздался стук в дверь (обычно ко мне в кабинет не стучат).

— Да!

Заглянула светловолосая голова Кротова.

— Разрешите?

— Входи.

— Разрешите сесть?

— Ты чего паясничаешь?

— Я не паясничаю. Соблюдаю субординацию. Разрешите сесть?

— Садись.

Он бухнулся на стул.

— Можно курить?

— Ты что, действительно курить начал?

— Первый опыт. В школе не пробовал.

— Так ты начнешь пить, чего доброго.

— Точно! Табак, алкоголь, наркотики. Цепочка.

— Довольно балаганить. Где заметка?

Он подал мне измятое, исчерканное произведение Суворова. Я внимательно прочитал оба варианта: машинописный суворовский и рукописный — между строчек — кротовский.

— Так. Все ясно. Теперь слушай внимательно.— Я поднял трубку и попросил телефонистку соединить с редакционной бухгалтерией; она размещалась в соседнем доме.— Клавдия Ильинична? Здравствуйте. Воронин. У нас есть деньги в кассе? Есть! Очень хорошо. Сейчас к вам придет новоиспеченный журналист. Да, да, тот самый, молоденький, но с задатками крупного скандалиста. Так вот. Выпишите ему командировку в Улэкит. На десять дней, начиная с завтрашнего дня. Выдайте денег сколько полагается и гоните его в шею, пока он не успел наговорить вам грубостей.— Я положил трубку и обратился к Кротову:— Иди оформляй командировку, а завтра с утра в аэропорт, и чтобы духу твоего здесь не было. Позднее зайдешь ко мне, получишь задание. Возможно, придется поехать в стадо. Нужны материалы об оленеводах. Увидишь тайгу, развеешь свои детские иллюзии. Все ясно?

Кротов с ошеломленным видом покачал головой.

— Что тебе не ясно?

— Это как... в награду или в наказание?

— Ни то, ни другое, умник. Мы оперативный орган. Нужно — лети без разговоров. Что касается сегодняшней стычки, то совершенно официально тебя предупреждаю: укороти язык.

— Вырезать?

— Укороти, я сказал! И попробуй разобраться, в чем разница между гордостью и гонором, принципиальностью и мальчишеством. Все. Полемики не будет. Укатывай отсюда!

Сергей вылетел из кабинета, страшно обрадованный.

Я снова поднял трубку и вызвал отдел культуры окрисполкома.

— Зина? — узнал я голос секретарши.— Здравствуйте. Воронин. У вас там случайно не появлялся такой мрачный человек с густыми бровями, в очень широких брюках?

— Суворов, что ли? — недолго думала она.

— Он самый.

— Сидит у Вениамина Ивановича в кабинете. Ворвался весь взбудораженный, вбежал к Вениамину Ивановичу, даже пальто не снял.

— Неужели?

— Уже полчаса сидит там... в пальто. Позвать?

— Нет, не надо. Ему вообще лучше не знать, что я звонил. Можно это сделать?

— Конечно.

— Вот спасибо. Всего доброго.

Я повесил трубку и закурил. В аппаратной истошно визжала перекручиваемая через головки магнитофона пленка.

А ведь сколько раз предупреждал операторов, чтобы не перематывали таким образом!

5

Утром Кротов улетел.

В полдень раздался звонок из отдела культуры. Меня и Кротова вызывали к Бухареву.

Вениамин Иванович Бухарев сидел в просторном кабинете с видом на реку. Это был маленький, щуплый человек с черными гладкими волосами, с лицом загорелым, плоским и в отметинах оспин. Он встал со своего места, пожал мне руку и предложил садиться. Узкие глаза Бухарева глянули на меня поверх стола из-под припухших век.

— Редко заходишь, Воронин. Забыл начальство.

Начало не предвещало ничего хорошего. Я достал сигареты, закурил. Некурящий Бухарев поморщился, но, подумав, пододвинул пепельницу. Довольно миролюбиво он спросил, какие новости в редакции, как идет работа. Я начал рассказывать о новой сетке вещания, о специальном выпуске на звенкийском языке, поделился ближайшими редакционными планами... Он слушал, скосив глаза, глядя куда-то мимо моего плеча. Лицо его мрачнело. Я напомнил, что в конце октября мы должны подготовить часовую передачу для Москвы, предполагается выступление заведующего отделом культуры.

Бухарев легонько ударил ладонью по столу.

— Не о том говоришь, не о том говоришь!

Я замолчал.

— Самоуправствуешь, Воронин?

Он резко встал из-за стола, маленький, щуплый и опасный, как незакрытый порох. Суворов поработал хорошо, подумал я.

— Либерализм в редакции развел! — выкрикнул Бухарев.— У тебя идеологический орган или заготконтора? Почему нас в известность не ставишь, кого на работу берешь?

— Еще не успел.

— Как так не успел! Кого принял?

— Паренек один приехал, очень способный паренек. У нас вакансии. Я взял.

— На какую должность?

— Корреспондент последних известий.

— Партийный?

— Нет, комсомолец, Вениамин Иванович. Ему всего семнадцать, пареньку.

— Ясли в редакции разводишь! Почему не проконсультировался? Порядка не знаешь?

— Порядок мне известен. Я посчитал, что корреспондента могу принять самостоятельно. Все-таки это не редактор и не старший редактор.

— Хитришь, Воронин. А жену его зачем взял?

— Девочка после десятого класса, приехала вместе с ним. У нас вакансия фонотекаря целый год. Никто не идет из-за маленькой ставки. Она согласилась.

— А почему с Суворовым не ладишь? Обидел его, увольняться хочет. А человек он заслуженный, в нашем округе тридцать лет.

— Знаю. Я его не обижал. Человек он, сами знаете, мнительный и неуживчивый. А если собирается уходить, я его отговаривать не буду. Как журналист он большой ценности не представляет. Стаж у него действительно солидный, но этого мало. В нашем деле, Вениамин Иванович, нужно еще, чтобы человек умел писать, был творчески инициативным. Не знаю, как раньше, а сейчас Суворов дисквалифицировался. Это я с полной ответственностью говорю.

Бухарев не на шутку рассердился.

— Неправильно рассуждаешь! Старые кадры беречь надо. А ты мальчишке позволяешь заслуженного человека обижать. Хорошо делаешь?

— Они поссорились из-за пустяка. Кротова я предупредил, чтобы больше такого не повторялось. Суворову тоже следует бытьповежливей.

— Выгораживаешь мальчишку! Почему он не пришел? Я вас вместе вызывал.

— Он в командировке, Вениамин Иванович.

— Когда уехал?

— Сегодня утром. Послал его за материалом об оленеводах.

— Приедет — приведи ко мне. Поговорю с ним.

Бухарев сел, остывая. Лицо его разгладилось. Еще минут пятнадцать мы поговорили о всяких делах, он отпустил меня.

Шагая в редакцию, я думал о том, что нелетная погода не повредила бы ни мне, ни Кротову...

Суворов был на своем месте. Он сидел за столом в сатиновых черных налокотниках, со сдвинутыми на нос очками. Я пригласил его к себе.

Он зашел уже без очков и без налокотников, хмурый, как проторговавшийся старьевщик; сел, сдвинул к переносице густые брови. Я достал из стола злополучный листок.

— Так вот, Иван Иванович, стало мне известно о вашем конфликте с Кротовым. Я прочитал вашу заметку, ознакомился с его правкой. Считаю, что стилистически она вполне оправданна.

Суворов побагровел и тотчас поднялся.

— В таком случае говорить с вами на эту тему не желаю. Благодарствую!

— Подождите. Правка, повторяю, оправданна. Я сам не посчитаю зазорным отдать ему на корректуру свой материал. Парень чуток к языку, к стилю. Но ваши труды он больше править не будет. Удовлетворены?

— Нет, не удовлетворен! Пускай извинения мне принесет, сопляк.

— Называя его сопляком, вы вряд ли дождетесь извинений.

— Это что ж, я, что ли, перед ним извиняться должен, перед сопляком?

— Может быть. Вы не правы.

— Ну как же! Ясное дело! Как я могу быть перед вами прав, если вы его под свое крылышко взяли, сопляка. В командировку даже его отправили, подальше от греха.

— Слушайте, Суворов,— сказал я.— Мы с вами не первый год вместе работаем и друг друга успели изучить. Человек вы трудный. Пишете плохо. Тем не менее я ни разу не предложил вам подать заявление об увольнении. Не вернее ли будет сказать, что под своим крылышком я пригрел вас, а не Кротова? Он работник перспективный. За него любая редакция ухватится после первого материала.

— Знаем таких бойких! Не первый год на свете живем! А заявление мое полýчите, полýчите. Я у сопляков в учениках ходить не намерен. Не для того седые волосы наживал, чтобы у сопляков в учениках ходить.

— Как вам угодно.

— Заметку давайте!

— Пожалуйста.

Он схватил листок, двинулся к дверям, но замешкался на выходе.

— Славно поговорили! Знал бы, не приходил лучше...

Я прикрыл за ним дверь и принялся за дела. Была пятница, день суматошный и трудный. После обеда пришлось прочесть и прослушать несколько субботних и воскресных передач, помочь в выпуске новостей, навести порядок в очередности студийных записей, уладить несколько мелких обычных ссор между операторами. В седьмом часу, когда все сотрудники разошлись по домам, я постучал в комнату Кротовых.

Катя сидела в одиночестве за канцелярским столом, подперев голову руками, и разглядывала свое грустное отражение в зеркале. Увидев меня, она растерянно вскочила, кинулась прибирать разобранную постель, разбросанные повсюду книги — засуетилась. Я ее усадил.

— Ну что, Катя? Скучно без Сергея?

Она кивнула с потерянным видом.

— Ну, так нельзя! Теперь вам часто придется разлучаться. Такую уж он работу себе выбрал. Привыкайте, Катя!

Губы ее жалобно дрогнули.

— Знаете, я, наверно, не смогу. Он на час уходит, а я уже начинаю волноваться. Здесь самолеты не падают?

— Что за мысли, Катя!

— Я целый день хожу и думаю: а вдруг самолет свалится? Здесь же тайга, ему сесть некуда. А вдруг на него медведь нападет? А вдруг он заблудится? Думаю, думаю...

— А вы бы в кино сходили, развеялись. Сегодня в клубе как раз французская комедия с Луи де Фюнесом.

— Знаю. Нет, в кино я не хочу. Там смеяться нужно, а я не могу сейчас. Хотела книгу почитать... вот, видите, «Буллет-парк», мне Сережа посоветовал... начала читать, а между строчек... Вот посмотрите. Вы ничего не видите?

— Нет, ничего.

— А я вижу,— сказала она серьезно, нахмурив брови.— Тут написано: «Сережа, Сережа, Сережа»... Извините, что я вам так откровенно говорю.

— Ничего, я понимаю.

— Наверно, это глупо, но я ничего не могу с собой поделать. Сижу и думаю: а вдруг он там с кемнибудь поссорился? Он же такой несдержанный. А вдруг его ножом ударили? А вдруг он ногу сломал?

— Ну, это уж смешно! Нельзя себя так изводить. Он парень самостоятельный и за себя может постоять.

— Вот именно может! Вот именно! — воскликнула она горячо.— Он никогда не промолчит, ни за что. Мы в поезде ехали до Красноярска в общем вагоне, а там трое хулиганов стали ругаться и шуметь. Все пассажиры молчат, а Сережа с ними связался, чуть до драки не дошло. Он, когда злится, о своей безопасности забывает.

— В этом я уже мог убедиться...

— Вы его еще мало знаете, а я уже три месяца! Он совсем как ребенок бывает. Подавай ему справедливость — и все! Мы вам не говорили... не потому, что не хотели, а просто не успели сказать... мы ведь в Красноярске на всякий случай заходили в редакции, и его нигде не взяли. Он не умеет разговаривать с людьми. Он всех против себя восстанавливает.

— Да, верно. Тактика у него не из лучших. Вам, Катя, когда он напишет свой роман, надо будет стать его литературным агентом,— пошутил я.

— Ой, что вы! Я такая неумеха. Вот Сережа деловой. Правда, он деньги считать не умеет, а во всем остальном ужасно деловой. Он все помнит, все знает... У него память просто удивительная. Он книгу прочтет, а потом может цитировать целые страницы.

Она разгорячилась и стала очень хорошенькой, с живыми карими глазами, с рассыпавшимися по плечам каштановыми волосами.

— Вы все о Сергее, Катя. Давайте-ка о вас поговорим.

— Вы смеетесь? Что обо мне говорить? Я совершенно, ну совершенно заурядный человек.

— Не скромничайте.

— Нет, правда! Вот Сережа, например, имеет первый разряд по настольному теннису и боксу. А я даже в спорте ничем себя не проявила.

— Вы куда хотели поступать?

— Сережа хотел поступать в Институт кинематографии на сценарный факультет.

— Нет, куда вы хотели поступать, Катя?

— Я в медицинский. Даже, вернее, не я, а мама. Сережа говорит, что я сама не знаю, чего хочу.

— И что же, он прав?

— Ну конечно! Я действительно очень разбросанная. Сережа говорит, что во мне скрыто много способностей, но все они находятся в рахитичном состоянии. Вот он совершенно точно знает свою цель и никогда не слушает чужие мнения. Он их просто отметает.

— Ну, с Сережей мне все ясно. Вы, значит, собирались поступать в медицинский?

— Да, хотела, то есть мама хотела. Сережа говорит, что моя мама хотела бы жить вместо меня. Он, конечно, шутит. Сережа и мама не поняли друг друга. Сережа считает, что моя мама слишком консервативна. А она его считает хиппи...— Катя рассмеялась, потерла ладонями горящие щеки.

— А сами-то вы где хотели бы учиться?

— До встречи с Сережей?

— Да, да, до встречи с Сережей.

— Я одно время мечтала стать модельером. Сама шила, придумывала модели, просматривала все журналы. Но мама сказала, что я в лучшем случае могу стать закройщицей в ателье. Маме это не по душе. Между прочим, Сережа в этом с ней сходится.

— А он что бы хотел?

— Сережа? Он считает, что я должна стать специалистом по компьютерам.

— Ого!

— Да, видите ли, у меня есть способности к математике. В школе я меньше пятерки не получала. А потом одно время я увлеклась кибернетикой, читала даже Винера и многое понимала. Вот он и агитирует меня.

— И как? Успешно?

Она задумалась, опустила глаза и стала накручивать на руку свои длинные волосы.

— Я не знаю, как у нас сейчас получится... Но вообще-то я думаю, что на математическом факультете я смогла бы учиться. Мне математика больше нравится, чем медицина.

— Что ж, поработаете год — и поступайте.

— Сережа так и думает...

Я осуждающе покачал головой:

— Ох, уж этот мыслитель Сережа! Не слишком ли много внимания вы ему уделяете?

Мгновенное недоумение в ее глазах сменилось энергичным протестом.

— Что вы! Совсем немного. Он обо мне гораздо больше заботится.

— Может быть, не стану спорить. А воду, я видел, вы сами однажды носили. И по магазинам бегаете. И умывальник у вас кое-как висит. И книжной полки нет. А ведь это мужское дело, правда?

— Да, Сережа сказал, что, как только приедет, все сразу сделает. Он по вечерам пишет, ему некогда заниматься всякими пустяками.

— А, вон что! Ну, тогда понятно. Но все-таки, Катя, мой вам совет, хотя Сергей советов не любит, да и вы, наверно, тоже... Не спешите соглашаться с его решениями.

— Почему?

— Так будет лучше,— туманно ответил я и поднялся со стула.

— Вы уже уходите? — огорчилась Катя.

— Да, и вас хочу с собой забрать.

— Меня?

— Совершенно верно. Одевайтесь побыстрей и пойдем прожигать нерабочее время. Моя жена приготовила таймень котлеты.

— Ой! — вырвалось у нее.

— Что «ой», Катя?

— Как хорошо!



— Что хорошо?

— Котлеты и вообще... А то одной, знаете, как скучно.

За ужином Катя была оживленной, весело болтала с моей дочерью о Москве и очень понравилась моей жене.

ИЗ ДНЕВНИКА КРОТОВА

«Красный свет — неприязнь, испуг.

Желтый — раздумье, колебание.

Зеленый — доверие.

Три раза мигнул светофор в ее глазах. И вот уже я держу авоську, как победный трофей преследования.

Почему смолк город? Куда пропали прохожие? Их нет; мы — два космонавта под одним шлемом в безвоздушном пространстве.

На выпускном вечере я целовался в темном углу с Наташей П., толстушкой-одноклассницей. Было любопытно, нестрашно и весело. В паузах между поцелуями я тайком корчил дикие рожи. Она спрашивала: люблю ли я ее? Еще бы, отвечал я, до гробовой доски! Забуду ли я ее? Нет, никогда, никогда! Дурочка всему верила. Чмок-чмок-чмок. Цинично и весело. Наташа П. была толстенькой и плотной, как ливерка. Что самое смешное — она лгала не меньше, чем я. Ей просто-напросто хотелось оставить память о выпускном вечере. Чмок-чмок-чмок. Наконец, мне надоело это. Я удрал в компанию.

В чем дело сейчас? Почему я гляжу и не нагляжусь? А в ее глазах мое отражение.

— Ты москвичка?

— Да.

— Поступаешь?

— Угу.

— Как тебя зовут?

— Катя. А тебя?

— Сергей.

Мы несем яблоки к ней домой, двадцать минут ходьбы от метро. На лестничной площадке я передаю ей авоську.

— Подожду?

— Подожди, я быстро.

— А тебя отпустят?

— Отпрошусь.

Щелчок замка. Минут через пятнадцать опять щелчок. Она выскочила из квартиры с криком:

— ...не беспокойтесь, не беспокойтесь!

На ней короткая клетчатая юбка, зеленая кофточка. Волосы расчесаны, струятся чуть не до пояса. С ума можно сойти!

Два человека живут на противоположных концах земного шара. Случайная встреча потрясает их. Предопределение? Судьба? Незапланированное столкновение атомов? Не знаю.

Йоги верят во множественность жизней. Может, мы встречались уже в предыдущей жизни? Не знаю, не хочу знать!

Мои приятели оглядывали, обмеривали взглядами наших одноклассниц. Но ни одной серьезной школьной любви! Увлечений — тьма. Поцелуи, клятвы, слезы, обещания — непременное школьное многоборье. Я чемпион по многоборью. Я в отличной спортивной форме.

Катя, Ка-тя...

Визг тормозов. Таксист вопит:

— Ослепли! Жить надоело!

А в ее глазах зеленые огоньки: путь открыт.

— Почему ты пошел за мной?

— Это мое хобби. Я преследую всех красивых девушек.

— Ах, всех!

— Всех преследую, но заговорил только с тобой.

— Я подумала, что ты какой-то хулиган.

— А я сразу понял, что ты марсианка. На Земле таких не бывает.

— Вруша и льстец!

— Я чемпион по многоборью.

— Какому такому еще многоборью?

— Вздохи, пожатия рук, нежные слова, клятвы. Знаешь, что это такое? Ничего не будет!

— А что будет?

— Правда. Только правда.

— «Вы обязаны говорить правду, только правду». Так?

— Да, я приведу тебя под присягу. Вот на этой скамейке.

— Она покрашена.

— Тогда на этой. Сядьте! Положите руку на мою ладонь, как на библию. Поклянитесь!

— Обещаю говорить правду и только правду.

— Итак, ваше имя?

— Катя. То есть Екатерина.

— Фамилия?

— Наумова.

— Возраст?

— Семнадцать и еще немножечко.

— Вы не замужем, Катерина Наумова?

Она прыснула.

— Отвечайте! — потребовал я.

— Нет, не замужем.

— Не помолвлены?

— Нет.

— Под судом были?

— Никогда!

— Родственники за границей? Это пропустим... Любите читать, Катерина Наумова?

— Да, очень!

— Ваш любимый писатель?

— Ох, это трудно! Из классиков я люблю Голсуорси, а из современных... пожалуй, Паустовского.

— Достоевский? Михаил Булгаков? Леонов? Фолкнер? Стерн? Эти имена вам о чем-нибудь говорят?

— Да... я читала, но не всех.

— Ваши увлечения?

— Шитье и вязание. И еще... шахматы.

— Как вы относитесь к фильму «Андрей Рублев»?

— Мне понравилось...

— Только-то? Гениальный фильм. Читали Марио Варгаса Льосу?

— Что? Нет, не читала.

— Большой пробел. Бываете на Таганке?

— О, еще бы! Недавно смотрела «Гамлета». Девчонкам не понравилось, а мне очень.

— Лем? Брэдбери? Стругацкие?

— Ничего не читала. Не люблю фантастики.

— Печально. Ну ладно! Я удовлетворен. В каких отношениях вы находитесь с неким Сергеем?

Она рассмеялась, закинув голову.

— Мы знакомы.

— Давно?

— Не очень... А мне кажется, очень давно.

Я положил ладонь поверх ее руки.

— Теперь поменяемся ролями. Клянусь говорить правду и только правду!

Она закусила губу, словно решая трудную задачу.

— Ну-ка отвечайте, как ваша фамилия?

— Кротов, ваша честь.

— Кротов... Кротов... Это такой слепошарый зверек, да?

— Так точно, ваша честь.

— Мне не нравится эта фамилия. Нет, не нравится!

— Ваша честь, я сменю ее ради вас!

— Ну-ка отвечайте, Сережа Кротов, сколько у вас троек в аттестате?

— Ни одной.

— А пятерок?

— Русский язык и литература.

— Ой, самые трудные предметы! А скажите-ка, сколько раз вы сидели с девушками на скамейке?

— Несчетное число, ваша честь.

— Так я и знала. Вы ловелас?

— А как же!

— Ну-ка отпустите мою руку!

— Ни за что.

— Ладно уж. Это ведь не рука, а библия. Скажите-ка лучше: кто ваши мама и папа?

— Родители.

— Да нет же! Какой вы глупый! Кем они работают?

— Отец — строитель, мать — домашняя хозяйка.

Мы прикусили языки: мимо скамейки двигалась, глядя в упор на нас, подозрительная старуха с клюкой. А едва она прошла...

— Катя...

— Что?

— Пойдем куда-нибудь.

— Куда?

— Где нет ни одной живой души.

— Что ты! Таких мест в Москве нет.

— Есть. Я знаю одно».

6

Кротов отсутствовал две недели. На пятый день он позвонил из Улэкита. Слышимость была отвратительная: эфир трещал, словно в небесных сферах шла пулеметная стрельба. Мне удалось понять, что он выезжает в оленеводческую бригаду на озеро Харпичи.

После телефонного разговора я зашел в фонотеку, где Катя наводила порядок в пленках, и передал ей привет от мужа. Весь этот день оттуда доносилось негромкое Катино пение.

Затем Кротов надолго замолчал, словно пропал, сгинул в ягельных пустошах. Катя перестала выходить из глухой прохладной комнатушки, заставленной полками с коробочками пленок. Целыми днями она в полном одиночестве печатала карточки. «П. И. Чайковский. Первый концерт»,— выстукивала она двумя пальцами. Чтобы успокоить ее, я опять наведался в фонотеку и объяснил, что все бригады находятся очень далеко от населенных пунктов, в глухой тайге.

— А рация? — проявила она неожиданные познания.

Пришлось выдумать, что рация могла испортиться или нет проходимости для волн — это часто бывает на наших широтах. Но, кажется, я не убедил ее.

В эти дни вместе с редакционной почтой пришло письмо из Москвы на имя Наумовой. Я не сразу сообразил, что оно адресовано Кате. Взяв конверт, я отправился в фонотеку и застал Катю за обычным занятием — перепечатыванием карточек. Я предложил ей на несколько минут прекратить работу и немедленно, сейчас же станцевать. Она стиснула руки на груди.

— Письмо?

Я помахал в воздухе конвертом.

Катя так и взлетела со стула.

— От Сережи?

— По-моему, от вашей мамы.

— А-а! — протянула она, словно вместо шоколадной конфеты получила пустой фантик.

Я по-настоящему разозлился на Кротова. Он мог, конечно, дать о себе знать. В это время года рации в оленеводческих бригадах работают надежно, туда нередко летают вертолеты. Не случилось ли в самом деле что-нибудь с этим шалопаем? Он позвонил на двенадцатый день из Улэкита. На этот раз слышимость была неплохой. Бодрым, напористым голосом Кротов сообщил, что съездил очень удачно, исписал восемь кассет пленки, встречался с оленеводами и первым самолетом вылетает.

— Меня здесь торопят, очередь большая. До свидания, Борис Антонович!

— До свидания,— сказал я и шмякнул трубку на рычаг.

В обеденный перерыв я заглянул в комнату Кротовых. Катя стояла в фартуке перед плиткой и вяло помешивала что-то ложкой в кастрюльке.

— Ну, Катерина Алексеевна,— заговорил я с порога,— перестаньте хандрить. Только что звонил Сергей. Он жив-здоров, вернулся из тайги и передает вам пламенный привет и поцелуи.

Она даже подпрыгнула:

— Правда?

— Послезавтра будет здесь, если не помешает погода.

— Как хорошо! Я так рада! Спасибо, что сказали.

— Это мой редакторский долг — поднимать дух своих подчиненных. Но мой вам совет, Катя, на будущее... кажется, я его уже давал... Постарайтесь сделать так, чтобы в отъездах он скучал больше, чем вы. Понимаете?

— Не-ет... Вы думаете, он не скучает?

— Не сомневаюсь, что скучает. Но не теряет ни бодрости духа, ни вкуса к жизни. Теперь понимаете?

— Кажется, да... Я постараюсь. Конечно, вам противно смотреть на мою кислую физиономию. Уже все смеются. Я случайно услышала разговор в аппаратной. Говорят, что я по Сереже сохну. Это, конечно, правда, но я не понимаю, что тут смешного? Даже в греческих трагедиях жены всегда волновались, когда их мужья уезжали куда-нибудь. Вот Пенелопа всю жизнь Одиссея ждала. Удивляюсь только, как она не умерла от горя.

Я улыбнулся.

— Ну, параллель не совсем уместная... Скажите лучше: почему вы в столовую не ходите? Здесь не очень удобно готовить.

— Там люди.

— Вот и прекрасно. Вы что, человеконенавистница?

— Нет, что вы! Просто Сережа просил меня не ходить.

— Это что за новости?

Она замялась. Видно было, что ей не очень хочется разглашать маленькую семейную тайну.

— Просто так... Мы решили всегда везде ходить вместе.

— Выходит, что вам и в кино нельзя одной появиться?

— Нет, почему же. Я, конечно, могу сходить в кино. Но мне не хочется обижать Сережу.

— Обижать?

— Ну... понимаете, это будет нечестно по отношению к нему.

— Нечестно?

— Ну да, нехорошо! — окреп ее голос.— Как будто я сама по себе, а он сам по себе... Понимаете?

— Пытаюсь. Вы извините, Катя, он что, современный Отелло?

Она опустила голову. Тонкая нога в босоножке принялась чертить по полу.

— Не в этом дело... Сережа, конечно, ревнивый, как все мужчины.— («Гм...» — кашлянул я, не вполне согласный с этим заключением.)— Но если хотите знать, мне самой без него никуда не хочется ходить. Мне скучно без него.

— И поэтому вы сидите вечерами в этой келье или на завалинке, так?

Кивок Кати подтвердил, что именно так.

— Ясно,— подытожил я.— Возможно, у меня устаревшие представления о семейной жизни, но, должен сказать, я не совсем вас понимаю... Что пишут из дома, если не секрет?

Ее босоножка замерла, потом опять начала вычерчивать на полу петли и зигзаги.

— Ругают...

— Все еще? Кажется, пора бы перестать.

— Нет, мама очень сердится. Она такая впечатлительная, даже заболела от огорчения. Знаете, она пишет, что приедет сюда и заберет меня силой. И вам хочет написать. Вы не получали от нее письма?

— Нет, ничего не было.

— Еще получите,— обнадежила меня Катя.— Она обязательно напишет. Но вы не беспокойтесь, пожалуйста!

— Да я и не беспокоюсь. А чем, собственно, я могу помочь вашей маме? Запечатать вас, как бандероль, и отправить по почте в Москву?

Катя засмеялась, верхняя губа у нее вздернулась, как у симпатичного зверька.

— Сережа вам не даст меня отправить.

— Опять Сережа! Да я и не спрошу вашего Сережу. Очень он мне нужен, ваш Сережа! Кстати, а его родители как относятся к вашему браку?

— О, они молодцы!

— Вот как?

— Они просто молодцы! А Сережа смеется. Он говорит, что у всех родителей наступает стрессовая ситуация, когда их дети уезжают. Он считает, что чем раньше это случится, тем лучше.

— Да он философ к тому же!

Она не приняла моей легкой иронии.

— У него есть такая теория насчет отцов и детей, не хуже, чем у Тургенева. Например, он считает, что сейчас у взрослых людей очень развито чувство конъюнктуры. Все борются за теплые места, очень большое значение уделяют деньгам. А нам всякое приспособление противно. И поэтому родители нас не понимают. Они стараются сделать как лучше, а нам это претит... Я с ним спорю, но он всегда побеждает. Я в логике очень слаба.

— А он, безусловно, силен?

— Да, с ним трудно спорить.

— Так-так... Приводите его как-нибудь ко мне в гости, хочу послушать его логические упражнения.

После обеда, проходя по коридору мимо фонотеки, я услышал, как за дверью стучит машинка. Почудилось, что она выбивает: «Сережа... Сережа...»

Накануне прилета Кротова мне пришлось услышать о нем.

Рабочий день был в разгаре: стучали машинки, крутились на магнитофонах километры пленки, ревели динамики, звонили телефоны — все, как водится в любой редакции радио, даже в такой захолустной, как наша.

Я просматривал и правил в своем кабинете выступление председателя охотничье-промыслового управления, когда вошел Иван Иванович Суворов. В последние дни мы встречались с ним лишь мельком — на утренних летучках да еще случайно в кабинетах. О злополучной заметке не вспоминали. Как обычно, Суворов передавал мне свои материалы на подпись; я нередко вычеркивал целые страницы; он принимал правку без возражений.

Итак, Суворов вошел. Он был в новом черном костюме, ворот белой рубахи сдавливал его шею. Маленькие глаза необычно посверкивали.

— Разговор к вам имеется... дозвольте?

— Садитесь, Иван Иванович.

Он уселся, потер руки, расправил морщины на лбу.

— Даже два разговора. Первый такой. Заметку-то помните о медведе, которую этот сопляк исчеркал? Помните?

— Заметку помню. Сопляка не знаю.

— Ишь как! Опять защищаете его... Ну, да ладно, пускай не сопляк, пускай Кротов. Так вот, Кротов-то этот, сопляк, исчеркал, а вы его писанину одобрили. А я заметку эту в Москву послал, прямо в редакцию «Маяка». И что бы вы думали?

— Судя по вашему виду, она прошла в эфир.

— Совершенно точно. Правильно угадали. Вот так-то! — Он удовлетворенно хмыкнул.

— Поздравляю. Я думаю, вы понимаете, что после этого триумфа снисхождения к вашим материалам тем не менее не будет?

— Правьте, правьте! Правду не зачеркнешь, она завсегда наружу вылезет.

— Этот афоризм стилистически не безгрешен. Что еще, Иван Иванович?

Он помрачнел, насупился, но только на мгновение.

— А еще вот что. Возвратился на днях из Улэкита один человек. Был он там по делам и прослышал про сопляка нашего.

— Последний раз предупреждаю...

— Ладно, ладно... не буду уж! Прослышал он, значит, про нашего командировочного и до сих пор, представьте себе, очухаться не может.

— Что вы этим хотите сказать?

— Да любимец ваш умудрил такое, что теперь не знаю уж, как это на вас лично отразится.

— Обо мне не беспокойтесь. Что случилось? Говорите яснее.— Я полез в карман за сигаретами.

Суворов с удовольствием проследил, как я закурил. Густые его брови сдвинулись к переносице, как два враждебных мне облачка.

— Да что тут долго говорить-то! Вам лучше должно быть известно, откуда у вашего подопечного церковный крестик взялся.

— Что такое? Какой крестик?

— Какие бывают крестики! Видели, поди, какие крестики верующие люди носят. Вот у вашего такой же оказался, хотя для сопляка этого Иисус Христос все равно что для оленя квашеная капуста... Проторговал он крестик, вот что! Обменял на шкурку! — выложил Суворов свою новость.

Я смотрел на него в полном замешательстве. Суворов сидел с тихой улыбкой на губах. В груди у него явственно похрипывало. Перехваченная воротом шея была в складках, как пересеченная местность.



— Вы отвечаете за свои слова, Иван Иванович?

— Коли мне не доверяете, расспросите Вениамина Ивановича Бухарева. Ему тоже стало известно.

— Это плохая новость.

— Да уж что ж тут хорошего,— согласился он.

— Подробностей не знаете?

— Всего не знаю, а известно только, что продал он этот крестик Филипповым-староверам. А те, надо полагать, кому-то проговорились, и слух до Бухарева дошел.— Суворов как-то горестно помолчал.— Предупреждал вас, что добра с ним не наживете. Теперь расхлебывайте кашу. Жалко вас даже...— посочувствовал он.

— У вас все?

— А вам мало?

— Достаточно. Можете идти работать.

— Сейчас пойду. Только хочу напоследок узнать, какие меры вы собираетесь принять против этого боголюба. Неужто и это ему с рук сойдет?

— Идите, занимайтесь своими делами. И, если сумеете, поменьше рассказывайте об этой истории.

— Это просьба или приказ? — хмуро уточнил Суворов.

— Просьба.

— Ну, коли просьба, так куда еще ни шло. Могу и помолчать. Я не зверь какой-нибудь, как некоторые думают. Могу и помолчать.— Он ушел на прямых, негнущихся ногах.

Час от часу не легче!

Через пятнадцать минут, предварительно позвонив и договорившись о встрече, я вошел в кабинет заведующего отделом культуры.

Вениамин Иванович Бухарев стоял около окна, заложив руки за спину, и разглядывал октябрьский пейзаж — замерзшую реку, поблескивающую льдом, а на той стороне ее — пустые снежные сопки. Когда он повернулся на стук двери, его темное, в отметинах оспин лицо было странно печальным.

— Хорошая погода,— заговорил Бухарев вместо приветствия.— Сейчас самая охота — снежок мелкий, собаки идут, не тонут. А тут сидишь, как лисица в клетке. Кабинетным человеком стал! — вдруг пожаловался он.

— Не вы один,— понял я настроение Бухарева.

Не отвечая, он некоторое время расхаживал вдоль своего длинного стола мягкой, неслышной походкой.

— Тянет меня в тайгу, Воронин. Я двадцать лет соболишку промышлял.

— Слышал об этом.

— По сотне хвостов таскал за сезон. Больше всех добывал. В Ленинграде на аукционе моих соболей хвалили. А сейчас... Ну ладно! — оборвал он себя и свои воспоминания.— Зачем пришел?

— Сами знаете.

Бухарев сел в широкое кресло и сразу стал казаться мельче и невзрачней.

— Я все знаю. Фарцовщика взял на работу?

— Ерунда, Вениамин Иванович. Не может быть.

— Как не может быть! Люди говорят. Крест откуда взял?

— Крестик,— поправил я.— Не знаю.

— Обменял на шкурку. А шкурка — утаенная от государства. Это так? Судебное дело может выйти. А ты что говорил про него?

— Я и сейчас повторю. Славный парень. Способный. Ершистый, разумеется.

Бухарев отшвырнул карандаш, который крутил в пальцах, он звякнул о настольное стекло.

— А шкурки берет?

— Не верю, Вениамин Иванович. Сами знаете, маленькая фактория—замочная скважина. Языки чешут таежники!

— Инструктор врет?

— Инструктор может ошибаться.

Бухарев нажал кнопку звонка. Вошла секретарь — нескладная высокая девушка. Бухарев попросил пригласить инструктора Потапова. Сидели молча, не глядя друг на друга. Вениамин Иванович барабанил пальцами по столу и тоскливо косился в окно. Появился коренастый молодой человек с румяным лицом, новичок у нас в столице.

— Слушаю, Вениамин Иванович.

— Рассказывай, что в Улзките слышал.

Молодой человек сел, прокашлялся, поправил узел галстука и бойко изложил такую историю.

На фактории Улзкит к нему пришел заведующий местным красным чумом и сообщил, что старовер Филиппов, всегда подрывающий его лекционную пропаганду, приобрел у приезжего человека крестик в обмен на соболью шкурку. Заведующий красным чумом был слегка пьян («ма-аленько выпил бражки»). Инструктор выслушал его, махнул рукой и отпустил. В тот же день он вторично услышал о крестике — на этот раз от охотоведа. Видимо, слух распространился по фактории, где всех домов было двадцать два, не считая пустых летних чумов. Охотовед назвал фамилию — Кротов — и должность — корреспондент окружного радио. Тут инструктор призадумался: черт его знает, все-таки идеологический работник... неудобно. Он хотел переговорить с Кротовым, но тот уже уехал в стадо.

— Вот и все. Следствия я не вел.

Бухарев из-под припухших век взглянул на меня, словно проверяя, какое впечатление произвел рассказ инструктора. Я достал сигареты, закурил и хмуро уставился на розовощекого молодого человека.

— Вы верите в эту версию?

— Да как вам сказать...— пожал он плечами.

— Тем не менее Суворову вы ее изложили. А это все равно, что объявили по радио.

Он замялся, сконфузился. Бухарев резко поднялся из-за стола.

— Тут рассуждать нечего. Проверить надо. Виноват — принимай меры.

— Если виноват — пинком выгоню.

— Вот так! — припечатал он разговор шлепком ладони по столу и бросил быстрый, нетерпеливый взгляд в окно.

Вдруг я подумал, что для него этот разговор не менее тягостен, чем для меня.

Молодой человек продолжал сидеть в выжидательной позе. Я поднялся и пошел к двери. Меня остановил голос Бухарева.

— Да, Воронин! Говоришь, он женат, твой парень?

Я обернулся. Бухарев стоял около окна. Глаза его превратились в совершенные щелки, лицо казалось вдвое шире от улыбки.

— Ну да, женат.

— А на фактории говорят, он медичку приглядел. Хорошая девка. Он не дурак, твой парень!

Я устало привалился плечом к косяку и посмотрел на бдительного молодого человека, облитого великолепным румянцем.

— Вранье это! Вранье и вранье! Трижды вранье!

— Почему не веришь? Молодой парень — молодая девка. Мог присмотреть?

— Не мог!

— Сам разве молодым не был?

Я лишь махнул рукой и вышел из кабинета.

А назавтра появился Кротов. Сначала я услышал его голос за дверью, в общей комнате редакторов. Кротов что-то рассказывал взахлеб. Я отложил в

сторону рукопись нештатного автора. Дверь распахнулась, вошел... нет, влетел!.. нет, ворвался Кротов.

— Здравствуйте, Борис Антонович.— Он был в распахнутой меховой куртке, свитере, рубчатых туристских ботинках, джинсах; на голове лихо сидел сдвинутый к уху берет. Лицо его сильно обветрилось, губы потрескались, голубые глаза лучились. Весь он, казалось, был еще заполнен ветром движения.

Я отрывисто поздоровался, предложил садиться. Кротов рухнул на стул, вытянул длинные ноги, шумно перевел дух. Я молча разглядывал его. Он сдернул берет, ладонью прибил рассыпавшиеся волосы.

— Рассказывай,— потребовал я.

— В двух словах так: задание ваше выполнил. Впечатлений — тьма! Спасибо за поездку, Борис Антонович. Очень интересно.

— Напишешь официальный отчет. Благодарностей в нем не требуется, эмоций — тоже. Укажешь, какие материалы записал на пленку, авторов, хронометраж. Приложи авансовые документы. Дашь мне на подпись.

— Ясно!

— Теперь рассказывай.

Мой тон сбил его с толку...

— Не знаю, с чего начать. Был в стаде у Чапогира. Потрясающе! Не хотелось уезжать. Вот бы где я поработал!

— Впечатления твои меня не интересуют. Оставь их для мемуаров. Начинай с самого главного — с крестика.

Кротов на мгновение онемел и стал похож на голубоглазого, светловолосого ребенка, сокровенный секрет которого раскрыт...

— Откуда вы знаете?

— Как я узнал, не твое дело. Рассказывай.

— Ерунда, Борис Антонович! Обычный благородный поступок.

— Что-что?

— Подходит под рубрику «Так поступают советские люди»,— охотно разъяснил он.

Я тяжело задышал.

— Послушайте, Кротов, надоели мне ваши остроты. Я, черт побери, не намерен их больше выслушивать. Перед вами не приятель. Извольте отвечать как положено. Здесь редакция. Я разговариваю с вами как официальное лицо. Сядьте нормально, не разваливайтесь, здесь не солярий.

Он подобрал ноги, выпрямился. Он был, кажется, ошеломлен моим натиском.

— Что у вас за история с крестиком? Только без вранья.

— Да я и не думаю врать, Борис Антонович!

Зазвонил телефон. Я сдернул трубку и несколько минут разговаривал с окружкомом партии. Кротов рассеянно смотрел в окно. Я положил трубку, чиркнул спичкой. Отлетевший кусочек серы обжег щеку. Я выругался. Кротов фыркнул. Он уже пришел в себя.

— Можно рассказывать?

— Говори.

— Вы только не сердитесь. Дело было так. Шел я по улице, смотрю, валяется крестик. Ну, я его поднял и положил в карман.

— Ты что, верующий?

— Да что вы, Борис Антонович! Я убежденный атеист. Мой бог — интеллект. А крестик собирался выкинуть, да забыл... Честное слово! — Он перекрестился с самым дурашливым видом.— На фактории пошел к Филиппову. Он в прошлом сезоне восемьдесят пять соболей добыл. Отрекомендовался, как вы меня учили. Он сидит, жрет медвежатину, сам



на медведя похож. Стали есть вместе. Я болтаю, он молчит. Из него слово вытянуть, как деньги стащить из сейфа. Интервью я все-таки взял... Потом выпили немного браги. Я ему про Москву рассказал. Мужик хороший! Он бобыль. Родственников нет, одна мать старая. Ей девяносто лет. Славная такая бабка... удивительно! С кровати не встает, но в памяти и рассуждает так интересно! В космонавтов, между прочим, верит, но жалеет их... такая славная бабка! — Он задумался, переносясь мысленно в Улзкит.— Ну вот. А потом говорит, что ей умирать пора, этой зимой умрет, а крестика нет. Потеряла. А без него боится умирать. Попросила где-нибудь достать. А я пошарил в кармане и наткнулся...— Он помолчал и добавил с какой-то внезапной серьезностью: — Знаете, она мне руку поцеловала... не успел помешать... — И совсем умолк.

— Дальше! — поторопил я.

— Что дальше?

— Дальше что было?

— А ничего. Мы с Филипповым выпили еще по стакану браги за бабушкино здоровье. Я ушел.

— Все?

— Все.

— Ничего не забыл?

— Да нет... что еще?

— Тогда я скажу. Мне стало известно, что вы унесли из дома Филиппова соболью шкурку, что получил ты ее в обмен на свой крестик, что душеспасительная беседа имела для вас меркантильный интерес. Так или нет? Только без вранья!

Скулы Кротова потвердели, под тонкой кожей вспухли желваки. Он вдруг стал заикаться.

— Кто... в-вам эт-то... сказал?

— Неважно. Отвечай.

— Я... ему... м-морду... набью!

— Сомневаюсь. Да или нет?

— Я... в-вам... отвечать не намерен.

— Вот как!

— Я... от вас... этого не ожидал.— Он стал подниматься, не спуская с меня глаз.— Не ожидал... Я д-думал... вы умнее.

— Да или нет?

— Я у в-вас работать не желаю.— Он выпрямился во весь рост.

Я обошел стол и преградил ему дорогу к двери.

— Садись, прекрати истерику. Слушай! До меня дошли разговоры. Я должен их проверить. Мне противно это делать, но я вынужден.

— Рюкзак... показать?

— На черта мне нужен твой рюкзак!

— А что вам нужно?

— Ни черта мне не нужно! Садись.— Я подтолкнул его к столу, а сам заходил по кабинету.— Я не верю, что ты мог взять эту поганую шкурку. Но сам факт, что у тебя оказался крестик, оброс фантастическими деталями... Пойми, ты новый здесь человек, броский к тому же. Каждый твой шаг заметен.

— Невидимкой... стать... не могу.

— Этого и не требуется! Элементарное чувство меры — вот что нужно. Ты уже представляешь не только Кротова, а всю редакцию. На кой черт нужно было таскать с собой этот крестик, а тем более презентовать его умирающей старухе! Ей нужны лекарства, больница, а не крестик.

— А вы бы что сделали на моем месте?

— Не знаю, что я сделал бы на твоем месте! Понятия не имею, что я на твоем месте сделал бы! Я в такие ситуации вообще не попадаю. Я в семнадцать лет не женился, не ехал к черту на кулички по велению указательного пальца, не писал романов... Все это достаточно экстравагантно и без церковных амулетов, пойми.

— Что вы от меня хотите?

— Только одного: веди себя разумней. Если бы это сделал я, то лишился бы своего кресла. Тебе еще делается скидка на молодость.

— Мне скидок не нужно. Можете меня уволить.

— Да перестань ты, как попугай, твердить: уволить, уволить! Я тебя не увольняю пока. Я тебе делаю предупреждение. Учти, что твое умение писать — это ненадежная броня. На все случаи жизни она не годится. Подумай о Кате! Ты женатый человек.

— Я о ней думаю. Я ей шкурок на манто наторговал.

— Ладно, побереги свою иронию. Курить будешь?

— Буду.

— Вот держи. И чтобы покончить с этой историей, хочу тебя предупредить, что Иван Иванович Суворов знает о ней. Хорошего в этом мало, но не вздумай устраивать ему сцены.

Он промолчал с подавленным видом. Я подсел к нему на соседний стул.

— Есть у меня к тебе еще вопрос, Сергей... деликатного свойства.— Он молчал, не проявляя интереса.—Можно, что ли, спросить?

— Спрашивайте.

— Только не кидайся на меня с кулаками. Что за знакомство ты завел в медпункте на фактории?

— Отчет написать?

— Не глупи. Я спрашиваю по-товарищески.

Он покосился на меня, недоверчиво так...

— Интервью брал.

— Для молодежного журнала?

Он вяло пожал плечами.

— Мне все равно, для чего. Интересная девчонка. Приехала после училища из Горно-Алтайска. А в чем дело?

— Да ни в чем. Тебя не удивляет моя осведомленность?

— Еще как!

— А странного в этом ничего нет. Я тебе, кажется, говорил, что здесь каждый новый человек на виду. Вот доказательство. Будь осмотрительней в своих знакомствах.

— Удивляюсь я!

— Чему, объясни.

— Шагу нельзя сделать без оглядки. В яслях — правила, в детсаде — правила, в школе — целый свод. Я свободный человек?

— Конечно.

— Могу я поступать, как хочу?

— Допустим.

— Вот и все! Никому нет дела до моих знакомств.

— Даже Кате?

Он крутнулся на стуле.

— При чем тут Катя?

— Она твоя жена. Как ты думаешь, безразлично ей или нет, с кем ты знакомишься? Или, скажем, так: как бы ты отнесся к ее знакомству с молодым человеком, одиноким и скучающим? Это предположение, разумеется,— добавил я поспешно, так как он сразу насторожился.

Кротов отрезал:

— Это останется предположением!

— Не сомневаюсь. И все же?

— Сначала Катя спросит меня. И поступит так, как я посоветую. У нас договор.

— Хороший договор. Двусторонний?

— Я от нее ничего не скрываю. О медпункте тоже скажу.

— Правильно сделаешь. Но ты недоучитываешь силу домыслов. Они способны превращать муху в слона.

— Катя не дура.

— Но она женщина, молодая женщина.
— Катя не ревнивая.
— Но впечатлительная, правда? Хватит уже того, что для ее спокойствия я вынужден передавать ей от тебя приветы.
Кротов крепко стукнул себя кулаком по голове.
— Ох, черт! Извините, пожалуйста.
— Ерунда. Перед женой извинись.
— Я замотался совсем. Можно, я пойду? Она, наверно, ждет.
— Ты разве ее не видел?
— Нет, я сразу к вам.
С полминуты я молча рассматривал его под каким-то новым для себя углом зрения...
— Ну, знаешь, Кротов, я, конечно, ценю такую добросовестность, но она выше моего разумения! Жена сидит в двух шагах, считает каждую минуту, ждет тебя как манну небесную, а ты вначале являешься докладывать о своих дурацких впечатлениях.
— Да я же хотел как лучше...
— Пошел отсюда! И больше не появляйся сегодня. Сходи в баню, смой грехи.
Он кинулся к двери, но замер на пороге.
— Один вопрос... можно?
— Ну?
— Почему вы послали меня в командировку?
— Чтобы поменьше тебя видеть, романист. Ты в больших дозах приедаешься.
Кротов устремил глаза в потолок, усиленно что-то соображая, потом преподнес:
— Вы неплохой человек, Борис Антонович! Ладно, подожду еще увольняться!
И, одарив меня таким образом, исчез.
А я остался сидеть, негодующий и растерянный, с погасшей сигаретой, и вдруг почувствовал себя старым, как сама земля, усталым и больным, и зависть заполнила мое сердце...
Из коридора долетел восторженный дикарский вопль: Кротов приветствовал свою жену.

ИЗ ДНЕВНИКА КРОТОВА

«Москва — огромная матрешка, а внутри нее — крошечное подобие. Москва — улей из миллионов сотов, один из них — комната моей дальней родственницы. Она уехала лечиться на юг. Ключи бренчат в моем кармане.
Киношки забыты.
Библиотеку побоку.
Москва съежилась, усохла до десяти квадратных метров. На этой площади — кровать, стол, сервант, стулья.
Окна выходят в глухой двор.
За стенами — суета, бряканье кастрюль, сварливые голоса, кухонный чад коммунальной квартиры.
Еще дальше — день и ночь бьет прибой Арбатской площади.
Дверь на ключ. Мы внутри барокамеры. Здесь — безвременье, тишина, шепот.
— Ты любишь меня?
— Очень! А ты?
— Люблю.
Кто спрашивает, кто отвечает? Что за магическое слово «люблю»! Миллиарды раз его произносят миллиарды людей, а оно не тускнеет, не стирается. Слово-бессмертник.
Первый раз в жизни, говоря «люблю», понимаю, что это значит.
Прикосновение ее руки — дрожь.
Ее губы — затмение.
А дальше — обморок.
Как все произошло?
Наши губы боролись.
Вдруг мои руки стали агрессивными.
Одежда, одежда — проклятье ей! Фиговый листок Адама. Набедренная повязка туземца. Костюм просвещенного европейца. Проклятье одежде!
Вдруг пахнуло холодом ее тела.
Мы стали новорожденными, близнецами в люльке.
Минуты, вычеркнутые из жизни. Или наоборот — жизнь, спрессованная в минуты.
Наши новые имена — мужчина и женщина.
А она бормотала так беспомощно, сквозь слезы: что делать теперь, любовь, мама, я боюсь, люблю, это необыкновенно, какой выход, жизнь, мама, несчастье, люблю.
А я говорил: люблю, никогда в жизни, первый раз, плевать на всех, люблю, самая красивая, никто, никогда, случилось, не бойся, твой...»

7

Дни шли; солнце меркло. Давно остановились реки. Темнело быстро и надолго. Соболь нагулял меховую шубку; в тайге сухо щелкали винтовочные выстрелы. Олени отъелись на осенних грибах, теперь копытили ягель. По ночам из труб нашей столицы в небо тянулись длинные и прямые дымы. Градусники начало зашкаливать.
В редакции жизнь шла своим чередом. Каждый день в 18.15 по местному времени в эфире раздавались звуки национального инструмента, открывавшего наши передачи. С девяти до шести крутились магнитофоны, приходили и уходили авторы, загоралось и потухало световое табло над дверью дикторской: «ТИШЕ! ЗАПИСЬ!», заполнялись бумагами и вновь пустели редакционные урны, не стихал шум в аппаратной, где три женщины с помощью иглы и клея превращали косноязычие в красноречие, созывались летучки, улетали и прилетали сотрудники — настольный календарь становился все тоньше.
Потянулась моя девятая зима в этих краях.
Кротовы по-прежнему жили в редакционной комнатушке. Кто-то пошутил, что им по совместительству нужно платить ставку сторожа. К Кате привыкли и, кажется, полюбили ее. Она держалась очень скромно, почти незаметно, охотно помогала машинисткам и стала неплохо разбираться в нашей фонотеке. Я подумывал о том, чтобы поручить ей готовить концерты по заявкам.
Из того, что Катя держалась тихо и скромно, кое-кто сделал неправильный вывод об ее безответности. Как-то Юлия Павловна Миусова, сорокалетняя молодящаяся женщина, завела с Катей разговор и шутливо посоветовала ей «сделать из Сергея человека — постричь его и стесать острые углы». Катя заявила с неожиданным гневом:
— Не смейте так говорить!
Миусова захлопала зелеными веками:
— Почему, Катюша?
— Сережа не нуждается в приглаживании. Он незаурядная личность. Ему все позволено.
— Да это Раскольников какой-то! — воскликнула Миусова.
Кротов в последнее время затих, замкнулся. На летучках он сидел молча, и мысли его блуждали где-то далеко. Он заметно похудел. Я предполагал, что он мало спит, и осторожно расспросил сторо-

жиху, которая всю ночь дежурила в редакции. Она подтвердила мои догадки: Кротов работал на машинке до глубокой ночи.

История с крестиком не получила дальнейшей огласки, и я стал по-иному посматривать на Ивана Ивановича Суворова. Он с наступлением зимы заболел (рецидив застарелого радикулита) и уже долгое время находился на бюллетене. Другие сотрудники принимали Кротова как нечто неизбежное. Отношение к нему было прохладным и настороженным. Кротов умел создавать вокруг себя какой-то вакуум, безвоздушное пространство, в котором гибли доброжелательность и участие. Открыто восхищался Кротовым лишь наш диктор Голубев, шумный, бесшабашный мужчина, чем-то иногда напоминающий извозчика. С ним у Кротова сложились приятельские отношения, но в дружбу они вряд ли могли перейти.

Из командировки Кротов привез великолепные магнитофонные записи. Я дал распоряжение техникам передать ему для постоянной работы магнитофон «Репортер-5», новейшую модель. Он умело им пользовался, и от наших последних известий как будто пахнуло свежим ветерком... Теперь в каждом выпуске звучали живые голоса (интервью, короткие беседы, репортажи). Я пытался усмотреть в них поверхностность, но придраться было нелегко. Странное дело, он трудно уживался с людьми в стенах редакции и быстро, цепко, без видимых усилий находил общий язык с авторами.

Конец октября Кротов отметил небольшой сенсацией. Мы подготовили часовую программу для Москвы. Она прошла успешно. Как по закону детонации, редакция передачи «Земля и люди» Всесоюзного радио запросила у нас десятиминутный сюжет о местных оленеводах.

Я вызвал Кротова и спросил, не осталось ли у него в запасе подходящих записей. Он ответил утвердительно и через несколько дней принес мне готовый, смонтированный и начитанный кадр. На восемь минут слушатель переносился в тишину тайги, где протяжно звенят ботала на оленьих шеях, раздается хорканье пасущихся животных, заливается лаем собака-оленегонка, быстрая, как чума, гибнут сучья в костре, и неторопливый, хриплый голос старика звенка ведет рассказ о жизни... Авторский текст был прост, непатетичен, в тон медленно гаснущему костру и неспешным мыслям старика. В нем ощущалось какое-то затаенное дыхание, странная грусть и взволнованность горожанина, сердце которого растревожено и бьется учащенно. Я подумал, что Кротов не преувеличивал, когда говорил о своих сильных впечатлениях после поездки в стадо.

Рассказ кончался печально; старик вздыхал, кряхтел и говорил, что «скоро, однако, умирать пора», беспокоился о том, кому оставит свое бригадирское место, и тонкий вой собаки как бы уже оплакивал его.

Материал был послан с сопроводительной бумагой в Москву и вскоре прозвучал в эфире. Затем Москва сообщила, что радиорассказ Кротова, помимо гонорара, отмечен солидной комитетской премией. Я обрадовался и встревожился. С одной стороны, подтверждались мои надежды и риск оказался ненапрасным; с другой — возникали опасения, что у Кротова закружится голова от первого успеха.

Он воспринял известие о премии странно: что-то прикинул в уме и хладнокровно сказал, что этих денег хватит на новое пальто Кате. И все. Телеграмму из комитета он сунул в карман, а несколько дней спустя ее принесла мне уборщица, найдя в урне с бумагами. Я вызвал Кротова и раздраженно отчитал его. Это пижонство, внушал я, мальчишество — бросать такие документы в корзины для бумаг. Он пожал плечами: зачем она? Я объяснил, что это своего рода гарантия на черный день, подтверждение его журналистской квалификации. Он опять пожал плечами. Раз так, сказал я, он ее больше не получит. И сунул телеграмму в стол.

С Кротовым что-то происходило. Да и Катя в последние дни ходила подавленная. Целыми днями она почти безвыходно сидела в фонотеке, и машинка стучала, как дятел.

В начале ноября на мое имя пришло письмо из Москвы. Только вскрыв его и прочитав первые строки, я сообразил, что пишет мать Кати.

«Уважаемый Борис Антонович!

У Вас с августа работает моя дочь Екатерина Наумова (сейчас по паспорту она Кротова). Из ее писем я знаю, что Вы приняли большое участие в устройстве Катиной судьбы. Я думаю, Вы понимаете (у Вас, вероятно, тоже есть дети) необходимость для Кати высшего образования. Поэтому Вы поймете мое резко отрицательное отношение к необдуманному и раннему замужеству моей дочери. Не стоит от Вас скрывать, что ее так называемый муж Сергей Кротов как личность мне глубоко антипатичен. Это в высшей степени, как Вы могли уже, наверно, убедиться, легкомысленный молодой человек. Он не в состоянии устроить свою жизнь, не говоря уже о жизни Екатерины. Ее замужество — результат детского увлечения. А это ни к чему хорошему не может привести.

Я убедительно прошу Вас, Борис Антонович, помочь мне. От расстройства я заболела. Я врач и знаю, что моя болезнь серьезна. Ради бога, уважаемый Борис Антонович! Умоляю Вас, приложите весь свой авторитет, все свое влияние, убедите Екатерину возвратиться в Москву. Иначе ее жизнь будет загублена.

С глубоким уважением
НАУМОВА».

Приписка меня рассердила. Она была такова:
«Готова быть Вам полезна во всем».

Письмо я спрятал в ящик своего стола. Я не знал, чем могу помочь матери Кати.

ИЗ ДНЕВНИКА КРОТОВА

«Родственница с баулами и авоськами вернулась с юга.

Наш необитаемый остров осквернен.

Что нам оставлено? Кафе, многолюдные улицы, скамейки в парках, темные кинозалы. Всюду — глаза и уши. Столица следит за нами. Мы мятущиеся, бесприютные единицы народонаселения.

Каждый вечер мы прощаемся в подъезде Катиного дома. Мы стерли все меловые надписи со стен. Наш лексикон ужался в одно слово: «люблю».

До экзаменов пятнадцать дней.

Десять дней.

— Мы провалимся, Сережа.

— Ерунда!

— Что нам делать?

— Действовать!

— Ты любишь меня?

— Люблю.

— Ты что-нибудь придумаешь?

— Придумаю.

Не узнаю себя. Не я ли издевался над Эмилем Чижом, бредившим на школьной скамье Валей Голу-

бенко, девочкой с такими кудрявыми волосами, как дети рисуют дым? Не я ли произносил монологи в компаниях, называя любовь старомодным чувством?

«В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собою и знал назубок, шатался по городу и репетировал». Пастернак писал про меня.

Однажды Катя не явилась на свидание. Я ждал. Я просмотрел кипу газет, выпил два стакана газировки, в тоске сожрал фруктовое мороженое.

Двухкопеечная монета юркнула в щель телефона-автомата, как зверек в нору.

— Алё! — возник приятный женский голос.

— Здравствуйте. Можно Катю?

— Кто ее спрашивает?

— Сергей.

— Катерины нет дома и в ближайшие дни ее не будет. Она уехала на дачу. Прошу вас больше не звонить.

Гудки отбоя — это невысказанные слова проклятия. Классический прием отваживания! Трубка в моей руке, как сломанный посох перехожего калики.

Вера Александровна Наумова взывает к знакомству. Пора, пора! Рога трубят! Меня бросило в жар.

За две минуты крутого взлета на восьмой этаж я сбил дыхание. Плевать!

Звонок, щелчок английского замка. Передо мной в проеме двери — Прекрасная Дама. Она высока ростом, лицо строгое, как у богородиц, в каштановых волосах одна седая прядь.

— Вера Александровна?

— Да, это я.

— Я Сергей. Я вам звонил. Мне нужна Катя.

Секундная растерянность в лице Прекрасной Дамы.

— Разве я не сказала вам, что Катерины нет дома?

— Неправда!

— Повторяю: ее нет дома. Вы назойливы.

А по длинному коридору к двери уже летит Катя в распахнутом халатике, точно выпущенная из пращи.

— Сережа!

Щеки Прекрасной Дамы слегка зарумянились.

— Входите,— сказала она.

И я вошел.

— Катерина, ступай в свою комнату. Я хочу поговорить с твоим приятелем.

— Мама!

— Ступай. Я позову тебя, когда понадобишься. Я не съем его.

— Иди,— сказал я.

И она ушла, оглядываясь, босая, голоногая, в коротком халатике.

Прекрасная Дама. Прекрасная комната с прекрасным видом из окон. И прекрасный разговор.

— Вы заставили меня солгать. Это не в моих правилах. Я сделала это ради Катерины. Она сошла с ума. Я засадила ее за книги. Вы, кажется, тоже абитуриент?

— Да.

— Это будет и вам на пользу.

— Почему?

— Ваше стремительное знакомство отнимает у вас слишком много времени. У вас есть родители?

— Я подкидыш.

— Вы дерзки. Я этого не люблю.

— Кате нравится.

— Катерина — глупая девчонка. Она увлекающаяся натура. В седьмом классе ей нравился музыкант, в девятом — футболист, а теперь остряк. У нее портится вкус.— Я проглотил пилюлю. Она продолжала: — Вы должны оставить ее в покое.

— Почему?

— Снова объясняю вам: у Катерины на носу экзамены. Она их сдаст, если будет заниматься. Встречаясь с вами, она забывает об учебниках.

— Мы читаем книги и говорим о книгах.

— На экзаменах это не поможет. Кроме того,— начала нервничать Прекрасная Дама,— я не сторонница случайных знакомств.

— Это должно нравиться вашему мужу! — выпалил я. У меня иногда слова опережают мысли.

Она была шокирована.

— Да вы просто хулиган!

— А почему вы говорите за Катю?

— Как почему! Она моя дочь.

— Катя — взрослый человек, с паспортом. Она может отвечать за себя.

— Позвольте мне знать, может она или нет. Я не желаю с вами дискутировать. Сегодня она никуда не выйдет.

— А завтра?

— И завтра тоже.

— А послезавтра?

— Она будет вести себя так, как я захочу.

— Это чушь! — вырвалось у меня.

Прекрасная Дама горько усмехнулась.

— Современный молодой человек... Что ожидать! Я думала, у Катерины лучшие знакомства. До свидания! — Она встала.

Прием был окончен.

— Я хочу видеть Катю!

— Можете с ней попрощаться.

— Вы поступаете деспотично!

Опять горькая усмешка на прекрасном, холеном лице.

— Когда вы станете родителем, вы меня поймете.

— Этого не долго ждать!

— Что такое?!

— Я люблю Катю. Она меня тоже любит.

— Мальчик, опомнитесь! Вы смешны. Катерина влюблялась столько раз, что вам и не снилось.

— На этот раз серьезно.

— Должна вас огорчить: этот раз ничем не отличается от других.

— Катя!! — заорал я на всю квартиру.

И она была тут как тут, точно я потер лампу Аладдина. В том же халатике, голоногая и яростная.

— Сережа!

— Ты любишь меня? Вера Александровна не верит. Ты любишь меня?

— Мама!

— Что «мама»? — спросила мама, слегка потерявшись.

— Неужели ты ничего не понимаешь!

— Что я должна понимать? Позволить, чтобы ты провалилась на экзаменах? Чтобы ты испортила себе жизнь? Чтобы твои глупые увлечения я считала любовью?

— Я люблю Сережу.

— Ерунда.

— Я люблю Катю.

— Бред! Слушать вас не желаю даже!

Я потерял голову. В глазах поплыло.

— Вера Александровна, вы Кабаниха. Деспот и ханжа!

— Ступайте вон из моего дома!

— Мама! Не смей его прогонять!

— Катя, я жду тебя на площадке.

— Мама, извинись!

— Только этого мне не хватало! Уходите оба, дурачье.

И с этим напутственным словом Прекрасной Дамы я скатился по лестнице.

Через пять минут появилась Катя, зареванная, с одной туфлей на ноге, с другой в руке. Я обнял ее.

— Мне понравилась твоя мать. У нее есть характер. Она будет отличной тещей.

— Ох, Сережа!...»

8

В один из первых ноябрьских дней в редакции появилась молодая девушка. Она была в пушистом собачьем полушубке, камусных унтиках, меховой шапке с длинными ушами.

Девушка хотела видеть Кротова. Его не оказалось на месте. Заинтересованная Юлия Павловна Миусова предложила гостье раздеться и подождать. Девушка сняла шапку и присела на стул. У нее было миловидное скуластое лицо с решительно сжатым маленьким ротиком. Она быстро освоилась в незнакомой обстановке и уже минут через пять поинтересовалась у Ивана Ивановича Суворова, почему он курит в присутствии женщин, да еще в закрытом помещении. Это антисанитарно, заявила девушка. Суворов подавился дымом и захрипел.

Поскучав еще минут пять, гостья обратилась к Миусовой. Она хотела знать, где Юлия Павловна покупает тени для век. Выслушав объяснение, она удовлетворенно кивнула и замолчала. Но ненадолго.

— А Сережа скоро вернется?

«Сережа»!

Миусова отложила ручку.

Чрезвычайно заинтересованная, она осторожно спросила, по какому делу ей нужен Кротов.

— Просто поболтать,— сказала девушка.

— Вы хорошо знакомы?

Девушка кивнула. Да, очень хорошо знакомы. Она познакомилась с Сережей в Улзките, где работает фельдшером.

Суворов закряхтел и заворочался на своем стуле. Скуластая девушка метнула на него сердитый взгляд. В этот момент в кабинет вошел, весь в инее с мороза, Кротов. Девушка слетела со стула.

— Сережа!

Кротов увидел ее и присвистнул.

— Черт! Тоня! Ты откуда взялась?

Раскосые глаза девушки радостно поблескивали.

— Села на самолет и прилетела.

Миусова уткнулась в лист бумаги. Суворов был плотно вбит в стол, как сторожевой знак добродетели.

Кротов сдернул с плеча магнитофон.

— Отлично! Пошли, познакомлю с Катей.— И за руку вывел девушку из комнаты.

Больше она в редакции не появлялась. Кротов вернулся через полчаса один, очень оживленный, сел за машинку и припустился печатать.

Вскоре до меня дошли слухи, что кто-то где-то когда-то заметил Катю с заплаканными глазами, а кто-то видел, как Кротов поздно вечером выходил из Дома приезжих. Иван Иванович Суворов, передавая мне на визу очередной материал, не удержался и заметил:

— Слышал, что вундеркинд-то наш хвост от жены отворотил. Или врут люди?

— Я слухи не обсуждаю, Иван Иванович.

— Про шкурку-то я смолчал. Теперь тоже, значит, молчать? Все, выходит, прощается нашему герою?

Затем в кабинете у меня появилась Юлия Павловна Миусова. Она начала издалека, очень осторожно и пришла к тому же, что и Суворов.

— Понимаете, Борис Антонович, если все это



правда, то я, как профорг, не могу остаться в стороне. Да мне просто жаль девочку.

— А вы поговорите с Катей,— предложил я.— Только не как профорг, а просто как женщина с женщиной.

— Я уже поговорила. Она ни в чем не хочет признаваться. Делает вид, что ничего не понимает. Твердит, что у них все хорошо, а сама подурнела и глаза заплаканные. Я уж по-всякому... Но вы же знаете, как она боготворит своего Сережу. Это настоящий культ!

Я обещал ей потолковать с Кротовым.

Но уже на следующий день он сам пришел ко мне, причем не в рабочий кабинет, а домой.

Впрочем, сначала был телефонный звонок.

— Борис Антонович? Мне нужно с вами поговорить. Срочно!

— Что случилось?

— По телефону не объяснишь. Можно зайти?

— Ну, заходи, раз срочно.

В семнадцать лет, как я заметил, не срочных дел не бывает.

Кротов явился мгновенно, словно стоял за дверью. Он был сильно возбужден; рот приоткрыт после быстрого бега, глаза напряженные. Пока жена накрывала чай на стол, он весь извертелся в кресле, выкурил две сигареты. Я встревожился, поскорее выпроводил жену в другую комнату, плотно прикрыл дверь.

— Ну, в чем дело? Что стряслось?

— Катя уезжает! — выпалил Кротов.

— Что за новости? Как уезжает? Куда?

— В Москву, к матери.

— Ничего не понимаю. Я ей отпуска, кажется, не давал.

— А теперь дадите. У нее телеграмма. «Мама тяжело больна. Срочно выезжай. Отец»,— процитировал Кротов.— И заверена поликлиникой. Все честь по чести.

Он замолк и уставился на меня с приоткрытым ртом. На лбу у него выступила испарина.

— Неприятная новость,— сказал я.

Кротова подбросило на стуле.

— Это фальсификация, Борис Антонович!

— Что-о?

— Телеграмма фальшивая! Подделка! Вранье! Они хотят забрать Катю, понимаете?

— Нет, не понимаю. И не думаю, что это вранье. Даже уверен, что не вранье. Сядь, успокойся. Какие у тебя основания подозревать Катиных родителей?

— Они меня ненавидят. Считают, что я испортил ей жизнь.

— Для этого у них есть кое-какие основания, правда?

— Ни фига у них нет! Катя счастлива!

— Ты уверен?

— Уверен, еще как! А они считают, что Катя — вещь. Хотят распоряжаться ею, как вещью.

— Не очень-то ты высокого мнения о родителях своей жены... Мне это не нравится.

— А мне противно, что они ретрограды, снобы!

Я нахмурился.

— Ты что, выпил?

— Выпил! Пол-литра водки!

— Молодец! Прогрессируешь. Вот что я тебе скажу: умерь свой пыл. Ты несправедлив и необъективен. Для писателя, а ты им, кажется, себя считаешь, это огромный порок, а для человека — непростительный.

— Да вы бы знали, что это за люди! Особенно мать!

— Ну, расскажи. Я послушаю. Только не кричи и не бей посуду.

— Да они даже Бенджамина Спока готовы запретить! Читали его книгу?

— Читал отрывки.

— Они ее сжечь готовы! А знаете почему? Потому что Спок, по их мнению, вольнодумствует, принижает роль родителей.

— Мне он тоже кажется спорным.

— Спорным — да, но не жечь же! У них при слове «хиппи» нервный тик начинается. Они «Треугольную грушу» Вознесенского за поэзию не считают! Для них Фолкнер—маразматик.

— Бенджамин Спок, хиппи, Вознесенский, Фолкнер. При чем тут Катя?

— Как вы не понимаете, это же целая система! Они закоснели, не хотят думать, не чувствуют времени. Понимаете?

— Отчасти. И все-таки какая связь между Фолкнером и Катей?

Кротов как будто не услышал.

— Для них любовь — только благополучие! — отчаянно выкрикнул он.

Моя жена заглянула в комнату, я махнул рукой, и она исчезла.

— А для тебя что такое любовь?

— А для меня — потери и приобретения!

— Голая фраза, Сергей. Отдает литературщиной.

— Нет. Это — убеждение!

— У родителей Кати тоже, вероятно, убеждение.

— У них расчет. Они все планируют. Все рассчитали наперед. Сначала Катя кончит школу, потом кончит институт, потом выйдет замуж, потом они ей купят квартиру, потом обставят ее мебелью, потом появится ребенок, потом они выйдут на пенсию, потом будут нянчить внуков, потом они умрут, потом умрет Катя, потом все сгниют.

— Утрировать ты мастер.

Он опять не услышал.

— Не жизнь, а плановое хозяйство!

— А сам ты разве не планируешь? Сначала ты напишешь роман, потом его опубликуешь, потом завоюешь популярность, потом станешь членом Союза писателей. И так далее.

— Это совсем другое, совсем другое!

— Да, верно. У них здравый смысл, у тебя — прожектерство. Вот они и тревожатся. Это естественно для родителей.

— Они преследуют Катю. Эта телеграмма — ловушка! Катя любит мать. Они этим пользуются. Развести ее со мной хотят!

— Ну, ты действительно пьян. Хлебни-ка чаю.

— Не хочу я чаю! Борис Антонович!

— Ну?

— Не давайте Кате отпуска.

Глаза у него стали жалобно-просящими. Он смотрел, помаргивая, как потерявшийся щенок. Я покачал головой.

— Не могу этого сделать, Сергей, и не хочу.

— Эх! — выдохнул он.

— Единственное, что в моих силах,— предоставить тебе также отпуск без содержания. Это в обход правил, но я это сделаю.

Он угрюмо отказался.

— Почему? Раз ты не хочешь отпускать ее одну...

— Дело не в этом. Я не боюсь. Я уверен в Кате. Я Катю не хочу отпускать, потому что они ее издергают, измучают. А если я буду рядом, еще хуже будет.

— Да, больной матери твое присутствие на пользу не пойдет. Это ты правильно рассудил.

— У нас и денег нет вдвоем ехать.

— Тоже резон, хотя я мог бы одолжить. Отдал бы когда-нибудь.

— Нет, спасибо,— с той же угрюмостью отказался он.

Мы помолчали. Он сидел, опустив голову. Я обошел стол и положил ему руку на плечо.

— Ну, чего скис?

Он сидел не шевелясь.

— Фантазер ты большой. Навыдумывал черт те что. И Катю, наверно, расстроил.

— Я Кате ничего не говорил. Я ей сказал, что она должна ехать.

— Правильно.

— А они ее замучают.

— Ну вот. Опять воображение! Конечно, они попробуют ее убедить, чтобы она осталась в Москве. Это вполне разумно.

Он вскинул голову. Глаза были злые.

— Вы тоже на их стороне! — Я убрал руку с его плеча.— Вы их защищаете!

— Ерунда, Сергей. Я стараюсь мыслить здраво, только и всего. Пытаюсь поставить себя на их место. У меня в конце концов тоже взрослая дочь. Она всего на два года моложе твоей Кати. И я, откровенно говоря, не хотел бы, чтобы через два года появился такой симпатичный парень, как ты, обворожил ее и умыкнул куда-нибудь на Чукотку. Нет, не хотел бы!

— Почему?

«В самом деле, почему?»

— Ну-у... хотя бы потому, что не очень верю в прочность ранних браков. Статистика, между прочим, в мою пользу.

Он зло перебил:

— Я читаю «Литературку».

— Ну вот, ты сам знаешь. А главное, раннее замужество для женщины — это, по-моему, потеря юности. На учебе обычно ставится крест, если пойдут пеленки и распашонки. Ты думал об этом?

— Думал. Мы с Катей хотим ребенка.

— Я тоже не против внука. Но лучше, если это случится чуть позже.

— Почему?

«В самом деле, почему?»

— Ну-у... моя дочь успеет окончить институт, посмотрит на белый свет, наберется житейского опыта... вот почему.

Кротов скривил губы.

— Как предусмотрительно!

— А ты как думал? Все родители, Сергей, стараются в меру своих сил быть предусмотрительными.

— Мои не стараются!

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что они меня понимают! Они только переглянулись, когда я им сказал о Кате. И все. Потом мама заплакала. И все. А отец сказал: если будет трудно, сообщи. И все.

— С парнями легче...— вздохнул я, неубедительно так вздохнул.

— Посадите вашу дочь под замок, и все будет о'кэй!

— Спасибо за совет.

— Вы все рассчитали. А если она полюбит?

Я замахал руками и оглянулся на закрытую дверь.

— Окстись! Какая любовь в пятнадцать лет?!

— А если полюбит?

— Слушай, ты это слово «любовь» произносишь с легкостью необыкновенной...

— А все-таки? — настаивал он.

Я стал серьезным.

— Если это случится, то я, конечно, не буду ей мешать. Хотя ручаться не могу.

— И дадите им свободу?

— Вероятно.

— И разрешите жить самостоятельно?

— Видимо.

— И не будете нудить в письмах?

— Постараюсь.

— Вы еще не совсем пропащий человек! — заключил Кротов.

И, честное слово, мне было приятно это услышать. Вскоре я выпроводил его домой.

О скуластой девушке в тот раз не было сказано ни слова.

ИЗ ДНЕВНИКА КРОТОВА

«Умопомрачительно звучит: запись актов гражданского состояния! Загс!

Катя изменилась в лице.

Я усадил ее на стул.

Седовласая женщина в очках с прозрачной оправой, отчего и глаза ее казались прозрачными, как чистейшая аш-два-о, просмотрела наши документы: паспорта, медицинскую справку Кати, заявление.

— Господи, ребятки, как это вас угораздило!

Я сделал сладкую физиономию, словно окунул ее в тазик с вареньем. Я залебезил, как профессиональный подхалим. Я стал до отвращения слащавым. Сю-сю-сю... Нам так повезло, что мы попали именно к ней. От нее зависит наша судьба.

— Вы бы знали, ребятки, сколько вас таких. И все торопятся, все спешат. Куда вы торопитесь? Куда вы спешите? Вам еще жить и жить.

Катя готова была заплакать.

— А процедура очень сложная, ребятки,— причитала бедная старушка. Как она переживала за нас! Как она хотела нам счастья... поодиночке!

Документы... райисполком... заседание... постановление...

— Без согласия родителей, ребятки, ничего не получится. И все равно не раньше, чем через месяц.

Месяц!

Я обалдел.

Месяц!

А почему не вечность?

Мы спутники, летящие по орбите вокруг своих родителей. От их притяжения не уйдешь. Вера Александровна Наумова — Юпитер среди планет.

Сю-сю-сю... Я источал рахат-лукум и какаву.

— Хорошо, мальчик, я постараюсь ускорить все формальности.

Да здравствует вежливость! Да здравствует обходительность!

На улице Катя пришла в себя.

— Что с тобой было? — спросил я.

— Сама не знаю. Мне вдруг захотелось кислой капусты.

— Как я себя вел?

— Ой, ты был неподражаем!

— Я обольститель пожилых женщин.

— А меня ты любишь?

Вместо ответа я ухватил за руку пробегавшего мимо малолетнего москвича с портфелем.

— Пацан, погоди!

— Чё? — вытаращился он.

— Запомни, эту девушку зовут Катя. Я ее очень люблю. Она будет моей женой. Понял?

Он вырвался, захихикал, как сумасшедший, и пустился прочь, оглядываясь.

В овощном магазине мы съели кулек квашеной капусты.

Вперед, вперед, рога трубят! Держись, Кать! Твоя мама, моя теща, твой отец, мой тесть, моя мать, твоя свекровь, мой отец, твой свекор,— все перепуталось в этом мире!

Вера Александровна с порога квартиры глянула на нас и обмерла.

Я услышал, как застучало ее сердце.

Я понял, что у нас на лицах крупными буквами проступает жуткое слово: «ЗАГС».

А где мой тесть?

Нет моего тестя!

— Мама...— начала Катя непослушными губами.— Ты только, пожалуйста, не волнуйся...

— Вера Александровна! — перехватил я инициативу.— Мы должны вам сообщить...— (и вдруг сообразил, что изъясняюсь гоголевским стилем: «Господа, я должен сообщить вам пренеприятное известие...») —...мы решили пожениться. Катя беременна. В загсе требуют вашего согласия. Дайте нам его!

В прихожей стояло кресло, широкое, удобное. Если падать в обморок, то только в него.

Теща моя отступила и медленно осела именно туда.

— Вы негодяй! А ты безмозглая, испорченная, погибшая девчонка!

— Мамочка!

— Ты загонишь меня в могилу. Скорее я умру, чем...

Держись, Кать! И я буду держаться. Ни слова против! Твою мать, мою тещу, можно понять. Она сидит в кресле пыток.

— Убирайтесь!

Это мне. Или обоим?

— Сережа, уйди...— шевельнула губами Катя. Глаза огромные, как у той андерсеновской собаки.— Иди домой... я сама... пожалуйста...

Любимая! Держись!

Я поцеловал ее на глазах Прекрасной Дамы и вышел.

Я мчался домой, не соблюдая правил уличного движения. Ветер свистел в ушах. Ни одна машина не задавила. Город был пуст».

9

Катя улетела.

Перед самолетом она зашла ко мне в кабинет попрощаться. В коротеньком овчинном полушубке, с укутанной головой, в валенках, она была неуклюжа и трогательна. Я пожелал ей всего доброго, просил передавать привет матери. На пороге Катя замешкалась.

— Борис Антонович, присматривайте, пожалуйста, за Сережей.

Так и сказала: «присматривайте»,— словно оставляла мне на попечение маленького ребенка. Я обещал присмотреть.

Потом наш оператор Нина Иванова, оказавшаяся в тот день в аэропорту, ходила по кабинетам и рассказывала, как Кротовы прощались. По ее словам, Катя ревела, точно уезжала навечно, а Кротов, не скрываясь, целовал ее, успокаивал, они обнимались, и служащая аэропорта кое-как расцепила их у трапа, пассажиры хохотали, а Кротов бежал за самолетом, и вообще это была комедия...

Я сидел в сельскохозяйственном отделе окружкома партии, когда зазвонил телефон. Инструктор передал мне трубку. В ней раздался взволнованный голос Миусовой:

— Борис Антонович, я вас ищу! У нас тут форменное безобразие! Приходите быстрей!

— В чем дело?

— Кротов явился пьяным, сцепился с Суворовым, никак не можем их успокоить, вот-вот подерутся!

От окружкома партии до радиодома пять минут быстрой ходьбы. Когда я ворвался в редакцию, самое главное было уже позади. Иван Иванович Суворов сидел на диванчике, откинув голову, держа ладонь на сердце. Миусова крутилась вокруг него с графином воды. В комнате толпилось еще человек пять сотрудников. Все галдели.

Кротова в кабинете не было.

— Где он?

— Ушел к себе. Только что. Он совершенно невменяем! — суетилась Миусова.

В несколько шагов я оказался у двери жилого кабинета, распахнул ее и без стука вошел. Кротов одетый лежал на кровати лицом вниз.

Я рявкнул:

— А ну-ка встань!

Он медленно повернулся на бок, тяжело приподнялся, сел. Пьян он был основательно: губы перекошены, глаза пустые, как стекляшки. Меня затрясло.

— Хочешь в ухо?

— Т-только п-попробуйте...

— Мозгляк! Слюнтяй! Сопляк! Ты уволен! — И вышел, хлопнув дверью.

Суворов уже отдышался. Я попросил сотрудников разойтись по своим местам, подсел к нему на диван.

— Что произошло, Иван Иванович?

Вмешалась Миусова. Ей не терпелось рассказать:

— Иван Иванович спокойно работал. Я тоже. Тут вошел Кротов. Я прямо ахнула. Он был в непотребном виде. Сел на свое место и уставился в окно... Иван Иванович пошутил. Как вы пошутили, Иван Иванович?

— Я сказал: с радости, что жену проводил, напился, что ли?

— Да, да, именно так! А Кротов как будто с цепи сорвался. Вскочил, кинулся с кулаками на Ивана Ивановича, начал его оскорблять...

— Сказал, что мне на свалку истории пора,— мрачно усмехнулся Суворов.— Мол, таким, как я, место в музее, в разделе пушной рухляди. Пушной! Почему пушной-то? Соболь я, что ли, какой?

— Он и почище говорил, Борис Антонович! Заявил, что ненавидит таких, как Иван Иванович. Я прямо ахнула. Откуда у него мысли такие?

— Сказал, что таким, как я, надо специальным указом запретить детей рожать... Вот как! — констатировал Суворов.

— И творческое бесплодие приплел, представьте себе, Борис Антонович!

— Мол, такие, как я, тормозят прогресс и все живое и свежее сожрать готовы... Вот как!

— Ужас, что говорил, Борис Антонович! Иван Иванович, конечно, вскипел и хотел ему затрещину дать. А он его за руку схватил.

— Сказал, что может мне скулу переставить на место задницы, потому что спортсмен... Вот как! — Суворов закашлялся.

Встрепанная Миусова достала из сумочки зеркало и стала нервно подкрашивать губы.

— Все ясно,— сказал я.— Он уволен, Иван Иванович.

Суворов собрал лоб в складки, переваривая эту новость.

— Неужто?

— Да. Напишите официальную докладную с изложением всех обстоятельств. Вы тоже, Юлия Павловна.

— Я напишу! — вскинулась Миусова.

Суворов закряхтел, словно кости его ломало.

— Да чего писать-то... Не мастер я такие бумажки составлять.

Я сухо отмел его сомнения:

— Не скромничайте. У вас получится.

Он бросил на меня тяжелый взгляд из-под очков.

— А вам почем известно, что получится? Я, может, и не захочу такую бумагу писать... Вот как!

Миусова отложила зеркальце; зеленые веки ее затрепетали.

— Вот вы сразу решили увольнять,— ерзая на диване, продолжал Суворов.— Уволить просто, чего проще! Да и надо бы уволить стервеца, чтобы впредь неповадно было. Так он же, стервец, жену имеет! Как он ее, безработный, кормить будет? Это продумать надо хорошо... Вот как!

Миусова подпрыгнула на стуле.

— Иван Иванович! Неужели вы ему такое простите? Он же вас чуть до инфаркта не довел!

Суворов насупился, помрачнел еще больше.

— До инфаркта меня такой сопляк не доведет, больно чести ему будет много. Я войну пережил, там почище переживания были. К нему у меня жалости нет, к сопляку. Его в детстве мало пороли, вот что! Я об его жене думаю. Девчонка на глазах пропадает. Мало того, что он от нее на сторону гуляет, сам видел, как он по поселку шляется с этой залетной птахой, она, я слыхал, к нам уже переселилась на постоянное жительство... А уволить — так и денег жену лишить! Нет, я такую бумажку писать не буду. И вам, Юлия Павловна, не советую.

— Иван Иванович, это благородно, но...

Суворов грубо прервал ее:

— А коли благородно, то и поступайте по-благородному. На вас он, кажись, не орал.

— Моя совесть, Иван Иванович...

— Да чего вы раскудахтались, Юлия Павловна! Я сам, небось, не бессовестливый. Еще больше вашего совестливый. Выговор — и хватит ему, сопляку!

Миусова оскорбленно поджала губы. Она была потрясена. Да и я тоже.

— Выговор сопляку, чтобы неповадно было на будущее,— как заклятье, повторил Суворов. Встал с дивана и, шаркая ногами, удалился из комнаты.

Чуть позднее я сочинил по горячим следам приказ, где Сергею Кротову объявлялся строгий выговор за появление на работе в нетрезвом виде и прогул. «При повторении подобного случая,— написал я,— будет отстранен от занимаемой должности».

«Вот так Суворов! — неотступно преследовала меня мысль.— Вот так Иван Иванович!»

До обеда я вместо Кротова подбирал информации для выпуска известий. Не хотелось просить об этом других сотрудников. Выпуск получился тощий.

В перерыве я отправился к Кротову. Дверь была приоткрыта, комната пуста. В шесть часов, уходя домой, я опять заглянул — никого. Кротов исчез.

10

На следующий день я пришел в редакцию пораньше, чтобы до начала работы успеть переговорить с Кротовым. Дверь его комнаты была заперта, на стук никто не отозвался. Редакционная сторожиха на мой вопрос, ночевал ли Кротов у себя, ворчливо ответила, что, дескать, был, баламут, цельную ночь на машинке трещал, как окаянный, спать не давал, а ушел только что...

К началу рабочего дня Кротов не явился. В десять его тоже не было. В половине одиннадцатого я снял трубку и позвонил главному врачу окружной больницы, своему знакомому Савостину. Минут пять мы беседовали о разных пустяках: о погоде, зимней рыбалке; потом я перешел к делу. Известна ли ему молодая фельдшерица из Улэкита? Да, известна. Где она сейчас работает? Здесь, в столице. Давно перевели? Полмесяца назад. Предоставили квартиру? Да, нашли небольшую комнатушку. Не знает ли он адреса? Савостин помолчал озадаченно. Адрес он, конечно, знает, сам помогал устраивать девчонку, но в чем, собственно, дело? Нужен молодой специалист, кандидатура для очерка. А, вон что! Улица Тунгусская, сорок два, как раз около бани. Как ее фамилия? Салаткина, Тоня Салаткина. Подходит кандидатура для очерка? А почему и нет — деловая девчонка! Ну и прекрасно. Спасибо.

Городок наш невелик. Дома стоят кучно на высоком берегу, на стрелке двух полноводных рек. За ними круто поднимаются сопки, склоны их белы от снега. Еще дальше — прокаленная стужей тайга, на десятки километров ни одного дымка. Небо туманно. Прохожие торопливо бегут по скрипучим деревянным тротуарам.

Я быстро нашел нужный дом на улице Тунгусской. Он стоял особняком на спуске к реке. Это была покосившаяся, видавшая виды избушка с двумя замерзшими окнами. Из трубы курился дымок. Я вошел в темные сени и постучал во вторую дверь.

— Открыто! — раздался голос Кротова.

В избушке была одна комната, разделенная ядовито-зеленой перегородкой на кухню и жилую половину. Кротов лежал в свитере и брюках на застеленной одеялом кровати. Руки закинуты за голову. Во рту торчит погасшая сигарета. Рядом на табурете стакан с недопитым чаем, блюдечко с горкой окурков. Увидев меня, он поднялся было на локте, но раздумал и опять лег. Глаза его уперлись в потолок.

— Привет,— сказал я.

Он ответил равнодушно, не глядя:

— Здравствуйте.

Я огляделся. В жарко натопленной комнате был беспорядок. Перед печкой разбросаны дрова, на полу мусор, на спинке кровати грудой висят женские платья и кофты, кухонный стол завален немытой посудой.

— А ну-ка поднимись, посмотрю на тебя! — Он не двинулся.— Поднимись, говорю. Лежа гостей не принимают.

Поморщившись, Кротов спустил ноги с кровати, сел, оперся локтями о колени, уткнул подбородок в ладони и уставился в пол. В светло-льняных взъерошенных волосах торчали перышки от подушки.

— Думаешь являться на работу?

Молчание. Ногой в носке Кротов растер пепел на полу.

— Думаешь являться на работу, спрашиваю?

— Зачем?

— На работу ходят, чтобы работать. У тебя мозги после вчерашнего набекрень. Где твоя приятельница?

— Моя приятельница пошла в магазин.

— А ты ждешь, когда она притащит тебе поесть и выпить?

Он вскинул на меня глаза.

— Вы полегче, пожалуйста.

— Вчера я хотел дать тебе в ухо. Это желание не пропало. Ты слюнтяй.

— Полегче, Борис Антонович! — взлетел его голос. Голубые глаза потемнели.

— А как прикажешь говорить с тобой? Являешься пьяным на работу, скандалишь... Вполне заслуживаешь оплеухи.

— У меня первый разряд по боксу.

— Плевать я хотел на твои разряды! Ты и старику Суворову грозился переставить части тела. Так вот! Перед Иваном Ивановичем ты извинишься. Са-

мым лучшим образом. В присутствии Миусовой. Он тебя спас от увольнения. Это — первое. Второе: сейчас соберешься и пойдешь на работу. Ясно?

Он молчал, угрюмо глядя в пол.

— Ясно или нет?

— Подождите немного. Сейчас Тоня придет.

— Зачем она тебе?

— Попрощаться надо.

— Обойдешься! Собирайся!

Кротов лениво поднялся, пригладил ладонями волосы, подтянул свитер и пошлепал в носках за перегородку. Я придвинул ногой табурет, уселся и закурил. Он возился, одеваясь. Наконец, я не выдержал.

— Тебе перед Катей не стыдно?

Из-за перегородки донеслось:

— Нет!

В замешательстве я крикнул:

— В самом деле или представляешься?

— Думайте, как хотите!

И тут, легка на помине, появилась хозяйка дома. Она впорхнула из сеней и, увидев меня, замерла на пороге.

Кротов вышел одетый, в унтах и полушубке. Он поглядел на девчонку, покосился на меня и усмехнулся:

— Познакомьтесь. Борис Антонович Воронин, мой шеф. Тоня.

— Здравствуйте,— смело сказала скуластая.

Я кивнул. Кивнул-таки. А не хотел ведь.

— Мы уходим,— объяснил Кротов.— Борис Антонович пришел, чтобы спасти нас от разврата.— Черные раскосые глаза уставились на меня.— Борис Антонович считает,— рапортовал Кротов с той же кривой усмешкой,— что мы ведем себя предосудительно. Оба. Ты и я.— Глаза девчонки разгорелись, как раздутые угли.— Борис Антонович прочитал мне мораль за то, что я у тебя сижу. Ну пока! Мы пошли.

— Зайдешь сегодня?

— Не знаю. Забегай сама.

— Ты поел?

— Аппетита нет.

— Тебя не выгнали? — Она обращалась только к нему.

— Еще нет.

Черные раскосые глаза воинственно глянули на меня.

— Вы не имеете права его увольнять!

Я встал. Каким старым я себя чувствовал! Усталым и старым.

— Не имею права?

— Да, не имеете!

— И все-таки он будет уволен, если еще раз напьется или прогуляет.

Она залилась гневным румянцем.

— Вы ничего не понимаете! Ничего!

— Возможно. С вами сойдешь с ума. Обалдеешь. Свихнешься. Меняю одного Кротова на десять Суворовых. Надоели вы мне все!

— Ничего не понимаете!

Кротов хохотал, как полоумный. Я с треском шваркнул дверью.

Он догнал меня почти сразу, пристроился сбоку. В горле у него посвистывал еле сдерживаемый смех.

— Борис Антонович!

Я шагал.

— Борис Антонович!

Я остановился.

— Только посмей мне сказать, что я ничего не понимаю, я тебе так врежу...

— Вы ничего не понимаете!

— А ты пьяница! — заорал я.— Потенциальный алкаш! При первой трудности хватаешься за рюмку. Вместо того чтобы писать свою паршивую повесть, шляешься по девчонкам, ищешь у них утешения. О чем вы с ней толковали? О Фолкнере?

— Мы говорили о Кате.

— Врешь ты! — завопил я на всю окрестность.

Кротов согнулся от смеха. Я ему наподдал плечом, он с хохотом повалился в снег, а я пошел, трясясь, напрямик по снежным колдобинам.

Так и прибрел в редакцию, едва живой от злости.

Минут через пять из своего кабинета услышал его голос. Вскоре вошла Миусова, зеленовекая, деловая, подтянутая, как струна.

— Борис Антонович...

— Ну что еще? — спросил я грубо.

— Он явился. Принес извинения Ивану Ивановичу.

— Какое событие! Об этом надо сообщить по радио! Вот приказ о выговоре. Вывесьте.

— Хорошо, Борис Антонович. Это не все. Бухарев требует вас и Кротова к себе. Звонила секретарь. Вы уже опоздали на пятнадцать минут.

— Опоздаю еще на пятнадцать. Не умрет Бухарев.

Глаза ее широко раскрылись.

— Не советую, Борис Антонович.

— Слушайте, Юлия Павловна, я не прошу у вас советов.

— Как вам угодно...— опала Миусова и направилась к двери.

Я остановил ее:

— Напомните, пожалуйста, сколько лет вашим детям?

Тонкие, тщательно выписанные брови взлетели.

— Юрию двадцать, Лене семнадцать.

— Вы их понимаете?

Юлии Павловне показалось, наверное, что она ослышалась. Нет, слух ее не подвел.

— Понимаю ли я своих детей? Безусловно!

— Все их поступки?

— Безусловно, все.

— Ну, вам медаль нужно выдать за проницательность! Можете идти.

Оскорбленная, в смятении Миусова удалилась.

Я выкурил подряд две сигареты. Раздался звонок. Из приемной Бухарева настойчиво просили явиться.

ПИСЬМО КАТИ

«Сережа, милый! Ты бы знал, как я измучилась. Я думаю о тебе, думаю и больше ни о чем не могу думать. Я люблю тебя больше жизни. Знаешь, я даже ловлю себя на мысли, что стала меньше любить папу и маму. Это ужасно, но я ничего не могу с собой поделать. А мои школьные подруги стали мне почти чужими. Я перестала их понимать. Они болтают о нарядах, я слушаю и думаю: какие пустяки! Они страшно интересуются, как мы живем, ужасаются, что мы забрались в такую глушь, а я думаю: вы ничего не понимаете!

Сереженька, если наша разлука продлится долго, я умру, честное слово! Настоящего разговора дома еще не было, но он будет, и я помню все твои наставления. Мне ужасно не хочется расстраивать маму, и поэтому я мучаюсь еще больше.

Я была у тебя дома, и меня встретили замечательно. Как хорошо, когда родители без предрассудков! Твой папа просто молодец. Он был ко мне очень ласков и внимателен и советовал быть с тобой построже. Как будто я и так не строгая! А какая хорошая женщина твоя мама! Ведь я ее, по существу, не знаю, а она приняла меня, как родного человека. И главное, она не считает, что я задурила тебе голову



и сгубила твою жизнь.Ты должен очень любить своих родителей. Родителей, говорят, не выбирают, а если бы и выбирали, то лучше бы ты все равно не выбрал.

А ты меня еще любишь? Часто меня вспоминаешь? Сколько раз в день? Один или два? Я тебя вспоминаю каждую секунду. Наверно, ты меня заколдовал или загипнотизировал, а бороться с колдовством и гипнозом бесполезно. Я и не хочу! Я все больше и больше тебя люблю. Я хочу расцеловать каждую твою клеточку, мой славный, милый, любимый, золотой мой муж! Наконец-то я перестала этого слова стыдиться. Ты мой муж, и если ты вдруг исчезнешь, то сразу исчезну и я. Без тебя мне не надо ни ребенка, ни Москвы, ни солнца — ничего!

Ну вот, меня мама зовет. А я ничего не успела написать. Мама в самом деле очень больна, хотя находится не в больнице, а дома. У нее глубокое нервное расстройство.

Сереженька, милый, до свидания! Пожалуйста, пожалуйста, хорошенько ешь. Ты ведь можешь все есть, не то что я — одно соленое. Видишь, какие глупости я пишу? Не то, что Патрик Кемпбел Бернарду Шоу. Но ведь они, кажется, по-настоящему не любили друг друга?

Целую, целую, целую, целую, целую.
ТВОЯ КАТЯ.

Передай от меня привет Тоне. То, что она просила, я купила».

II

В конце ноября я улетел в командировку. Сначала побывал в Красноярске, а затем дела призели меня в Москву. Хлопот и беготни по этажам Всесоюзного комитета было много. Я клянчил аппаратуру, подписывал всякие бумажки, уточнял сетку вещания, знакомился с редакциями. После трех лет безвыездного сидения в нашем тихом округе Москва ошеломила и подавила меня. К вечеру я без ног валился на гостиничную кровать и засыпал. Но однажды выдалось свободное время, я позвонил в справочную и узнал номер квартирного телефона Наумовых. На звонок ответил мужской голос. Я попросил пригласить Катю.

— Кто ее спрашивает?

Пришлось представиться.

— Одну минуту! — сказал мужчина и пропал.

После небольшой паузы в трубке раздался приятный женский голос:

— Борис Антонович?

Это была не Катя, а ее мать, Вера Александровна. Она выразила живейшее удовольствие, что говорит со мной, поинтересовалась, где я остановился, и трагическим тоном сообщила, что Катерина четыре дня назад уехала... Я справился о здоровье Веры Александровны и услышал, что «до поправки еще далеко». Собственно, говорить больше было не о чем.

— Если вы располагаете свободным временем, мы с мужем будем очень рады видеть вас сейчас у себя.

Я выразил сомнение, удобно ли это, ведь до поправки еще далеко... Вера Александровна заверила меня, что вполне удобно, чувствует она себя сегодня сносно, они много слышали обо мне от Кати и давно хотели познакомиться.

— Муж будет у вас через полчаса на своей машине. Вы не имеете права отказываться, Борис Антонович.

Точно через тридцать минут в мой номер раздался стук. На пороге стоял сухощавый щеголеватый мужчина в коричневой дубленке с темными отворотами.

— Борис Антонович?

— Да, это я.

— Алексей Викторович Наумов.

Мы пожали друг другу руки.

— Вера Александровна вас ждет.

Он сказал это так, как будто сам был всего лишь шофером Веры Александровны.

Наумова нельзя было назвать разговорчивым человеком. Пока мы пробирались на его «Москвиче» среди блестящего вечернего потока машин (как будто рыба шла на икромет), он обмолвился лишь парой ничего не значащих фраз.

— Транспорта становится все больше,— заметил он. И еще через несколько светофоров: — Давно вы в Москве?

— Пять дней.

Остальное время мы проехали молча. Наумов хорошо вел машину, действительно, как заправский шофер. Я с любопытством поглядывал на его точеный профиль. В своей модной дубленке, такой же шапке с козырьком он выглядел очень моложаво. Чем-то он напоминал изящную фигурку из кости, отполированную, покрытую лаком. Увы, я сознавал, что рядом с ним неказист и провинциален.

Мы подъехали к высокому зданию. Алексей Викторович поставил машину на стоянку, закрыл дверцы на ключ, и мы вошли в просторный вестибюль. В лифте Наумов кашлянул и обронил:

— Вера Александровна больна.

— Я знаю.

— Волнение ей противопоказано.

Я вопросительно посмотрел на него. Наумов ничего не пояснил, точно этими фразами его полномочия на беседу со мной исчерпывались.

Мы вышли из лифта на площадке восьмого этажа. Наумов открыл дверь своим ключом и пропустил меня в прихожую. Вошел следом и негромко позвал:

— Вера! Мы приехали.

Раздались легкие шаги. Из глубины большой квартиры появилась высокая, очень представительная и красивая женщина. На бледном лице играла приветливая улыбка. Она протянула мне руку.

— Очень рада. Очень любезно с вашей стороны, что вы приехали. Алексей, дай, пожалуйста, Борису Антоновичу свои шлепанцы. Надеюсь, мой муж хорошо вас довез?

Я сказал, что доехали мы прекрасно, но мне не совсем удобно...

— Пустяки,— сказала Наумова.— Мы вам очень рады. Проходите, пожалуйста. Алексей, ты наконец нашел шлепанцы? Вечно одна и та же история. Мой муж сейчас за домохозяйку, но от мужчин трудно ждать порядка, вы согласны?

— Да, пожалуй...

Алексей Викторович принес замечательные шлепанцы. Вера Александровна провела меня в просторную, с широкими окнами комнату. Посредине стоял, посвечивая хрусталем, уже накрытый к ужину стол. Пол был застелен пушистым ковром. Еще один ковер покрывал стену и спускался на низкую софу с подушками. Вся мебель была коричневого мягкого цвета. Превосходная это была комната!

На пианино стояла большая фотография Кати. Закинув голову, щурясь от солнца, Катя смеялась. Мне стало уютней.

Вера Александровна предложила сразу, без церемоний садиться за стол. Она расположилась напротив меня, спиной к окну и внимательно оглядела сервировку.

— Надеюсь, вы нас извините за скромный ужин. Из-за болезни я не имею возможности ходить по магазинам.

Я сказал, что она напрасно беспокоится.

— Олениной мы вас не можем угостить, к сожалению,— с улыбкой заметила хозяйка.

Алексей Викторович внес салатницу. Вера Александровна и ему предложила садиться. Он кивнул, сел с очень серьезным лицом и начал тщательно приспосабливать на груди салфетку.

— Разливай, пожалуйста,— с некоторым нетерпением сказала Вера Александровна.

— Одну секунду, Вера, я кое-что забыл.

Наумов с салфеткой на груди удалился на кухню. Вера Александровна проводила его улыбкой, рука ее легонько постукивала вилкой по тарелке.

— Давно в Москве? — спросила она после паузы.

— Пять дней.

— И не позвонили нам раньше? Почему, Борис Антонович? Вы могли прекрасно устроиться у нас.

— Ну что вы, Вера Александровна! Зачем вас стеснять? Мне хорошо в гостинице.

— Надеюсь, вам дали отдельный номер?

— На двоих, но очень хороший.

— Вы могли бы позвонить, и Алексей Викторович устроил бы вам отдельный номер. У него есть связи в гостиничном мире.

— У Алексея Викторовича и без меня, наверно, много забот.

— Пустяки. Он бы сделал все, что нужно. Вы напрасно поскромничали. Нужно было без церемоний позвонить.

Алексей Викторович внес судок с приправой, уселся, поправил салфетку на груди и наполнил рюмки коньяком. Вера Александровна предложила выпить за знакомство. Рюмки зазвенели.

— Пододвинь Борису Антоновичу заливное. Пожалуйста, ешьте без церемоний.

В этом доме, кажется, ненавидели церемонии. Не оттого ли я чувствовал себя стесненно?

Несколько секунд мы молча позвякивали вилками. В открытую форточку долетал шум вечерней улицы. Алексей Викторович кашлянул, он чуть не подавился кусочком хлеба. Вера Александровна строго взглянула на него, затем улыбнулась мне, как бы извиняясь за мужа.

— Расскажите, пожалуйста, Борис Антонович, о вашем городе. Нам будет интересно послушать.

— Да что ж рассказывать, Вера Александровна? Это даже не город, а маленький поселок на три тысячи человек. В одном вашем доме, может быть, наберется столько же. Катя вам, наверно, рассказывала.

— Да, она нам рассказывала, но из ее рассказа мы только и смогли понять, что на земном шаре нет места лучше, чем ваш поселок. Ей нельзя верить, Борис Антонович. Она говорит с чужого голоса.

— Вы имеете в виду Сергея?

Имя было названо. Красивое лицо Наумовой стало сумрачным и скорбным. Прямая спина Алексея Викторовича напряглась.

— Да, я говорю о ее так называемом муже. Вас удивляет, что я его так называю?

— Признаться, да.

— А как, скажите, пожалуйста, Борис Антонович, называть человека, который поступает безответственно, как безмозглый мальчишка? Мало того, что он увез ее в самую, извините, захудалую Тьмутаракань, лишил ее возможности учиться, всякой перспективы, превратил, по существу, в домашнюю хозяйку, но еще и внушил ей, что это наилучший образ жизни? Разве я могу называть его иначе и относиться к нему с уважением?

— Пожалуй, со своей точки зрения вы правы.

— Со своей точки зрения? А вы какого мнения о нем, Борис Антонович? Вы можете говорить откровенно, без церемоний.

Я задумался. Конечно, следовало ожидать именно такого разговора, когда я согласился пойти сюда.

— Сергей — человек очень сложный, Вера Александровна. Он не однозначная личность. Во всяком случае, я с вами согласен, что для семейной жизни он не вполне созрел.

Алексей Викторович наконец открыл рот.

— Вы повторяете слова моей жены,— громко сказал он.

— Да, я говорила именно так, Борис Антонович. Я сотни раз повторила это Катерине. Но она живет в каком-то тумане, не принимает реальности. Девочка она впечатлительная, а он сумел задурманить ей голову рассуждениями о своей мнимой талантливости. Он умеет, видите ли, связать пару слов на бумаге — вот его дар, на котором он рассчитывает построить свою и ее жизнь. Сколько он зарабатывает, Борис Антонович?

— Я думаю... с учетом коэффициента и гонорара... рублей двести двадцать.

На щеках Веры Александровны выступили красные пятна.

— Катерина мне лгала, что он зарабатывает триста рублей в среднем. Дело даже не в деньгах, Борис Антонович. Мы в состоянии помогать Катерине материально, если это понадобится. Алексей Викторович зарабатывает вполне достаточно. Речь идет о полнейшей бесперспективности всей их жизни.

— Я слышал, Катя собирается поступать на будущий год, на заочный. Да и Сергей, кажется, тоже.

— Какая замечательная ахинея! — воскликнула Вера Александровна.— А почему они не стали поступать в этом году, он вам объяснил?

— Хотят пожить самостоятельно.

— То же говорила нам Катерина. Он решительно закружил ей голову. Пожить самостоятельно! Вы понимаете, что это значит, Борис Антонович?

— Это, видимо, означает — пожить одним, в стороне от родителей,— сказал я как можно мягче.

— Ешьте, пожалуйста, без церемоний. Вы ничего не едите. Налей, пожалуйста, Борису Антоновичу... Какой блеф! Какие мыльные пузыри он выдает ей за смысл жизни! Борис Антонович, я вам скажу откровенно: я не узнаю Катерину. Она всегда была благоразумной девочкой. Не хочу ее хвалить, но у нее всегда было достаточно здравого смысла. Она прекрасно училась в школе, имела реальные шансы с моей помощью поступить в медицинский институт. И тут явился этот прожектер, белобрысый хвастунишка, беспардонный тип — и все полетело прахом!

Я промолчал, поспешно выпил налитую рюмку. Вера Александровна теребила в тонких, длинных пальцах салфетку.

— Скажу вам откровенно, Борис Антонович. Я вызвала сюда Катерину не только из-за своей болезни, хотя я действительно больна, у меня нервное истощение... Я рассчитывала уговорить ее остаться дома. Мы ничего не могли поделать в августе, когда возник вопрос о загсе. Я поставила перед Катериной вопрос об аборте, но она чуть на себя руки не наложила. Мы вынуждены были согласиться на этот дикий, нелепый брак. Но сейчас, когда она хлебнула семейной жизни в периферийном захолустье! Я рассчитывала уговорить ее остаться дома. Я убеждала, что этот брак не принесет ей счастья, советовала подать на развод, да, да, на развод! Лучше развод, чем такая жизнь. Она в конце концов еще может составить себе неплохую партию, даже с ребенком на руках. У нее все впереди! И что вы думаете? Она смотрела на меня пустыми глазами и качала головой. Она не может освободиться от своей эфемерной любви!

Вера Александровна скомкала салфетку и поднесла ее ко рту. Алексей Викторович тревожно посмотрел на нее. Наступило тягостное молчание. Я покосился на солнечную фотографию Кати.

— Она испортила себе жизнь,— горько заключила Наумова.

Глаза ее заплыли слезами, она порывисто поднялась и вышла из комнаты.

Наумов наполнил рюмки, и мы молча, словно в трауре, выпили.

— Извините мою жену. Она очень расстроена. Мы возлагали на Катерину большие надежды. Еще не все было потеряно. Перед ее приездом я навел справки, поговорил с нужными людьми. Развод можно было оформить легко, в несколько дней.

Это прозвучало как-то очень сокровенно, как будто я был членом семьи. Мне стало не по себе.

— А разве Катя допускала возможность развода?

— Мы допускали возможность развода. Мы! Все равно он когда-нибудь произойдет. Такие связи не бывают длительными.

Внезапно Наумов стукнул маленьким кулаком об стол.

— Вы понимаете современную молодежь? Понимаете, чего они хотят? — Я молчал.— Они бесятся от жира. Акселерация! Чушь! Вместо высоких чувств им нужен суррогат любви. Классическую литературу они подменили шизофреническими изысками. Культура поведения для них тождественна снобизму. Они поклоняются своим битникам, молятся на мотоциклы, на гитары со шнурками. Что для них семейный очаг, положение в обществе, материальная обеспеченность? Им нужно потуже натянуть джинсы на зады и поорать около костра с похлебкой. Служебная карьера для них ругательное слово. Им нужно совокупляться, как обезьянам!

Он еще раз ударил сухим кулачком по столу. Вошла Вера Александровна. Наумов тут же встал и удалился на кухню. Вера Александровна села на свое место. Лоб и щеки у нее были припудрены, глаза слегка покраснели.

— Извините, Борис Антонович, меня и моего мужа. Дочь выбила нас из колеи. Скажите, пожалуйста, откровенно: чем мы можем быть вам полезны?

Такого вопроса я ожидал меньше всего...

— Помилуйте, Вера Александровна! Что вы имеете в виду?

— Вы много сделали для Катерины. Хотя она нас глубоко оскорбила, мы с мужем ценим ваше участие в ее судьбе. Скажите, она имеет возможность получить квартиру?

— До весны или лета вряд ли.

— Нельзя ли это как-то ускорить?

— Боюсь, что нет. Кооперативных домов у нас не строят. Поселок мал, строительство ведется слабо.

— Как же ей быть, Борис Антонович?

— Ждать, Вера Александровна.

Наумов внес блюдо, прикрытое крышкой. Жена искоса взглянула на него.

— Я слышала, у вас есть дочь?
— Да, и всего на два года моложе вашей Кати. А ростом чуть не с меня.
Наумова вежливо улыбнулась.
— Взрослая девочка. Она, вероятно, после школы будет поступать в институт?
— Боюсь загадывать, Вера Александровна. Так планируется, но...— Я развел руками.
Супругам моя легкомысленность, кажется, не пришлась по вкусу.
— Вы не надеетесь на свою дочь? — спросила Наумова.
— С некоторых пор я стал фаталистом.
— Вы можете рассчитывать на нашу помощь, если ваша дочь будет поступать в Москве. У Алексея Викторовича есть знакомства в институтской среде.
От жаркого я отказался. Вера Александровна настаивала, я остался тверд. Она предложила кофе. Я отказался от кофе, посмотрел на часы и заспешил. Она пригласила меня посмотреть домашнюю библиотеку. Я сослался на деловое свидание. Вера Александровна заверила, что ее муж довезет меня. Поблагодарив, я сказал, что с удовольствием пройдусь пешком. Она отступилась с чувством досады.
Оба вышли в прихожую проводить меня. Прощаясь, Наумов коротко поклонился. Вера Александровна протянула руку.
— Я рассчитываю, что в следующий свой приезд в Москву вы обязательно к нам зайдете. Наш дом открыт для вас.
— Спасибо.
— Передайте, пожалуйста, Катерине, что мы всегда готовы принять ее.
— Хорошо, я скажу.
— Мы рассчитываем на ваше содействие...
Этой слегка загадочной фразой аудиенция была закончена.
Вечерняя столица, осыпанная снежком, шумела ровно и неумолчно, как тайга. На ближайшей скамейке я выкурил сигарету.

12

В Москве я пробыл еще пять дней. Результаты хлопот были довольно утешительные. Технический отдел комитета обязался поставить нам три новых стационарных магнитофона, венгерский пульт и выдать два портативных «Репортера». Главная бухгалтерия, смилостивившись, увеличила годовую сумму расходов на командировки, а редакция местного вещания пересмотрела сетку наших программ.
Перед отъездом мне понадобились деньги; я заказал междугородный разговор. Бухгалтерия не ответила, Миусовой на месте не оказалось, трубку поднял Суворов. Не очень любезным тоном он обещал передать мою просьбу Клавдии Ильиничне, старшему бухгалтеру. Я поинтересовался новостями в редакции. Иван Иванович сварливо отвечал, что новости у них одни и те же — каждый день сдавать материалы для эфира, пока начальство прогуливает казенные деньги. Я спросил, все ли в порядке. Суворов сказал, что Катю Кротову положили в больницу.
— Что с ней?
— Что с ней такое, не знаю, не врач, а если людей послушать, то на почве беременности.
— Кротов в редакции?
— Шляется где-то,— пробурчал Суворов.
— Как он? Номеров больше не выкидывает?
Через расстояние в четыре тысячи километров я как будто увидел ироническую ухмылку Ивана Ивановича.
— Разве сами не знаете... У него вся жизнь — цирковой номер,— проворчал старик.
В этот же день под вечер я позвонил Наумовым. Ответила Вера Александровна. Она удивилась, что я еще в Москве. Не вдаваясь в объяснения, я спросил, известно ли ей, что Катя в больнице. Наумова ничего не знала.
Вера Александровна, кажется, растерялась. В трубке слышалось ее короткое учащенное дыхание. Помедлив, я сказал, что, вероятно, целесообразно ей лично позвонить в окружную больницу и проконсультироваться с врачами. Я назвал ей фамилию Савостина — главного врача и дал номер его телефона.
— Да, да, я так и сделаю. Благодарю вас. Этого следовало ожидать.
—Что следовало ожидать? — не понял я.
— Преждевременное замужество, сумасбродство, беременность, а теперь болезнь... все одно к одному.
Я выразил надежду, что все обойдется. Вера Александровна задышала еще чаще. Тогда я спросил домашний адрес Кротовых. В трубке стало тихо. И молчание было долгим. Наконец, раздался ровный голос Наумовой:
— Вы хотите к ним зайти?
— Да, у меня есть поручение.— Я покривил душой.
— От него?
Имя Кротова было в ее устах запретным, как бранное слово.
Я записал адрес, который продиктовала Наумова, и поблагодарил:
— Спасибо.
— Спасибо, что позвонили,— сказала Вера Александровна.
Ее глубокий грудной голос прозвучал отчужденно.
Так я попал к родителям Сергея Кротова.
Зачем я пришел сюда? Кто меня просил об этом? Почему я принимал так близко к сердцу все, что было связано с Катей и Сергеем? Почему в отлучке, в Москве, я вспоминал о них так же часто, как о своей семье? Да кто они такие, в самом деле, эти Сергей и Катя, Катя и Сергей, что от их поспешных шагов дрожит земля и устоявшаяся жизнь расшатывается и колеблется? Что они воображают о себе! Кто им позволил врываться к нам, взрослым людям, которые уже задумываются о смерти, и саднить нам душу, и заставлять терзаться о прожитом?
Открыла мне женщина-невеличка в шали, накинутой на плечи. За ее спиной стоял худущий, постаревший, седоволосый Сергей Кротов.
— Анна Петровна? Леонид Иванович?
Женщина замигала кроткими, слегка испуганными глазами и оглянулась на мужа.
Я назвал себя. Борис Антонович Воронин, приезжий человек, коллега Сергея.
— Входите, входите, пожалуйста! — певучим голосом заговорила маленькая женщина.
— Милости просим... раздевайтесь! — пробасил постаревший Сергей Кротов.
Анна Петровна вторила:
— Входите, входите! Вот сюда, в комнату. Отец, мигом беги в магазин. Одна нога здесь, другая там!
— Сейчас бегу, мать.
— Да вы не беспокойтесь!
— Как же не беспокоиться? Вы же с дороги. Купи колбаски, ветчины, сыру, сам знаешь чего...



Леонид Иванович ухватил меня под локоть.

— Водочку пьете?

— Пью.

— А может, коньячок?

— Да нет, водка лучше.

Леонид Иванович подмигнул мне, надел длиннополую шубу, позвенел мелочью в кармане — и только и видели его долговязую фигуру.

— Он быстро сбегает,— заверила меня Анна Петровна.

— Зря вы это, честное слово! Я сыт. И вовсе я не с дороги. Я в Москве уже десять дней.

Но она ничего слушать не желала. Хлопоты — это не мое дело, а вот не желаю ли я сесть на диван, где помягче, не включить ли телевизор, не посмотрю ли я газеты, пока она будет возиться на кухне, курящий ли я, а если курящий, то курите на здоровье, вот пепельница... Маленькая и живая, Анна Петровна убежала на кухню, где сразу загремела посудой, а я закурил, преспокойно осмотрелся.

Нет комнат, которые не рассказывали бы своим беззвучным языком о хозяевах. Мне показалось, что я уже бывал здесь. Чем дольше я смотрел на потертый диван, полки с книгами, газетами и журналами, немаркие обои, тем сильнее ощущал, что где-то и не раз все это видел... Вдруг меня осенило: я вроде бы находился в собственной квартире, чудесным образом перенесенной в Москву. В ней не хватало только выступающей из стены уродливой печки. «Здравствуйте, пожалуйста!» — сказал я вслух. Затем появились кое-какие мелкие несходства. Например, половина библиотеки была явно моя, а вторая половина чужая, подобранная любителем современного зарубежного чтива. У меня к полкам были прикреплены любительские фотографии, а тут рядом с книгами стояли занятные фигурки из дерева. Зато магнитофон был точь-в-точь как у моей дочери, раскладное кресло точь-в-точь как у меня, а швейная машинка на полу в углу такая же, как у моей жены. «Ну и ну!» — пробормотал я удивленно.

Минут через пятнадцать Анна Петровна пришла накрывать на стол и, звеня вилками, принялась расспрашивать: хорошо ли я добрался до Москвы, не качало ли в самолете, люблю ли я маринованные маслята или мне больше нравятся соленые грузди?.. Тут возвратился Леонид Иванович с целым ворохом покупок, оживленный, как ребенок после прогулки. Анна Петровна опять ускользнула на кухню. Леонид Иванович снял пиджак, уселся напротив меня, закурил, оперся большими ладонями о колени, пыхнул дымом, подался вперед, сказал:

— Так. Рыбалку любите?

— Очень.

— Завтра много дел?

— Не слишком.

— Знаю один водоем, удивительные окуни. Поехали после полудня на подледный лов?

— С удовольствием.

— Снасти есть, обмундирование найду.

— Отлично.

— Анну Петровну возьмем. Заядлая рыбачка.

— Прекрасно!

Леонид Иванович воодушевленно крикнул:

— Мать, гостя уморишь! — снова ко мне: — О вас Сергей писал. Как он? Не сильно шкодит?

— Сносно.

— Не щадите его. Больно везуч. Жену нашел превосходную, работу хорошую, в интересный край попал. Слишком везуч. Здоров?

— Здоров. А вот Катя заболела.

Оживленное лицо его в крупных морщинах сразу переменилось. Он вскинул палец, приложил к губам. Шепотом:

— Что с девочкой?

Я передал содержание телефонного разговора.

— Вот несчастье! Бедная девочка. Анне пока не говорите — разволнуется. Нужно Наумовым сообщить.

— Я уже сказал.

— Жаль их. Мать ее хворает. Девочку жаль.— Он озабоченно засопел.

— А здесь Катя не болела, не знаете?

— Заходила к нам в гости, расстроена была очень. Обещала заглянуть перед отъездом, да не зашла. Позвонила из Домодедова. Кинулся на такси, хотел проводить, опоздал. Сергей ее не обижает?

Я замялся. Леонид Иванович сразу это уловил.

— Правду говорите.

Оглянувшись на дверь, я негромко рассказал ему о последних событиях. Леонид Иванович сосредоточенно выслушал, взъерошил рукой редкие волосы — знакомый жест! — ткнул папиросу в пепельницу.

— Неужели врет, что просто знакомая? Врать не умел. Может, научился? Я ему письмо напишу, личное.

— Неплохо бы.

— Матери сам скажу. Тут скрывать нечего. Неужели на такое способен? Не верю.

Вошла Анна Петровна с подносом, уставленным тарелочками с закусками. Она сняла шаль и в сером платье выглядела еще более маленькой и хрупкой. В волосах седые пряди, около глаз морщинки, но ясность и приветливость лица молодили ее.

Вскоре сели за стол. Леонид Иванович расслабился, повеселел, стал по-хозяйски командовать бутылкой; Анна Петровна то и дело подкладывала мне закуску на тарелку; появилась жареная рыба; разговор ни на секунду не смолкал. Они расспрашивали меня о тайге, и, вдохновившись, я, как мог, поведал о древесных наших пространствах, где дымят в небо островерхие чумы, щелкают капканы и хрипнут на бегу лайки... Хозяева ахали, удивлялись, интересовались моей жизнью, и пришлось рассказать скучную свою биографию. Они обменивались взглядами, завистливо вздыхали, словно был я бог весть каким путешественником. Леонид Иванович помолодел, крупные морщины на его лбу разгладились, он стал еще больше походить на Сергея, и в какое-то мгновение мне показалось, что рядом с ним сидит Катя.

Я обратился к Анне Петровне:

— А почему вы о Сергее не спрашиваете ничего? Все время, должно быть, думаете о нем, а не спрашиваете.

Она так смутилась, что мне стало даже неудобно, словно совершил бестактность.

— Правда, Боря...— И совсем потерявшись: — ...Борис Антонович.

— Можно и Боря. Меня давно так никто не называл.

— Поймали вы меня на мысли. Думаю о нем, а спросить боюсь. Вы и без того от него устали. Лучше скажите, как Катя?

На сердце у меня стало пьяно и молодо, как в лучшие времена юности, когда невесомость поднимает тело и весь белый свет населен славными и добрыми людьми. С неожиданным подъемом я рассказал о журналистских подвигах Сергея и о том, что Катя покорила всю редакцию, даже мизантропа Ивана Ивановича Суворова взяла за живое, и выразил убеждение, что ребенок скрепит их семью и все у них будет хорошо. Глаза Анны Петровны залучились, как цветные стеклышки на солнце;

Леонид Иванович расправил плечи; я засмеялся; мы выпили с Леонидом Ивановичем по рюмке, проглотили по соленому грибку, насели на Анну Петровну и заставили ее пригубить из своей рюмки — развеселились, одним словом.

13

В начале декабря я вернулся домой. Столица наша встретила туманным, морозным небом, собачьим лаем, дымами из труб и развороченными поленницами дров вдоль заборов... Приятно было глотнуть свежего воздуха и увидеть пустынные берега реки, где снег лежал, как большой незапятнанный холст. Было полутемно, бледное солнце стояло низко и совсем не грело, деревянные мостки, как всегда, напевали под ногами. Как хорошо было войти в свою квартиру, обнять жену, подхватить дочь, кинувшуюся на шею, а затем умыться, переодеться, сесть за стол и почувствовать, что жизнь все-таки неплохая штука... Домочадцы засыпали вопросами: где побывал? Что видел? Я охотно рассказывал о своей поездке. Они взялись разбирать московские подарки, а я подошел к телефону и попросил редакцию. Было около шести вечера.

Ответила Юлия Павловна Миусова.

— Сообщите в последних известиях: Воронин прибыл,— сказал я.

— Борис Антонович! — вскричала Миусова.

— Здравствуйте, Юлия Павловна.

— Вы дома, Борис Антонович?

— Да, в кругу семьи блаженствую.

— Как я рада, что вы приехали! Вы не представляете, как я рада! — ликовала Миусова.

— Гм... — хмыкнул я недоверчиво.— В самом деле?

— Безумно рада, Борис Антонович. Я так измучилась, так измучилась! Когда вы выйдете на работу?

— Завтра, вероятно. А собственно, почему вы измучились?

— Вы еще спрашиваете, Борис Антонович! Это не работа, а сумасшедший дом. Я похудела на два килограмма.

— Черт возьми! Зачем вы это сделали?

— Вы смеетесь, Борис Антонович, а мне совсем не до шуток. Положение серьезное, Борис Антонович.

Голос Миусовой зазвенел. Я насторожился.

— Что еще? Выкладывайте.

— Это не телефонный разговор, Борис Антонович. Завтра я вам все расскажу.

— Надеюсь, не Кротов?

— Он, он!

— Что опять натворил?

— Это не телефонный разговор, Борис Антонович,— твердила свое Миусова.

— Катя в больнице?

— В больнице, Борис Антонович. Положение серьезное, Борис Антонович.

— Да что вы кликушествуете! — рассердился я.— Говорите спокойно. Что произошло?

— Это не телефонный разговор, Борис Антонович,— твердила свое Миусова.

— Слушайте, Юлия Павловна, я хочу знать, в чем дело.— Она замялась, затянула «зз... э...».— Да никто нас не подслушивает. Никаких шпионов нет. Говорите!

— Он уволился, Борис Антонович.

Как будто выстрелили над самым ухом...

— Как уволился? Когда? Почему?

— Это не телефонный разговор, Борис Антонович.

В эту секунду мне захотелось запустить трубку так, чтобы она влетела в кабинет и треснула Юлию Павловну по лбу, не до смерти, но увесисто.

— Ждите меня! Сейчас буду!

Кабинеты и коридоры в редакции были пусты. Сотрудники разошлись по домам, над дверью студии горело табло; там Голубев вещал в эфир.

Еще с улицы я увидел, что Миусова бегает по редакторской комнате из угла в угол. Мой приход нарушил траекторию ее метаний. Она бросилась навстречу.

— Борис Антонович, я очень сожалею, но...

— Где приказ?

Подготовленная папка лежала на столе. На последнем подшитом листке черным по белому было написано: «Освободить от занимаемой должности Кротова Сергея Леонидовича по собственному желанию, в соответствии с его заявлением».

— Как вы смели это подписать?

Миусова перепугалась. Она редко видела меня таким, а может быть, никогда. Ее лицо плаксиво сморщилось.

— А что я могла поделать, Борис Антонович! Он подал заявление и на следующий день не вышел на работу. Я должна была засчитать прогул или...

— Вы должны были дождаться меня. Вы должны были найти с ним общий язык. Почему вы не сумели его убедить? Почему? Почему он подал заявление? Почему он ушел? Почему, я спрашиваю?

— Я не знаю, право... Возможно, собрание...

— Что? Какое собрание?

— Профсоюзное. Мы хотели обсудить его поведение. Нам стало известно, что он морально нечистоплотен. Мы хотели сделать ему предупреждение, повлиять на него.

— Мы? Кто это «мы»? С каких пор у вас появились королевские замашки? Мы, Миусова первая! Ваша инициатива?

— Да, я посчитала необходимым как профорг... Мне стало известно из авторитетных источников, что у него незаконная связь. И это в то время, когда его жена в больнице! Как я должна была поступить? Пройти мимо этого явления? Я не объявила повестки дня, пригласила его на собрание и выложила все начистоту. Я сказала, что его поведение — это позор, аморальность. Разве я была не права? Я не хотела применять к нему никаких санкций, только пристыдить. А он... — Миусова нервно забарабанила пальцами по столу.— Он заорал, что я людоедка, пещерный человек, и хлопнул дверью перед собранием, представляете? На следующий день он принес заявление.

В упавшей тишине я мысленно считал до десяти. Успокоительная система йогов, кажется, не помогла, потому что Миусова вскрикнула:

— Что вы так смотрите? — И еще раз:— Почему вы так смотрите?

Слова выходили из меня туго, как вода из проржавевшего насоса.

— И какие же... у вас... были авторитетные источники?

— Наша уборщица и сторожиха говорили, что эта девушка засиживалась тут допоздна. Многие видели, я сама видела, как он выходил из ее дома.

— И вы... решили... устроить общественный суд?

— Борис Антонович, не могла же я спокойно смотреть, как рушится семья!

— Рушится? Больше вам ничего не приходило в голову?

— А что же еще? Незаконная связь...

— Связь? А может быть, дружба? Вам это слово известно?

— Дружба? Вы шутите!— И снова:— Что вы на меня так смотрите?!

От злости язык у меня заплетался.

— А то я на вас так смотрю... что за пять лет... не смог разглядеть до конца. Вот почему я на вас так смотрю... Людоедка вы и пещерный человек!

— Вы с ума сошли! Вы меня оскорбляете!

Страница приказа затрещала в моих руках. Я скомкал обрывки, швырнул в корзину, промахнулся, распахнул дверь и вылетел из кабинета. Диктор Голубев попался мне в коридоре, куда он вышел перекурить в музыкальную паузу после выпуска известий. Двухметровый приветливый младенец...

— Борис Антонович! Здрассьте! С приездом!

— И ты тоже был на собрании, когда разбирали Кротова? И не мог их всех разогнать? И не мог его уговорить? И идешь зубы скалишь?

— Дак, Борис Антонович, дак я...

Свежий воздух остудил меня, пока через весь поселок я шагал к больнице. Ее окна уже зажглись, два ряда тусклых квадратных светляков по фасаду длинного здания. На крылечке приемного покоя курило несколько мужчин. В самом приемном покое было многолюдно: больные в серых халатах, их родственники с авоськами и сумками.

Кротовы сидели на дальнем конце длинной скамейки. На Кате был перехваченный пояском унылый халат, на босых ногах огромные шлепанцы, волосы непривычно заправлены под косынку. Она что-то горячо внушала Кротову. Он слушал, опустив голову, с мрачным видом мял в руках шапку.

Я подошел и поздоровался. Ребята вскочили было, но я их усадил и сам устроился на скамейке рядышком. Помолчали, разглядывая друг друга. Катя первая неуверенно попыталась завязать разговор:

— Как съездили, Борис Антонович?

— Спасибо, неплохо. Привет вам обоим от родителей. Познакомился с ними без вашего позволения.

Кротов пристально, исподлобья уставился на меня. Катя, как всегда в трудных случаях, закусила губу.

— Привез вам от них вкусные гостинцы. Интересует?

Но и этим расшевелить их не удалось. Видно было, что им сейчас не до подарков.

— Что ж вы, Катя, вздумали болеть? Без разрешения начальства... Нехорошо...

Она сразу занервничала, точно я сделал ей официальный выговор.

— Борис Антонович, как я хочу выписаться! Помогите, пожалуйста. У вас врачи знакомые.

— Не вздумайте! — враждебно предупредил Кротов.

— Сережа, как ты можешь? Тебя бы сюда!

— А что с вами, Катя?

— Я лежу на сохранении, Борис Антонович. Мне здесь хуже, чем в тюрьме.

— Ну-ну, не преувеличивайте. Поправляйтесь быстрей, и заключение ваше кончится. Как сейчас самочувствие?

— Хорошее. Я всем говорю, что хорошее. А они как будто сговорились, никто не верит. Полежи да полежи! Как они не понимают, что мне сейчас не до лечения!

— Полежи! — настойчиво сказал Кротов.

— Видите, он тоже заодно с ними! Никто ничего не понимает. Какие-то все тупые! Так бы и взорвала эту больницу! — вспылила она, сжав кулачки, но тут же сникла.— Извините... Я такая раздражительная стала.

— Это в порядке вещей,— попытался я ее ободрить.— Ешьте получше, слушайтесь врачей, и все будет в порядке. Имейте в виду, фонотека без вас скучает,— напомнил я, вставая.

Оба наблюдали, как я застегиваю пальто, надеваю шапку и перчатки. Я медлил. Из больничного коридора в приемный покой вышла молоденькая медсестра в белом халате. Я узнал Тоню Салаткину. Увидев меня, девушка замешкалась. На ее миловидном скуластом лице отразилось колебание: подойти или нет? Решительность взяла верх; Салаткина приблизилась к нам.

— Катюша, нельзя сидеть так долго. Здесь сквозняк.

Ее быстрый взгляд в мою сторону означал, что она не одобряет моего присутствия. Я мешал ей проявить в полной мере ту материнскую опеку, которую она установила над Кротовыми. Мелькнула мысль, что Тоня Салаткина, пожалуй, уже давно ревнует меня к Сергею и Кате, претендуя на единоличную дружбу с ними...

— Сейчас, сейчас...— жалобно-просяще откликнулась Катя.

Тоня осуждающе покачала головой и ушла, четко стуча каблучками.

— Вот еще что,— сказал я таким тоном, словно речь шла о пустяке.— Будешь возвращаться из больницы, Сергей, загляни ко мне домой.

Он словно ждал этого, сразу весь подобрался.

— Зачем?

— Есть разговор.

— Какой разговор?

— Конфиденциальный,— буркнул я.

Но и это словечко не согнало с его лица застывшего упрямства.

— Если насчет работы, говорите здесь. Катя все знает.

В подтверждение его слов она торопливо, с потерянным видом кивнула.

— Раз так,— подвел я черту,— можешь не приходить. Завтра жду тебя в редакции, как обычно.

— Я уволился.

— Знаю. Приказ о твоем увольнении аннулирован. Считай, что его не было. Забудь о нем.

Кротов сильно побледнел. Я уже давно заметил, как странно быстро может меняться его лицо. Сейчас даже губы побелели и крылья носа. Катя схватила его за руки.

— Сережа!

— Подожди...— вымолвил он, не спуская с меня глаз.— Я подал заявление, а вы говорите, его не было. Я уволился, а вы говорите: забудь. Кто я, по-вашему? Марионетка, да?

Две женщины, сидевшие рядом, прервали разговор и с жадным любопытством оглянулись в нашу сторону. Я встал так, что заслонил от них спиной Сергея и Катю.

— Миусова не имела права тебя увольнять. Она превысила свои полномочия.

— А мне плевать! Я без приказа уйду.

— Не дури. Это — мальчишество. Катя, вы знаете, из-за чего разгорелся весь сыр-бор?

Она продолжала сжимать его руки. Бледное, нездоровое лицо страдальчески исказилось.

— Сережа мне все сказал. Это такая глупость!

— Правильно, Катя, глупость. У взрослых людей иногда бывает испорченное воображение. Я тоже не исключение. Над этой историей надо смеяться. Хохотать. Нечего беситься, Сергей.

Я обернулся к двум женщинам, которые выглядывали из-за моей спины с разинутыми ртами...

— Вам очень интересно?

Они снялись с места; я присел на скамейку.

— Слушай, Сергей, повоевали и хватит. Не валяй дурака, выходи завтра на работу.

— Я валяю дурака, да?

— О черт! Катя, скажите ему.

— Я не знаю, что сказать, Борис Антонович.

— Как не знаете? По-вашему, он поступает разумно?

— Сережа сам должен решать,— твердо сказала Катя.

Смешавшись, я чуть было не закурил, уже даже пачку вытащил — это в больнице-то! Но вовремя опомнился. Они сидели, держась за руки, очень взволнованные, нерасторжимые, как сиамские близнецы. Дверь приемного покоя хлопала, впуская и выпуская посетителей.

— Вот что я скажу вам, ребята. Вспомните песенку: на каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо. С глупостью нужно бороться, а не бежать от нее. Сам посуди, Сергей. Если уж дело в Юлии Павловне...

— Дело в принципе! — оборвал он.

— Что за принцип?

— Объяснять надо?

— Пожалуй.

— Я не могу работать, когда обо мне сплетничают.

— Черт возьми! Так ты, пожалуй, всю жизнь будешь безработным.

— Пусть! И хватит об этом. Я решил.

— И это принцип? — усомнился я.— Нет, это упрямство, помноженное на самолюбие. А ты подумал о Кате? Она больна. На что вы будете жить?

— Мне ничего не надо! — так и подалась вперед Катя.

Он обнял ее за плечи.

— Не бойся, я найду работу.

— Я не боюсь, Сережа.

Оба забыли обо мне. Я почувствовал себя совершенно лишним, каким-то инородным телом в их отношениях, какой-то опухолью... Я встал. Следом поспешно поднялась Катя, запахнув халатик на груди, и потянула за руку Сергея.

— Большое спасибо, что зашли, Борис Антонович,— поблагодарила она.

— Выздоравливайте,— пожелал я.

— Старики...— неожиданно мирным тоном заговорил Кротов.— Как они там?

— Старики? Не знаю никаких стариков.

— Здоровы?

— Все в порядке. Скоро получишь письмо. А вам, Катя, мать должна позвонить.

Мы попрощались. Напоследок я не утерпел и сказал:

— Подумай еще, Сергей. Если захочешь вернуться, редакция для тебя всегда открыта. Я тебя жду. Учти это.

— Учту,— ответил он.

Прошел день, два, три... Кротов не пришел.

14

В нашем округе три раза в неделю выходит газета «Огни тайги». Редактирует ее Елизавета Дмитриевна Панкова, пятидесятилетняя, редко улыбающаяся женщина. Я встречаюсь с ней на заседаниях и совещаниях; случается, мы разговариваем по телефону, когда нужно дать в эфир оперативный материал с телетайпа, которого в радиодоме нет; но тесного сотрудничества почему-то не получается. Может быть, потому, что у газеты своя специфика.

В десятом часу утра, в будний день я без предупреждения появился в кабинете Панковой. Перед Елизаветой Дмитриевной лежала стопка конвертов с пометкой «ТАСС» — свежая почта, прибывшая вечерним самолетом.

Я не подготовил отвлекающего маневра и чувствовал себя не совсем уютно под внимательным, изучающим взглядом Панковой. В чужих кабинетах я теряюсь, ощущая скованность и неловкость, и поэтому, наверно, хорошо понимаю людей, которые робеют в моем кабинете... Сначала мы поговорили о делах на промысле и в оленеводстве, обсудили — довольно вяло, впрочем,— слухи о предстоящем повышении заработной платы журналистской братии. Я попросил разрешения закурить. Панкова пожала прямыми плечами: пожалуйста.

— Как у вас со штатом, Елизавета Дмитриевна?

— Что вы имеете в виду?

— В работниках нуждаетесь?

— Как всегда. Сами знаете.

— Да, знаю. Люди к нам едут не очень охотно.

— К сожалению.

Мы помолчали. На строгом, серьезном лице Панковой мелькнуло нетерпение.

— Борис Антонович, говорите, пожалуйста, в чем дело. Не хитрите. У вас это не получается.

Мне стало неудобно; я занервничал, словно пойманный с поличным на вранье...

— Дело не совсем обычное... Да что уж там! Совсем необычное. Хочу вам порекомендовать одного отменного парня, журналиста.

— Интересно.

— Вы, конечно, спросите, почему я его рекомендую вам, а сам не беру.

— Конечно, спрошу.

— Журналист по всем статьям отличный. Можете мне поверить. Специального образования у него нет, но вам ведь не диплом нужен, а пишущее перо.

— Правильно.

— Восемнадцать лет,— я прибавил Сергею год.— Оперативный, как черт. В ладах со всеми жанрами.

— И фамилия этого вундеркинда, если не ошибаюсь, Кротов? — сказала Панкова.— А зовут его... дай бог памяти... или Виталий или Юрий?

— Сергей.

— Да, да, Сергей. И у него есть миловидная жена или подруга... Соня?

— Катя. Жена.

— Да, Катя, правильно. И всех людей старше двадцати лет он считает консерваторами? А меня старой девой?

— Гм...

— У вас он не сработался. Вы его уволили, а теперь решили подсунуть мне. Как видите, я в курсе дела. У нас в поселке трудно что-либо скрыть.

— Что верно, то верно.

— К тому же, кажется, у него какие-то амурные дела... Так говорят.

— Это неправда, болтовня! Мальчишка горяч, неосторожен, только и всего.

— Предположим. Что дальше?

— Послушайте, Елизавета Дмитриевна! Вы в своем кресле уже пятнадцать лет сидите. Припомните, сколько за это время через ваши руки прошло бездарей, недотеп, подонков настоящих, случайных людей, подвизающихся в нашем деле!

— Я такой статистики не веду.

— И со всеми с ними вы так или иначе возились, нянчились, тратили на них время и нервы, проща-

ли их, пытались спасти, выручить. Это обычная участь редакторов. Так неужели нельзя рискнуть ради действительно талантливого человека? Работать с ним нелегко, но если его понять... Он не пуст, у него есть характер, мысли.

— Вы, кажется, от него без ума,— сухо заметила Панкова.

— Да нет! Он мне просто интересен. Знаете, что я вам скажу? Я ему, пожалуй, даже завидую.

Панкова откинулась на спинку стула.

— Не понимаю.

— А вы поработайте с ним и поймете! Он флюиды свежести излучает, честное слово!

— Это звучит инфантильно,— сказала Панкова.

Я осекся. Сразу стало грустно. Сигарета погасла.

— Мне все-таки неясно, почему вы уволили такого ценного работника? — прервала паузу Панкова.

Очень сжато я рассказал историю Кротова.

— И чем он теперь занимается? — спросила она.

— Ничем. А жена в больнице.

— Что с ней?

Я сказал, что с Катей.

Панкова задумалась, повертела в руках толстый конверт с броской надписью «Правительственная. ТАСС».

— А почему бы им не вернуться в Москву к родителям?

— Исключено. У ребят свои принципы.

Она надорвала конверт, и оттуда посыпались на стол тоненькие полоски клише.

— Хорошо, пускай ко мне зайдет. Я ничего не обещаю. Пускай зайдет, поговорим.

Сигарета в моей руке разгорелась сама собой.

— Спасибо, Елизавета Дмитриевна!

— За что?

— Кто знает, не исключено, что отечественная литература вам тоже когда-нибудь скажет спасибо. Ведь этот Кротов пишет тайком роман.

Она вздохнула. Это был вздох усталой женщины.

— А вы действительно ребячливы. Странно. Раньше я этого не замечала.

Деревянные тротуары скрипели под ногами. Воздух был жгучий, хватающий при каждом вздохе за горло. На вымороженной улице ни одной живой души. Протащился вдалеке трактор с санями, словно какой-то мастодонт, разбуженный от спячки. Дымы из труб тянулись в небо, как тонкие нити жизни... Почему я живу здесь? Что связывает меня с этой землей, где и похоронить человека зимой нельзя без аммонала? Отточенный штык лопаты отскакивает от мерзлоты, выстрел звучит сухо, как кашель чахоточного, тишина, анабиоз, ладони простираются над пламенем костра... А мне сорок два. Если сбросить двадцать, поехал бы я сюда? О, как бы я цеплялся за каждый день, за миг мимолетный, дрожал бы, как скупец, над махонькой секундой! Как широко бы я шагал! Как ослепительно мыслил! Как ни одной поблажки не сделал бы своей совести! Как жил бы!

Главный редактор, вы инфантильны.

15

Кротов в полушубке сидел на корточках перед печкой и подбрасывал в нее поленья. В комнате было холодно; стекла покрылись льдом. Изо рта Кротова вырывались клубы пара.

— Ты здесь околеешь, чего доброго,— сказал я вместо приветствия.

Он поднял сумрачное, невыспавшееся лицо.

— Здравствуйте.

— Здравствуй. Говорю, околеешь здесь. Или воспаление легких получишь.

— Я морозостойкий.

— Редакционные дрова бережешь? Напрасно. Топи — не стесняйся.

— Спасибо. Теперь все сожгу.

Я огляделся. Вид у комнаты был запущенный, нежилой.

— Порядок у тебя здесь, как при эвакуации. Ты бы хоть прибрал, подмел бы.

— А чем так плохо?

— Катя вернется, расстроится.

Он кинул полешко в печку.

— Катя не скоро вернется.

— Не каркай. Чем занимаешься?

— Видите, топлю.

— Вижу, что топишь. У тебя деньги есть?

Еще полешко полетело в печку...

— Деньгами надо топить? — последовал вопрос.

— Так уж и деньгами... Нашелся Ротшильд! Карикатуру видел: один тип сидит за столиком в ресторане и прикуривает сигару от долларовой купюры. А девица за столиком говорит ему: «Если вы хотите произвести на меня впечатление, прикуривайте от другой валюты».

— Ясно. Девальвация.

— Ты что, юмор разучился понимать?

— Почему же... Я смеюсь. Ха-ха.

— Ну, ладно. Есть в самом деле деньги?

— Я расчет получил. Отвалили полный карман.

— Кончатся — скажи. Без церемоний, как говорит одна наша общая знакомая. А теперь брось эти палки. Поговорить надо.

Он всунул в печку еще одно полешко.

— Опять говорить... Когда вы только работаете?.. Все со мной говорите.

— Не твое дело, умник. У меня новости хорошие.

Он впихнул последнее полешко, прикрыл дверцу. Разогнулся, встал. Лицо хмурое, помятое.

— Стул бы хоть предложил главному редактору. Ни черта у тебя такта нет.

— Вот, садитесь...

— То-то. А новости такие. Внимай! Елизавета Дмитриевна Панкова, редактор наших «Огней тайги»... Помнишь такую? — Он молчал.— Так вот, она не прочь поговорить с тобой насчет работы. Помой физиономию, оденься, как приличный человек, и отправляйся к ней. Чем быстрее, тем лучше, ясно?

Поленья в печке затрещали, схватились пламенем. Кротов, засунув руки в карманы распахнутого полушубка, смотрел куда-то мимо моего плеча.

— Не пойду я к вашей Панковой.

— Это еще почему?

— Не пойду — и все. Зря старались, хлопотали.

— Кто тебе сказал, что я хлопотал? Она сама мне позвонила. Узнала, что ты не у дел, и позвонила. Видимо, слушала твои материалы, поняла, что ты умеешь мало-мальски писать. А у нее вакансия.

Он скрестил руки на груди. Наполеон, да и только!

— Не пойду я к ней. И знаете что: не хлопочите за меня.

Я почувствовал, что выдохся; выдохся, как тот бегун Высоцкого, который «на десять тысяч рванул, как на пятьсот, и спекся».

«Послушай, приятель!» — взмолился я мысленно. Нет, не так. «Послушай, Сережа, дружище...» И не так даже. «Послушай, сукин ты сын, что же ты со мной делаешь!»

— Я на работу уже устроился.

— А?

— Завтра выхожу.
— Куда?
— Истопником в котельную.
Я повторил, как маленькое эхо: истопником в котельную. И засмеялся. Давно я так не смеялся над самим собой... И давно не закуривал с такой жадностью. Чуть не полсигареты за одну затяжку.
— Так, понятно. А журналистику, выходит, побоку?
— Она от меня не сбежит.
— А Катя? Катя знает?
— Нет еще. Скажу.
— Думаешь, одобрит?
— Уверен.
— Одобрит, одобрит, Катя одобрит! Она за тебя, психа, горой стоит. А почему истопником в котельную? Почему не кассиром в баню? Почему не служителем в морг? Почему не кучером на ту кобылу, что воду развозит?
— Мне деньги нужны. Там платят хорошо. Поработаю временно. А потом видно будет.
— Сережа,— сказал я.— Ты мне нравишься.
— Ирония?
— Ты мне нравишься, Сережа, честное слово. Но не вздумай в ближайшие дни попадаться мне на дороге. А то я тебя пристукну, Сережа.
Я встал, поплелся к двери.
— Кстати, Борис Антонович,— проводил меня его голос,— в вашем доме тоже паровое отопление. Учтите!
— Спаси нас господи и помилуй...— пробормотал я уже на пороге.
Елизавета Дмитриевна Панкова не удивилась моему сообщению.
— Я почему-то так и думала, что он не придет.
— Вам повезло,— искренне сказал я.
...Во второй половине дня ко мне в кабинет зашла бухгалтер Клавдия Ильинична. Она с озабоченным видом присела на краешек стула и положила мне на стол несколько листков.
— Гонорарные ведомости, Борис Антонович.
— Вижу. Что-нибудь не так?
— Да понимаете...— замялась старушка.— Кротов отказался получать гонорар.
— Это что за новости?
— По ведомостям за ноябрь вы ему начислили семьдесят рублей сорок шесть копеек. Он не берет.
— Как? Почему?
— Считает, что вы неправильно сделали разметку.
— А, вот что! Мало ему?
— Много, Борис Антонович.
— Много? — опешил я.
Вместо ответа она взяла в руки листки.
— Вот посмотрите. Здесь вы поставили тринадцатый параграф и оценили материал как репортаж. А он утверждает, что это обычный отчет и стоит дешевле. Вот здесь четырнадцатый параграф, очерк. А он доказывает, что по жанру это зарисовка. Соответственно меньше гонорар. Здесь вы оцениваете его информации, а он говорит, хроника. Всего на сорок пять рублей вместо семидесяти.
— Сам насчитал?
Клавдия Ильинична подтвердила: собственноручно, с карандашом на бумаге.
— Скажите этому умнику, чтобы не лез не в свои дела и забирал деньги, пока я не передумал. И добавьте, что упрямство — не лучшая черта характера.
— Я говорила...
— Не берет?
— Нет.
— Пошлите по почте!
— Я хотела. Он заявил, что вернет назад.
— Врет, не вернет.
— Боюсь, что вернет, Борис Антонович,— возразила бухгалтер.
— Что ж делать? — растерялся я.
— Он просит пересчитать. А если оставите в таком виде, грозится пожаловаться в райфо.
— Неужели?
— Так и сказал. А что, Борис Антонович, он прав? Вы ему переплатили?
— Материалы того стоят. Дело не в жанре, а в качестве. Он это знает. А уперся, черт возьми, не хочет, видите ли, никаких привилегий.
— Понимаю.
— За иной очерк и пяти рублей заплатить жалко. А он, негодяй, умеет писать.
Я погрузился в раздумье. Клавдия Ильинична терпеливо ждала.
— Сделаем так,— поразмыслив, взял я ручку.— Коли он такой буквоед, этот Кротов, пусть получает свои сорок пять.— Я перечеркнул параграфы и поставил новые.— А на двадцать пять я издам особый приказ — премия за высокое качество материалов. Если откажется от премии, черт с ним. Расчет он получил?
— Получил.
— Не придрался, что зачислен на работу за неделю до своего приезда?
— Слава богу, не заметил.
Мы оба рассмеялись.

16

Несколько дней я ничего не слышал о Кротове, не видел его. Навалились предновогодние дела: большие передачи, различная документация, совещания в окружкоме. Моя дочь напросилась в больницу проведать Катю Кротову. Она вернулась очень озабоченная, словно врач после трудной операции, долго шепталась с матерью на кухне и на мой вопрос, как здоровье Кати, ответила, что мужчины в таких делах ничего не понимают.
Кротов напомнил о себе неожиданным образом.
Обычно в сильные морозы, когда даже градусники зашкаливает, паровое отопление в нашем деревянном двухэтажном доме не обогревает квартиру, приходится раз в сутки топить печку. В нашей семье эта обязанность лежит на мне.
Как-то вечером, вывалив охапку дров на железный лист, я принялся привычно стружить сухое полено для растопки и вдруг ощутил, что в квартире необычно тепло. Как раз возвратилась из школы жена.
— Удивительное дело,— поделился я с ней открытием.— В печке сегодня нет надобности.
Мы потрогали трубы; они обжигали руку.
— Если это Кротов,— предположил я,— то он, кажется, действительно нашел свое призвание.
Жена посмотрела на меня осуждающе. Она болезненно переживала все, что так или иначе касалось Кати, и не видела повода для шуток.
— Пока ты ужин готовишь, схожу-ка я в котельную, поблагодарю истопника от имени жильцов.
— Лучше бы навестил девочку,— посоветовала жена.— Забыл о ней.
Я пообещал, что в субботу загляну в больницу.
Добросовестным истопником оказался в самом деле Кротов. Он сидел в одиночестве в слабо освещенном, жарком помещении котельной за грязным столом, перед кучей угля, наваленного на цементном полу, в шапке-ушанке, черном комбинезоне и



в резиновых калошах, надетых поверх шерстяных носков. В топке котла сильно гудело пламя.

Некоторое время я наблюдал, как Кротов расставляет на столе длинной шеренгой костяшки домино и сбивает их щелчком. Он так был занят этим интересным делом, что не расслышал, как я спустился с железной лесенки и подошел к нему.

— Добрый вечер, Сергей Леонидович.— Он повернул голову и окинул меня равнодушным взглядом, словно я был рядовым посетителем котельной, а еще лучше — каким-то ведром с углем. Худое лицо его и руки были черны от въевшейся сажи.

— Жаловаться пришли?

— Благодарность пришел тебе высказать. От имени всех жильцов. Топишь ты отменно.

— Спасибо на добром слове, гражданин жилец. Премного вам благодарны. Стараемся,— протянул он высоким, злым голосом.

Я слегка смутился.

— Ну-ну, старайся. Посидеть у тебя тут можно?

— Испачкаетесь. У нас в чистом не ходят.

— Ладно, брось! — Я придвинул железный табурет, мазнул по нему пальцем, вынул платок и в одно мгновение превратил его в грязную тряпицу, затем утвердился на железяке.

Кротов пересыпал из ладони в ладонь костяшки домино.

— Ну, как дела?

— Дела, как сажа бела. Так мы, истопники, говорим.

— Трудно?

— Нам, истопникам, к трудностям не привыкать. Лопата — наш друг.

— Вижу, «козла» сам с собой забиваешь?

— Пасьянс раскладываю. Карты жизни.— Он пересыпал костяшки.

— Мог бы читать или писать. Все пользы больше.

— Нам, истопникам, грамота ни к чему.

— Хватит тебе... Работа как работа, не хуже других. Вспомни, Марк Твен разносчиком газет был, лоцманом, Лондон белье гладил в прачечной, твой любимый Фолкнер хлопок выращивал.

— Нам, истопникам, литература до фени.

— Вот заладил! Ты посменно?

— Так точно. В ночь работаем.

Он уходил от меня, ускользал, не подпускал к себе. Когда он успел, подобно водяному пауку, создать вокруг себя воздушный пузырь, через который не проникали мои слова?

В резиновых своих калошах Кротов прошлепал к ревущей топке. Из-под маленькой шапки с дурацким кожаным верхом торчали светлые пряди. Он распахнул кочергой дверцу, поплевал на ладони, вытащил из угольной кучи совковую лопату и — раз! раз! — принялся метать топливо в огненный зев... Вскоре на лбу его выступил пот. Он не разгибался. Раз! Раз! Топись, преисподняя! Мучайтесь, грешники! Раз-раз! Для вас лопатку, Юлия Павловна! Раз-раз! Для вас, Борис Антонович! Для вас, Прекрасная Дама!

— Уймись! — закричал я.

С грязным лицом, струйками пота на лбу Кротов вернулся к столу, сел и вытащил из комбинезона смятую пачку «Севера».

— Лихо работаешь, Сергей. Не надорвись.

Он сплюнул табачинку, прилипшую к языку.

— У меня пуп крепкий.

— И сколько, прости за любопытство, ты получаешь за эту адову работу?

— На водочку хватает.

— А Катю прокормить хватит? Об этом ты подумал?

Вот я и дождался. Глаза его сузились, на скулах

лод тонкой кожей напряглись желваки. Он начал задыхаться.

— Вы... зачем... сюда лришли? Что... вам... нужно?

Я встревожился.

— Слокойно, Сережа. Просто так зашел.

Он весь дрожал, ухватившись руками за стол.

— Просто так... зашли? А кто... вас... лросил? Редакторский долг ловелел?

— Да ты что, Сережа...

— Не нужно мне ва́ших утешений! Без них обойдусь! Что̀ вы за мной ходите ло пятам? Надоело!

Затылок у меня сразу отяжелел.

— Олротивело! — отчаянно выкрикнул Кротов. Видит бог, я неисправим. Я не ушел. И только когда он закричал мне в лицо совсем уж дикое и несуразное: «Я знаю, почему вы ко мне лристаете! Вы за Катей ухлестываете!» — я встал, плохо видя окружающее, точно котельная вдруг залолнилась дымом, и — хвать, хвать за поручни — лолез ло железной лесенке вверх, на свежий воздух.

Труба котельной дымила в ясное морозное небо. Улица была пуста. Я лришел домой, сел, не раздеваясь, на пол леред лечкой и принялся, как слелец, толкать в нее дрова. Жена всллеснула руками.

— Ты чего зто? Жарко ведь.

— А лусть знает! Пусть знает! Его теплом не воспользуюсь!

— Боря, что с тобой? Ты лечку сломаешь.

— Верка! — закричал я. Вбежала дочь.— Выбирай себе жениха,— сказал я ей,— с железной вегетативной нервной системой. Чтобы был тулой, как лень, чтобы книг не читал, не лисал, чтоб только на гармони брямкал. Поняла?

Она захлопала глазами.

— Бежи отсюда! — скомандовал я.

— Беги,— хладнокровно лолравила жена.

— Все слать! — сказал я.— Буду топить, пока все не сожгу, лотом сам туда залезу.

— Вера, дай лале брусничного сока.

— Керосину дайте. Залаю дом.

Они лринялись хохотать. Я лосидел леред печкой, как Будда со скрещенными ногами, встал и лошел. Куда? В котельную, конечно.

Кротов олять швырял уголь в толку. Я слустился с лесенки и встал леред ним.

— Слушай, Кротов, или мы олять с тобой крулно лоссоримся и кто-нибудь кого-нибудь засунет в печку, или ты мне немедленно скажешь, где лежит твой чертов роман, а я лойду возьму его и лочитаю.

— Нет!

— Тогда имей в виду, Кротов, я его выкраду.

— Не сможете. Его нет.

— Где же он?

— Сжег.

— Когда?

— Сегодня.

— А черновик?

— Нет черновика!

— Тоже слалил?

— Спалил.

— Тут? — ткнул я рукой в топку.

— Тут!

— Так я и знал, Кротов, что ты дикий парень. Сердцем чуял: ты что-то умудрил... Теперь я засну слокойно. А ты можешь до конца жизни ворочать зтой лолатой. Это легче и лроще. Легче и проще.

Я пошел лрочь.

— Кате не говорите! — лрокричал он вслед.



ПИСЬМО КРОТОВЫМ

«Уважаемые Анна Петровна и Леонид Иванович! Я обещал написать вам о Сергее и Кате, ничего не скрывая. Думаю, будет правильно, если я изложу факты, а вы их сами осмыслите. Мои комментарии излишни.

Восьмого декабря Сергей уволился из нашей редакции. Это произошло незадолго до моего приезда. Причина — не поладил с некоторыми членами коллектива.

Я предложил ему вернуться в редакцию. Сергей категорически отказался.

Через некоторое время у него появилась возможность получить работу в нашей местной газете. Он не захотел ею воспользоваться.

Десять дней назад Сергей стал работать кочегаром в местной котельной. Работа посменная — и днем и ночью.

Все зто время — до позавчерашнего дня — Катя находилась в больнице. Она плохо переносит беременность и лежала, как выражаются медики, на сохранении. Сейчас ей лучше, ее выписали, и она уже приступила к работе.

Живут они по-прежнему в редакционном кабинете. Появилась надежда, что райисполком в ближайшие три-четыре месяца выделит для редакции квартиру. Тогда Катя как наш штатный работник ее непременно получит.

Знакомых у Сергея и Кати мало. Сергей их не ищет. (Вот и не удержался, высказал свое мнение.) Насколько мне известно, Сергей до последнего времени запоем писал повесть или роман. По его словам, он сжег рукопись. Сейчас он, кажется, ничего не пишет.

Вот такие факты.

Скоро наступит Новый год. Я собираюсь пригласить Сергея и Катю к себе домой, но не уверен, согласится ли Сергей.

Поздравляю вас с зтим ясным и чистым праздником. Желаю вам хорошо его провести.

С большим удовольствием вспоминаю, как гостил у вас. Сколько уже окуней на вашем счету, Анна Петровна?

Всего доброго.

Воронин».

17

Катя узнала и без моей помощи.

Впервые я увидел ее после больницы вместе с Тоней Салаткиной. Был сумрачный, теплый и тихий денек. Они неторопливо шли в сторону редакции. Тоня Салаткина несла хозяйственную сумку, Катя прогуливалась налегке. Молоденькая медсестра с ее свежим скуластым лицом, ладной фигуркой в меховой шубке и нарядных унтиках бережно вела подругу под руку. Рядом с ней Катя выглядела измученной. Она пополнела и подурнела. На щеках появились некрасивые пятна, на лбу залегли морщинки, только глаза были такие же, как раньше, ясные, словно обточенные камешки янтаря.

Я заговорил с Катей. Тоня Салаткина нетерпеливо переминалась на месте, косила в нашу сторону черными глазами. Из какого-то упрямства, чтобы позлить девчонку, я отвел Катю в сторону и стал расспрашивать, что ей пишут из дома. Оказывается, Вера Александровна дважды звонила в больницу главному врачу Савостину и настаивала, чтобы Катю перевели в московскую клинику, где место ей обеспечено. Савостин, человек умный и рассудительный, необходимости в этом не видел, но на всякий случай переговорил с Катей и получил отказ.

— Может быть, напрасно. Вид у вас неважный,— сказал я.

— Да, знаю... Совсем дурнушкой стала...— пригорюнилась она и как-то по-старушечьи вздохнула.— Ох, Борис Антонович! Разве во мне дело? Я все вытерплю. Вот Сережа... Я за него боюсь. Он стал такой нервный, издерганный. Раньше был просто вспыльчивый. А сейчас весь как на иголках. Он не жалуется, но я чувствую. Эта работа...

— Он сам ее выбрал.

— Вот именно сам. А знаете почему? Из-за меня. Чтобы деньги были. И еще, знаете...— Она оглянулась на Тоню Салаткину, которая носком унтика расшвыривала сугроб снега,— знаете...— и глаза у нее стали огромные и испуганные,— ...он ведь сжег свою рукопись.

— Слышал об зтом. Гоголь новоявленный! Он посылал ее куда-нибудь?

— В том-то и дело...— Катя опять оглянулась на подружку, пинавшую сугроб.— Он посылал ее в журнал, а ему вернули. И прислали плохую рецензию. А Сережа взял и сжег.— Она мучительно наморщила лоб.— Он сказал, что больше не будет писать ни одной строчки.

— И не пишет?

— Нет.

— Чем же он занимается в свободное время?

— Он такой странный стал. Или спит, или лежит, курит и молчит. Даже не читает. Я его ободряю как могу.

— Это он должен вас ободрять.

Катя замахала руками, точно я сказал бог весть какую глупость...

— Нет, что вы! Мне легче! Мужчины такие слабые. Они не могут без поддержки.

— Катечка, ты замерзнешь! — не вытерпела Тоня Салаткина.

— Как у вас с деньгами, Катя? Только правду.

— Все хорошо. Я получила по бюллетеню.

— А Сергей? Сколько он зарабатывает?

— Много,— сказала она.— Очень много. Триста рублей. Лучше бы их не было!

— Знаете что... Постарайтесь уговорить Сергея, чтобы он перестал упрямиться и сотрудничал с нами хотя бы нештатно. Это его, может быть, взбодрит.

— Хорошо... я постараюсь,— пообещала она неуверенно.

— Да, Катя, еще вот что. Тридцать первого у меня дома соберется небольшая компания. Будем пить шампанское, танцевать и болтать. Приходите и вы с Сергеем, а?

Ее лицо словно потерли снегом, так разгорелось.

— А зто удобно? У вас ведь взрослые соберутся.

— Ну и что? Вы с Сергеем тоже не дети. Скоро родителями станете.

— Ой, я так давно не танцевала!

— Вот и прекрасно. Наверстаете упущенное.

— А какое я платье надену? У меня нового нет.

— Прикажите Сергею, пускай купит. Муж он вам или не муж?

— Муж объелся груш...— пробормотала она, сморщив нос.

Тоня Салаткина, потеряв терпение, решительно двинулась к нам.

18

Последний день года пришел на нашу землю тихим, умиротворенным, с падающим снежком и сумрачным, низким небом. К вечеру улицы опустели, во всех окнах зажглись огни, все трубы дымили. В домах около жарких печек суетились хозяйки, а далеко в глубине леса, на реках Виви, Таймуре, Котуе и безымянных протоках, где стоят зимовья охотников, мужчины вырубали в лабазах мясо для ужина, разливали в кружки припасенный спирт — и, кажется, только звезды и деревья были безучастны к празднику. В такие дни, как бы ни прожил год, душа вмещает помыслы тысяч и миллионов людей, а сердце бьется в такт тысячам и миллионам сердец, и понимаешь, что твое существование не бессмысленно. Даже если ты несчастен.

Гости начали собираться к девяти. Первыми явились супруги Савостины; он, главный врач окружной больницы, плотный мужчина с полным лицом, и она, коллега моей жены по школе, красивая, очень жизнерадостная, хорошо одетая женщина. Появился холостяк Морозов, начальник геологоразведки, в сером джемпере и белоснежной рубашке, выбритый до синевы, мрачноватый. Пока женщины сообща накрывали на стол, мы выкурили по сигарете, обсудили чистопородные достоинства щенка, которого подарил Савостину один знакомый оленевод, похвалили погоду и выяснили намерения друг друга по части питья...

Все мы были знакомы не первый год, приехали на эту окраину из разных мест и, хотя уже успели забыть очертания родных краев, словно видели их сквозь метельную дымку, не уставали, подвыпив, грозиться отъездом — и никуда не уезжали.

Между тем Кротовых все не было. Я стал поглядывать на часы.

— Кого ждем? — спросил Савостин, точным взглядом хирурга окидывая стол.

— Ребята должны появиться.

— Что за ребята?

Я объяснил, что за ребята.

— Девочка у меня лежала? — припомнил Савостин.

— Вот-вот.

— Тот самый... что меня интервьюировал? — спросил Морозов.

— Угадал.

Оба были, кажется, недовольны, словно присутствие Кротовых разрушало их застольные планы.

— Ничего, переживете,— сказал я.— Ребята не зануды. Не в пример вам.

Наконец, когда все было готово и решили садиться за стол, в дверь постучали. Я пошел открывать.

Явилась одна Катя, запыхавшаяся, и сразу с порога торопливо выложила:

— Я пришла извиниться, Борис Антонович... Понимаете, Сережу срочно вызвали на работу, там у них кто-то не вышел... вот я и пришла сказать... Ох, какой вы нарядный! И рубашка с вышивкой!

— Да-с,— подтвердил я.— С вышивкой! Снимай пальто.

— Я не могу без Сережи. Я пришла только сказать...

— Жаль, что Сергей занят, но это не резон, чтобы тебе сидеть с ним в котельной. Я сегодня на «ты»... Ничего?

— Ничего, но я не могу, честное слово!

— И слушать не желаю.

Я помог ей снять пальто. На Кате было очень простое зеленое платье — по-видимому, собственноручно сшитое — с короткими рукавами и белым воротничком. Свободный покрой уже не скрывал ее округлившийся живот, но освеженное после улицы лицо было, как у школьницы, примчавшейся на выпускной вечер. Отвернувшись, я подождал, пока Катя приведет себя в порядок перед зеркалом. Она расчесала волосы, и они прикрыли ее спину.

Когда я под руку ввел ее в комнату, где все уже расселись за столом, она сильно робела, даже слегка дрожала.

— Это Катя Кротова,— с гордостью объявил я.— Ее муж прибудет позднее.— И представил Кате сидящих за столом.

— А мы знакомы,— напомнил Савостин.— Катя, которая не слушается своих родителей, правильно?

Нарядная Савостина с интересом разглядывала смущенную девушку. Мрачноватое лицо Морозова прояснилось. Моя жена поскорее усадила Катю рядом с собой.

Вскоре за столом стало шумно. После первых тостов разговор наладился. Катя освоилась в незнакомой обстановке и уже без робости, с милым любопытством посматривала на гостей. Особенно ее, кажется, поразила Савостина. Та и в самом деле была эффектна в черном вечернем платье, со своими ослепительными зубами и светлой маленькой головкой. На шее у нее поблескивало агатовое ожерелье. Она болтала, не умолкая.

— ...И можете представить, они приняли меня за немку! А я по-немецки ни слова.

Она рассказывала о своей поездке на Золотые Пески.

— А они по-русски ни слова. Только «пожалюста». А я только «данке шён». И вот, таким образом изъясняясь, мы просидели, можете представить, четыре часа в ресторане. С моими-то несчастными левами в кармане! И знаете, я впервые получила от общества мужчин большое удовольствие, потому что не понимала, о чем они говорят! Ричард,— обратилась она к мужу, невозмутимо поедающему ломтики строганины,— изучи, пожалуйста, немецкий язык, доставь мне удовольствие.

— Я знаю немецкий язык,— сказал Савостин.

— Ах, да, я забыла! Ричард действительно знает. А каково было мне! Четыре респектабельных немца и я. И со всеми по очереди танцую. Нет, что ни говорите,— мечтательно заключила она, сверкнув зубами,— такой вечер не часто выпадает...

Катя наклонилась ко мне и тихонько шепнула:

— Борис Антонович, скажите, а где был в это время ее муж?

Так же тихо я ответил:

— Тебя лечил.

Катя задумалась, еще раз взглянула на Савостину и больше, кажется, уже не смотрела. Теперь ее внимание привлек Морозов, сидевший как раз напротив. Он усердно наполнял свою рюмку; высокий лоб его разгладился, глаза повеселели. Он перехватил Катин взгляд.

— Постойте! А вы почему не пьете? — прозвучал очень громкий вопрос.

Савостина прервала рассказ, и все взгляды обратились на Катю.

— Мне не хочется,— отговорилась она.

— Как так не хочется? — не поверил Морозов.

— Я выпью, но позднее,— ответила Катя.

— Почему ж не сейчас? — настаивал ненаблюдательный геолог.

— Я выпью, когда придет мой муж,— сказала Катя в полной тишине.

Савостина захлопала в ладоши.

— Что, съели, Лев Львович?

Морозов был озадачен. Катя сидела с воинственным видом.

— Некоторым путешественницам,— невозмутимо заметил Савостин,— неплохо бы иметь такие же принципы.

Его жена весело заулыбалась.

— Камешек в мой огород... Видите, что вы наделали, Катя! Теперь он меня со свету сживет из-за этих немцев. А где вы потеряли своего мужа? Так хочется взглянуть на человека, ради которого прокисает вино. Признавайтесь, где он?

— Он сейчас работает,—удовлетворила ее любопытство Катя.

— В такое время? Что это за работа такая? Не секретная?

— Секретная, секретная,— вторгся я в разговор.— Комитет государственной безопасности. Не выпить ли нам за это учреждение?

Но Катя не обратила внимания на мое вмешательство.

— Он работает кочегаром в котельной. У них кто-то не вышел, и Сережу попросили заменить. Вот почему он задержался,— внятно объяснила она.

Наступила неловкая пауза.

— Ну вот! —подбил я итог.— Теперь тайны нет.

В красивых глазах Савостиной вспыхнул восторженный огонек.

— Как интересно! — раздалось ее восклицание.

Савостин поднял голову и окинул жену спокойным, дружелюбным взглядом.

— Что тебе интересно, Зоя?

— Я хочу сказать,— нашлась Савостина,— как интересно, что кто-то работает в такие минуты.

— Чрезвычайно интересно,— подтвердил Савостин.

— Ох, Ричард, не занудствуй, пожалуйста! Дай мне поговорить с девочкой. Вы давно замужем, Катюша?

— Давно. Скоро будет полгода,— последовал очень серьезный ответ. Даже Савостин сморщил губы в улыбке.

— Скоро будет полгода! — восхищалась его жена.— Когда я могла сказать так: скоро будет полгода? Боже мой, скоро будет семнадцать лет! Катюша, вы счастливый человек. Теперь я понимаю, почему ваша рюмка полная.

Катя посмотрела на меня, словно нуждалась в совете. Я пожал плечами: мол, выкручивайся сама.

— Почему?

— Потому что скоро будет всего только полгода! Я хочу встретиться с вами за столом через десять — пятнадцать лет. О, тогда вы не будете медлить, прислушиваясь к шагам на лестнице!

— Я не понимаю...— сказала Катя, озабоченно глядя на красивую женщину.

Савостина заразительно расхохоталась. Холостяк Морозов, подперев подбородок ладонью, внимательно и серьезно изучал молодую гостью. Савостин толстыми пальцами взял жену за ухо и легонько подергал.

— Она наказана,— пояснил он Кате.

За столом стало совсем непринужденно. Выпили еще по рюмке, причем Морозов пожелал непременно чокнуться с Катей, и Савостин тоже, и я с женой, а Савостина вспорхнула со своего места, обежала вокруг стола и чмокнула Катю в лоб.

Нежданно-негаданно Катя оказалась в центре внимания. Савостина принялась расспрашивать ее о Москве, Савостин справился о ее самочувствии, Морозов молча смотрел на Катю, на его лице отражались какие-то неясные воспоминания... Мы с женой торжествовали.

Потом женщины начали освобождать стол для горячих блюд; мужчины закурили. Было одиннадцать часов по местному времени.

— Славный человечек,— заметил Савостин.

Морозов задумчиво дымил.

Я подошел к телефону и попросил соединить меня с котельной. В голове у меня слегка шумело, и свет в комнате казался необычайно ярким, словно не лампочка горела под потолком, а полдневное солнце. Долго никто не отвечал. Затем в трубку ворвался шум и громкий голос прокричал:

— Алё! Кого надо?

— Попросите Кротова,— сказал я.

— Слушаю, Борис Антонович!

— Это ты, Сергей? Не узнал.

— С наступающим, Борис Антонович!

— Спасибо. Тебя тоже. Думаешь приходить?

— Сейчас приду, Борис Антонович!

— Слушай, приятель, ты чего так вопишь? Ты не приложился там?

— Приложился, Борис Антонович! С наступающим! — надсаживался Кротов.

— Больше, смотри, ни грамма. Приходи. Ждем.

Я положил трубку и прищурился, чтобы свет так не резал глаза. Подошел к магнитофону, ткнул пальцем в клавишу. Грянула музыка.

— Будет концерт,— сказал я, покачивая головой.—Парень неразумно весел.

Не успели еще сменить посуду на столе, раздался стук в дверь. Я поднялся из кресла.

— Это он! Добро пожаловать, непримиримый! — И, слегка покачиваясь, с ярким светом в глазах пошел открывать.

Катя успела раньше меня. Кротов стоял на пороге в распахнутом полушубке, шапка на затылке, разгоряченный то ли от бега, то ли от жара котельной...

— Сережа!

— Катя!

Они обнялись, как после долгой разлуки.

— С наступающим, Борис Антонович!

— Раздевайся, бродяга. Рад тебя видеть.

Он сбросил полушубок и остался в свитере, джинсах и унтах. Катя пригладила его светлые лохмы и пожалела:

— Устал, бедненький...

— Ни капли! А вы сегодня франтом, Борис Антонович.

— Да, я франт. А ты босяк.

— Все равно он красивый,— вступилась Катя за мужа.

Кротов засмеялся, показав мелкие неровные зубы. Какая-то сильная пружина была заведена в нем.

— Сережа, здравствуйте! Проходите, проходите! — закричала моя жена, пробегая по коридору с тарелками в руках.

Из кухни выглянула хлопковая головка Савостиной.

— Кто здесь Сережа? Хочу посмотреть на Сережу!

Она вышла в прихожую, снимая на ходу клеенчатый фартук и остановилась, склонив голову к плечу.

— Вот вы какой! Теперь буду знать, как выглядит человек, из-за которого жена не пригубила ни капли. Ну, здравствуйте. Меня зовут Зоя.

— Сергей Леонидович!

Савостина всплеснула полными, красивыми руками.

— Господи, так торжественно! — И пошла в столовую, выкрикивая на ходу: — Я веду вам долгожданного Сергея Леонидовича! Никто не смеет называть его иначе! Только мне дано право звать его Сережей, ибо только я одна ношу сережки!

Я услышал, как Кротов за моей спиной сказал довольно громко:

— Катька, не щипайся...

— А ты ее не разглядывай,— послышался шепот Кати.

Снова сели за стол. Кротов оказался между Катей и Савостиной. Я предложил сверить часы. Начался спор, у кого они идут точнее. Кротов слушал-слушал, вертя головой, и подал голос:

— Предлагаю взять за эталон дамские часы.

Савостина зааплодировала.

— Вот как поступают джентльмены! Учитесь, невежды! Благодарю вас, Сергей Леонидович.

— Одну минутку,— вмешался Савостин.— Почему дамские? В данном случае предпочтение дамам не оправданно. Перед временем все равны, как перед хирургическим ножом. Докажите мне обратное.

— Это просто,— откликнулся Кротов, загораясь.— Сколько вам лет?

— Мне? Э-з... з... предположим, сорок два.

— А вам? — повернулся Кротов к Савостиной. Она погрозила ему пальцем.— Вот видите! — восторжествовал он.—Я вам доказал, что перед временем не все равны.

— Браво! Получил? — воскликнула Савостина.

— Казуистика,— благодушно отверг ее муж.— Не спорю, люди по-разному относятся к времени. Но старит оно всех одинаково. Новый год мы встретим одновременно, как бы ни шли у кого часы. Часы — это условность. Время — непреложность.

— А вы читали об обратном ходе времени? — подался к нему Кротов.— Есть теория, что в каком-то измерении оно идет задом наперед. А вдруг кто-нибудь из нас попал туда?

— Это я, я! — тут же присоединилась к нему Савостина.— Вы все стареете, а я молодею. К концу вечера мне станет столько же, сколько Кате. Боже, Ричард, как ты станешь завидовать!

— Только не забудьте,— предупредил разошедшийся Кротов,— при таких темпах вас скоро придется кормить с ложечки.

Шутку оценили одобрительным шумом. Савостина покачала аккуратной светлой головкой.

— Вы предатель, Сергей Леонидович. С вами нужно быть начеку. Все равно благодарю вас за идею. И мои часы самые точные.

Тут спохватились, что до Нового года остались считанные минуты. Включили радио. Начали поспешно сдвигать фужеры для шампанского. Савостин и я вооружились бутылками, сняли с горлышек станиоль, отвинтили проволочки и приготовились к залпу.

— Раз! Два! Три! — вела счет Савостина.— Пали! — закричала она.

Пробки полетели в потолок.

19

Во втором часу ночи стол отодвинули в сторону, гремела музыка, и танцы были в самом разгаре. Вернулась из своей компании моя дочь, нарядная, как елочная игрушка, и оживленная, словно синичка на свежем снегу. Я усадил ее рядом с собой и стал внушать, что каждый потерянный миг жизни невосполним, цель должна быть ясна, прозябание смерти подобно, сегодня мы с ней ровесники. Она хлопала глазами и ничего не понимала. Тогда я спросил ее, с кем она сегодня целовалась, и дочь закричала: «Папка, как не стыдно!» — а я сообщил ей, что в свои молодые годы умел великолепно обольщать таких девчонок, как она, и нет ничего проще, чем закрутить девчонке голову, а любовь, сказал я,— это нечто другое, любовь неповторима.

А всему прочему нет моего родительского благословения!

— Папка, ты смешной!

— Так точно, девочка, и горжусь этим. Брысь спать!

Она, хихикая, убежала в свою комнату, а я схватил за рукав разгоряченного после танца Кротова, притянул на диван и взялся выпытывать:

— Ты мне скажи, чего ты такой веселый? Нет, ты мне ответь, почему ты такой веселый? Я тебя знаю. Это неспроста.

Он раздувал тонкие ноздри, в голубых глазах прыгали чертики...

— Премию получил! За образцовый обогрев!

— Ты мне не ври. А то шампанского больше не дам.

— В окно выльете?

— Сам уничтожу! Говори, чего задумал.

— На Луну улететь!

Я покачал пальцем перед его носом.

— Меня не проведе-ешь... я все-е вижу... Сережа! — приник я к нему плечом.— Дружище! Передо мной стоит альтернатива: прозябать до конца своих дней или воспарить. Соображаешь?

— Смутно.

— Я не так распорядился своей жизнью, Сережа. Она мне мстит, понял?

— У вас что-нибудь случилось?

— Чудило! Конечно, нет. Просто я никогда не мог сесть в поезд, не зная, на какой станции сойду. Кумекаешь?

— Немного.

— Я благополучнейшая личность, Леонидыч. Я чиновничья промокашка и домашний халат.

— Бросьте, Борис Антонович!

— Но я это чувствую, приятель. Скажи, из меня получится истопник?

— Вряд ли.

— Почему, Сережа, почему?

— Вы уже стары.

— Как ты смеешь! — возмутился я.— Стар! Да я молод, как Ромео!

Он залился своим тонким смехом.

— Как отец Ромео...

Я загрустил, но ненадолго.

— По-твоему, я ни на что не годен, Леонидыч?

— Вы на своем месте, Борис Антонович. Вы отличный редактор.

— Ты мне льстишь, краснобай. Заговариваешь меня, как сладкоголосая сирена. А мне плохо. Мне требуется встряска. Помнишь, как у Пушкина? Им овладело беспокойство, охота к перемене мест... Я, может быть, хочу, Сережа, начать все сначала.

Его голубые глаза с темными точками в глубине сразу стали жесткими.

Мгновение он раздумывал, потом безжалостно сразил:

— Ерунда! Завтра проснетесь — и все пройдет.

— Ты так думаешь?—огорчился я.— Не знаю... Может, и пройдет. Не исключено... Но с некоторых пор я неспокоен. Могу тебе даже точно сказать, с какого времени. С августа!

— Слушайте, Борис Антонович,— перебил он с жестоким невниманием юности к излияниям старости.— Давно хотел спросить. Можно?

— Сегодня все можно. Стойку на ушах дозволено делать. Валяй!

— Почему вы к нам хорошо относитесь? Ко мне и к Кате? Только честно.

— Дурачина! При чем тут вы? Я люблю все человечество. Все три миллиарда, дружище.

— Так я и думал! Вы идеалист. Вы все видите в розовом свете. Для вас даже дохлый сиг — уважаемая личность.

— Сиг? — переспросил я ошарашенно.

— Вот именно! У вас нет врагов.

— Нет, вы подумайте! — возопил я.— Нет врагов! Да у меня их, может, тыщи! Ну и что? Я к людям отношусь с уважением. Ты меня уважаешь?

— Не увиливайте! Вы плохо понимаете людей.

— Я — плохо? Это ты мне говоришь? Кто лучше понимает людей — яйцо или курица?

— Я. Яйцо. Доказать?

— Докажи, докажи. Ну-ка.

— Суворов, по-вашему, какой человек?

— Иван Иванович? Нормальный человек, неплохой человек.

— А он на вас досье ведет, знаете об этом? Я полез к нему в стол за бумагой и наткнулся. Там вся ваша жизнь по пунктам. Нормальный человек?

— Пусть пишет! Он Кате банку меда в больницу притащил. Я ему повышенный гонорар выпишу за чуткость.

— Эх! — махнул рукой Кротов.

— Еще что? Валяй дальше.

— Да ну вас! Вы не хотите серьезно.

— Почему это не хочу? Еще как хочу. Человек многолик, Сережа, поверь мне. Нужно уметь прощать слабости и ценить достоинства, пусть даже маленькие. Иначе и жить не стоит. Иначе кати-ка ты на необитаемый остров!

Заиграла новая мелодия.

Морозов и Катя, Савостин с женой закружились вокруг елки.

Кротов в упор смотрел на меня.

— Значит, подлецов и дураков нет?

— На кой они тебе сдались?

— Есть или нет?

— Имеются... — признал я.— В достаточном количестве. И подлецы, и дураки, и завистники, и так далее. Но ожесточаться нельзя, Сережа. Погляди вокруг внимательно. На ринге добро и зло. Бесконечные раунды. Добро может оказаться в нокдауне, но в нокауте — никогда!

— Ага! — подхватил он злорадно.— Добро должно быть с кулаками, так?

— Добро должно быть умным прежде всего. Это посильнее кулаков. Но добро — не жалость, нет... И укрепляется оно в человеке вместе с жизненным опытом.

Кротов неожиданно рассмеялся и бесшабашным движением руки взлохматил свои светлые волосы.

— Чего хихикаешь? — обиделся было я.

— Вы сказали «жизненный опыт», и я кое-что вспомнил. Знаете, что мне рецензент о повести написал? «Вы способный человек, но в своем творчестве идете от литературы. Вам не хватает жизненного опыта». Черным по белому!

— Ну, черт возьми! — возмутился я, почувствовав вдруг кровную обиду за Кротова.— Плюнь, Серега.

— А я плюнул. На повесть! Сжег ее к чертям — и все. Он ведь прав. По всем статьям.

— Э, постой! Как же так! — запротестовал я, сбитый с толку.

— Хотите, объясню? Это как дважды два. Я о чем писал? О себе. Кто главный герой? Я. Чем занимается герой? Пишет повесть. О ком? Обо мне. Понимаете? Замкнутый круг. Красные флажки! В середине я и книжки, а за флажками весь мир. Не прорвешься!

— Постой, постой, приятель! А ты как хотел? В каждом произведении так или иначе отражается личность автора. Без этого не бывает литературы.

— Правильно! Фолкнер тоже себя выражал. Но его герои не похожи на него, они слиты из тысяч людей. Или, например, Хэм.

— Какой еще Хэм?

— Хемингуэй.

— А!

— Возьмите его Старика. Смог бы я такой образ создать? Ни за что. А почему? Я на море ни разу не был, промысел не знаю, психологии рыбаков не понимаю. Я могу расписать, как я стою на берегу Москвы-реки и ловлю на удочку пескаря. И мысли при этом будут пескариные. А стиль, вероятно, слизан у Хэма. Или вот Леонов...

— Да перестань ты меня авторитетами давить! Речь не о том.

— Речь о принципе! Нужно знание жизни, Борис Антонович. Рецензент прав. Я писал и упивался, как глухарь на току. Вот сказал «глухарь на току», а глухаря я в жизни не видел и не слышал, как он поет. Это просто фраза, понимаете? За ней ничего не стоит. Я послал повесть и думал: все с ног попадают от восторга. А меня оглоушили. Раздолбали будь здоров! Я сжег от злости. Кинул в топку, а потом сам чуть туда не прыгнул. И решил — все! Кончено! И Кате сказал: не вышло из меня графа Монте-Кристо. Поехали в Москву. Хватит! А она знаете что?

— Ну-ка, ну-ка!

— Разозлилась — жуть! Закричала, что я трус и предатель. Я ее такой еще не видел... чуть глаза не выцарапала.— Он смущенно потер пальцем переносицу.

— П-правильно! Молодец Катя! Дальше что? — не терпелось мне.

Кротов задумчиво покосился на меня.

— И еще сказала: уходи немедленно из котельной.— Он помолчал, поглядывая в сторону танцующей Кати, и неожиданно спросил: — Помните, я в стадо ездил?

— Ну?

— Я ошалел тогда. Чапогира знаете, Тимофея Егоровича?

— Конечно, знаю.

— Ну, вот. Настоящим делом занимается. Согласны?

— А тебе-то что? Еще один очерк хочешь о нем написать? Вторую премию отхватить?

— А теперь Катя выздоровела,— думая о другом, ответил он, и глаза его совсем затуманились.

Меня охватило недоброе предчувствие.

— Постой-ка... постой... Ты что имеешь в виду? Ты что хочешь этим сказать?

Кротов тряхнул головой, словно просыпаясь...

— Короче, Борис Антонович, мы уезжаем!

— Ка-ак? Куда?

— Время! Время, вперед! — перекрыл он своим голосом музыку и вскочил с места.

— Стой! Отвечай!

Но Кротов уже метнулся от дивана, подлетел к моей жене, отдыхающей в кресле, склонился в поклоне, подхватил ее и через секунду так заработал своими длинными ногами, что у меня в глазах зарябило.

Около елки Морозов с невероятной осторожностью и сосредоточенностью кружил Катю. Я подошел к ним и заворчал:

— Хватит, хватит... Дай девочке отдохнуть... нечего! — а сам взял Катю под локоть.— Ты не устала, Катюша?

— Что вы! Так хорошо!

— У меня есть идея,— зашептал я ей на ухо.— Давай сбежим из этого вертепа, прогуляемся на воздухе... а?

— С удовольствием!

— Тсс! Ни слова никому! Тайна... тайна...

20

Незаметно для остальных мы выскользнули в прихожую, разыскали свою одежду и бесшумно выбрались из квартиры. Около подъезда на обычном своем месте в ямке спал и видел снежные сны Кучум. Я свистнул; он одним прыжком встал на лапы и приветственно гавкнул.

Было необычно тепло, светло от падающего снега и горящих повсюду окон. Поселок не спал. Бодрый и вечно юный праздник хозяйничал в домах.

Я взял Катю под руку, и некоторое время мы шагали молча.

— Послушай-ка, девочка,— осторожно приступил я к допросу,— что это такое вы надумали? Куда это вы уезжать собрались?

— Эх, болтунишка Сережка! Не выдержал! —живо откликнулась она.— Мы хотели вам сказать после праздника.

— Нет уж, сейчас говори, а то я спать не буду. При чем тут Чапогир, а?

Я остановился, и Катя остановилась, и Кучум, бежавший рядом, замер и, подняв морду, посмотрел на нас неунывающими глазами.

— Помните, Сережа был в тайге? — Я кивнул, горло что-то перехватило.— Ну вот. Он вернулся оттуда совершенно, ну, совершенно сам не свой. Еще тогда сказал: вот бы где работать! Его Чапогир Тимофей Егорович — помните, он о нем очерк написал? —в помощники приглашал. Ты, говорит, длинноногий парень, можешь по любому снегу бегать.— Катя улыбнулась и ладошкой потерла себе щеку.— А я ничего не поняла. Подумала, он просто так мечтает. У него же много планов всяких... Ну, вот. А когда его выгнали... то есть, когда он ушел из редакции, он сразу в Улэкит написал Чапогиру. И оттуда ответ пришел, хороший такой. Сам председатель написал, Чапогир ведь неграмотный старик... А я, как назло, в больнице. Сережа ничего не сказал, письмо спрятал и пошел в котельную. А тут еще этот рецензент... Он совсем растерялся. Знаете, что сказал? Поехали в Москву, хватит! Я его даже возненавидела... на минутку какую-то, не больше, но все-таки... страшно так стало. Люблю и вдруг ненавижу.— Катя рассеянно погладила морду Кучума.— Ночью не сплю, думаю: что-то я не понимаю, что-то он от меня скрывает. И вдруг нашла случайно это письмо из Улэкита. Сережа, что это? А, порви! Несбывшиеся мечты! А я прочла и как будто прозрела. Господи, какая дура! Ведь он об этом письме только и думает все время! Оно чуть не до дыр зачитано, а он прячет, не говорит, меня жалеет, потому что я больна и вообще... Вот он какой, Сережа! — воскликнула Катя и стиснула руки на груди. Глаза у меня нежданно защипало.— Тогда я говорю: садись, пиши ответ, мы едем! Ты с ума сошла, кричит. Куда тебе на факторию! Ты же толстеешь не по дням, а по часам! Нет, нет и нет! А я ремень его взяла и говорю: пиши, а то высеку. Он хохотать, и я хохотать. А потом Сережка заплакал... первый раз, между прочим, за все время... и говорит: знаешь, знаешь, Катька, этого я никогда не забуду... Дурачок такой!.. Ну, я тоже разревелась, конечно... от радости. И решили ехать.

— В Улэкит? — сорвался я.— Ты смеешься, Катя? Что вам там делать? Там же ни черта нет, кроме тайги!

— Как же нет, Борис Антонович? — возразила она рассудительно.— Сережа мне все рассказал. И Тоня тоже. Там есть клуб — раз.— Она загнула палец.— Его еще называют красным чумом. Почтовое отделение — два. Детский интернат — три. Колхозная контора — четыре. Медпункт — пять. А вы говорите, ничего нет.— И уставилась на меня смелыми и хитрыми глазами.

— Звероферма там есть! — закричал я трубным голосом.— Ты забыла! Звероферма!

— Шесть,— подытожила Катя, с полным спокойствием загибая еще палец.

— Кучум,— взмолился я, обращаясь к псу,— цапни меня за ногу, будь другом! Может, я проснусь.

Кучум завилял хвостом. Катя прикрыла рот ладошкой.

— Слушай, девочка, успокой меня. Скажи, что это новогодний розыгрыш.

— Да нет же, Борис Антонович. Мы даже справки навели. Там почтовый работник нужен. Это как раз для меня. А с Сережей тоже ясно: он у Чапогира в стаде будет работать.

— В стаде?

— Ну да.

— Кем? Собакой-оленегонкой?

Некоторое время Катя не могла говорить, так закатилась от смеха... Кучум запрыгал вокруг нас, как очумелый, и залаял во всю глотку. Я мрачно наблюдал за этим неожиданным концертом.

— Всего-навсего,— сказала Катя, успокоившись,— помощником пастуха.

— Он? Да он отличит ли оленя от козы?

— Научится, Борис Антонович. Всему можно научиться, если захочешь. А Сережа хочет.

— Нет, ты подожди! — разволновался я.— Нет, ты понимаешь, что говоришь? Тебе же рожать скоро!

— Угу.

— А знаешь, что там даже больницы нет, только медпункт?

— А другие как же?

— Другие... другие... то другие...— забормотал я.— Они привыкли, другие. Они сами родились там. А ты хрупкое существо.

— Ой, уж хрупкое!

— Нет, ты постой! Ты не перебивай, Катя! Где вы собираетесь жить там?

— Нам обещали комнату.

— Но Сергей же в стаде будет. В ста-аде! Это как на луне, понимаешь? Ты одна останешься.

— И совсем не одна,— бойко возразила она.— Там люди живут. А Сережа будет приезжать раз в полмесяца. Рыбаки и матросы дома бывают еще реже.

— А рубить дрова? Топить печку? Таскать воду с реки? Кто это будет делать? Домовой?

Она прыснула, но тут же стала серьезной.

— Помогут, Борис Антонович. Людей много хороших. Как вы.

— Ты мне не льсти, Катя. Ты мне зубы не заговаривай, девочка. Ты вспомни, как ты извелась, когда он уехал на две недели!

— Теперь выдержу. Так надо, Борис Антонович.

— Да на кой леший надо? Кому надо?

— Сережа говорит, что в стаде трудней всего. Там настоящая работа, необычные люди. Тот же Чапогир... А еще там можно проверить себя на сгиб и излом.

— Ка-ак?

— Это он такое выражение выдумал,— пояснила Катя.

— Интересно получается. Он будет себя проверять, набираться опыта, а ты? О себе ты подумала?

— А декабристки? Кто их заставлял идти в Сибирь за мужьями? А они шли... У них было много путей, а они выбрали самый трудный. Могли бы жить в праздности, есть и пить на серебре. Нет, Борис Антонович! Это не блажь Сережкина. Мы сами себе должны доказать, на что способны. А то поздно будет.

Катя набрала в пригоршню снега с поленницы, смяла его и в задумчивости лизнула. Я полез в карман за спасительными сигаретами. Какая-то дрожь колотила меня... Кучум нетерпеливо повизгивал, сидя на задних лапах.

— Ну, хорошо,— заговорил я.— Положим, ты выдержишь. Положим, ты идешь на жертву, хотя никак не соображу, при чем тут декабристки. Но ты хоть Сережку своего пожалей!

— Жалеть? За что? — безмерно удивилась Катя.

— Уверен, что он тебе все расписывает в розовых тонах. А я знаю, что такое стадо. Слава богу, десятки раз бывал в бригадах. Однажды непогода задержала на месяц. Посмотри на меня! Я не белоручка, не лентяй, не нюня. Работал со всеми на равных. И что ты думаешь? На второй неделе взвыл! По двадцать — тридцать километров в день верхом на олене, по мшельникам, по болотам. Ночуешь в чуме, в спальниках. Задыхаешься от дыма, чтобы не сожрала мошкара. Ничего не помогает! Меня искусали так — можно было показывать в паноптикуме и брать за вход по трешке. Салоги не снимаешь, ноги гудят. Каждые два дня — новая стоянка. Бесконечное кочевье и зимой и летом. Еда — мясо, зачастую без соли, на местный манер. Ответственность за каждого оленя: не убежал ли? Не сбил ли ногу? Не увлекло ли стадо диких? Зимой вздохнешь полной грудью —заморозишь легкие. Связь с миром — «Слидола», рация, редкий вертолет и при удачном маршруте оленья упряжка... Понимаешь ты это или нет?

— Борис Антонович, вы все сказали правильно. Именно поэтому Сереже нужно туда ехать.

— А если он не выдержит и сбежит?

— Не смейте так говорить!

— А все-таки? Допустим на миг...

— Тогда...— сказала Катя.—Тогда он мне больше не муж. И он это знает.

Я замолчал пораженный. Передо мной стояла незнакомая строгая женщина. Свет из горящих окон озарял ее лицо, на котором застыло упрямое и дерзкое выражение.

У меня упали руки.

— И вообще зря вы переживаете, Борис Антонович,— другим голосом, громким и оживленным, продолжала Катя.— Сережа может быть прекрасным пастухом. Он и сейчас уже много знает. Хор — это бык. Оленематка — самка. Авалакан — теленок,— увлеченно взялась перечислять она.— Маут — аркан. В стаде до тысячи голов. Сейчас период забоя. Стада находятся близко от фактории. А настоящая работа будет весной. Начнется отел. Появятся авалаканчики. Их нужно беречь. Только послевай смотреть! Разве не так?

— Так-то так, но откуда ты все это знаешь?

— Сережа набрал книги по оленеводству. А еще он решил изучить эвенкийский язык, чтобы лучше все понимать. Хотите,— вдруг предложила она,— я вам прочту, что он написал вчера? Я специально взяла, вот! — Она вытащила из кармана смятые листки, подхватила меня под руку и увлекла по тропке поближе к окну.

— Подожди, Катя! Сейчас не до опусов.

— Нет, вы послушайте, пожалуйста, Борис Антонович. Это не просто так. Это важно. Вы, может быть, ничего и спрашивать больше не будете. Слушайте!

На миг она зажмурилась, набрала воздуха в грудь — голос ее взмыл...

— «И двинулся аргиш! Вскинули олени головы с раскидистыми ветвями, переступили тонкими под коленом и широкими у копыта ногами, пробуя твердость земли, закатили выпуклые, со слезой глаза, задрожали всей кожей — и пошли... Первые дни авалаканчика, шаткого и податливого на малый порыв ветра, первые дни жизни длинноногого уродца с круглым взором, отражающим весеннее величие земли, протекают в полнейшей беззаботности. Мать кормит его молоком, а человек-пастух следит за его сердцебиением. И уже в эту пору косой надрез на ухе новорожденного определяет его судьбу. Быть ему домашним зверем и служить ему человеку! — взахлеб прочитала Катя.— Окрепнут его ноги, пойдут в рост бугорки на темени, прикрытые пока светлой шерсткой, заживет порез на ухе. Но уже нельзя ему надеяться на даровое молоко матери. Летом будет он кружить вместе со своими собратьями в мучительном хороводе, подгоняемый оводами и мошкарой, осенью познает сладость первого гриба, зимой обдерет рога в тесных просветах между лиственницами и проверит силу копыт, разбивающих пласты снега вплоть до ягеля... Всем наделила его природа. Только крыльев ему не дано, чтобы летать в небесах на птичий лад».

Катя замолкла, учащенно дыша. Не меньше минуты прошло...

— Ну как? Понравилось?

— Не проси, не скажу!

— А ведь он только один раз был в стаде, Борис Антонович. Всего только раз, понимаете?

Кучум внезапно сорвался с места и ринулся по улице. Мы оба оглянулись. По деревянному тротуару бегом приближалась к нам высокая, стремительная фигура. Кротов!

21

Он подлетел вместе с наскакивающим на него, лающим от восторга Кучумом, проехался с разбега на подошвах унтов и огласил всю окрестность криком:

— Ага, попались! — Шапку он держал в руке, волосы разметались от бега — весь как метельный порыв...— Дрова чужие крадете! Руки вверх! — И с разгона растянулся на снегу.— Устал танцевать! Тяжелая работа!

Катя сразу захлопотала.

— Сережа, Сережа, встань немедленно! Простудишься!

— Пусть валяется,— заговорил я неожиданно ядовитым тоном старикашки-наблюдателя.— Ему теперь часто так спать придется. Пусть тренируется.

Кучум носился вокруг сумасшедшими кругами.

Я не выдержал, схватил пригоршню снега и со зловреднейшим наслаждением затолкал ему за шиворот.

— А! Вот вы как! — завопил он, вскакивая.— Война миров? Ну, держитесь!

Я очутился в его объятиях. Миг, подсечка — и я лежу в сугробе, а он на мне и набивает за ворот снег. Катя приплясывает и хлопает в ладоши. Кучум воет. К освещенным окнам ближнего дома прилипли любопытные физиономии, и я, ворочаясь, стараюсь вырваться, сквозь зубы шепчу в ухо Кротову:



— Возвращайся в редакцию, возвращайся...
— Нет!
— Мошка́ тэбя сожрет, замерзнешь там...
— Сдаетесь?
— Одумайся ради Кати...
— Выдержу ради Кати...
— Мальчишка! Перекати-поле!
— Сдаетесь?
— Сдаюсь, черт тебя дери!

Но я не сдался, нет! И когда он меня поднял и оббил снег с полушубка и мы втроем побрели по неспящей светлой улице, под мирным небом Нового года, я сделал еще одну попытку:

— А ты знаешь, что такие бродяги, как вы,— бич государства? Думал ты, что получится, если все выпускники школ начнут мотаться по стране?

— Светопреставление! — сразу подхватил он.— Никакой стабильности! Хаос, разруха! Стра-ашно, жуть!

— Ты брось! Все это достаточно серьезно. Ты обязан мыслить широко.

— А я что говорю? Серьезно! Еще как! У меня был приятель в школе. Его спрашиваешь: куда пойдешь после школы? В люди. А точнее? В хорошие люди. Думаете, юморил? Ничего подобного! Понятия не имел, что ему надо. В институт хочешь? Можно. В какой? В хороший. А на завод? Можно. На какой? На передовой. А может, на стройку? Неплохо бы. На какую? На ударную. Не человек, а эталон зыбкости. Так я его звал. Вот кто бродяга, Борис Антонович! Он, возможно, из Москвы никуда не уедет, но все равно он летун в своих мыслях и желаниях. А это хуже, чем мотаться по свету в поисках вполне определенной жар-птицы! Правда, Кать? — обнял он за плечи жену.

И тут я поймал себя на мысли, что не узнаю их обоих, точно гляжу на них по прошествии многих лет и вижу необратимо повзрослевших людей.

— Конечно, Сережа!

— А это самое главное! — заключил Кротов, и губы их сошлись в поцелуе.

Нет, я ошибся! Они были все те же, но и какие-то другие...

— Эй вы!.. Имейте совесть...— заворчал я в странном волнении.

— А еще знаете что, Борис Антонович? — снова взялся за меня Сергей.— Мой приятель экономически расточительней для государства, чем десять Кротовых.

— Это почему же?

— А все потому же! В нем нет идеи. Его подхватывает любое течение, как медузу. В нем нет стержня. Он человек без призвания. А это значит, что классного специалиста из него не выйдет.

— Между прочим, не все на этом свете гении,— рассердился я, затронутый за живое и ужасно почему-то сочувствуя этому незнакомому бедняге.— Кроме того, есть идея и идея фикс.

Кротов так и замер на месте. Катя с беспокойством переводила взгляд с него на меня. Но он безапелляционно заявил:

— Запрещенный прием! В солнечное сплетение. Ладно! Вы правы. И рецензент прав. Один раз я ошибся. Переоценил силы. Но это не нокаут, нет!

Я тотчас ухватился за его уступку.

— А где гарантии, что и во второй раз не ошибешься?

Кротов с размаху шмякнул шапку в снег и так наподдал ее ногой, что она взвилась, точно мохнатая птица, а на приземлении ее уже ждал Кучум, ухватил и скачками понес прочь. Катя замахала руками и с криком устремилась за ним осторожными мелкими шажками.

— Здравствуйте, Вера Александровна! — глядя на меня, заорал Кротов.

— Не юродствуй, Сергей...

— Никаких гарантий, Вера Александровна! Мы не сберкасса, Вера Александровна! А вдруг нас завтра пристукнет метеорит или сосулька с крыши? Нет, Вера Александровна! Убеждения — вот наши гарантии.

— Да потише ты, не пугай людей...

Он перешел на заговорщический шепот. Лицо его приблизилось, каждая черточка, казалось, была наполнена мальчишеским безумием...

— «Я никогда не мог сесть в поезд,— процитировал он,— не зная, на какой станции сойду». Кто говорил? Отказываетесь от своих слов?
— Нет.
— Это только фраза, да?
— Нет!
— Сожаление?
— Да.
— Хотите, чтобы я в сорок два года тоже жалел?
— Конечно, нет!
— Можно жить чужим опытом?
— Брось ты эти тесты!..
— Нет, ответьте!
— Свой нужно иметь, свой!

— А где логика, Борис Антонович? Где? Почему вы подсовываете нам свой опыт? Почему вы нас отговариваете? Почему в вас уживаются два человека?

— Потому что...— начал я и запнулся,— потому что я взрослый человек... и я беспокоюсь о вас, черт побери!

Подбежала запыхавшаяся Катя с отвоеванной у Кучума шапкой, нахлобучила ее Сергею на голову и пригрозила:

— Только пни еще!

Кротов упал на колени.

— Кать, торжественный момент! Борис Антонович благословляет нас в дорогу.

— Правда? — встрепенулась она, поворачиваясь ко мне.

Странное дело, и миг этот был будто несерьезный, из серии детских проказ, а у меня внезапно защемило в груди. Два лица глядели на меня, два лика на белом фоне, два мазка на безбрежной картине жизни, одна судьба... Что-то промелькнуло между нами, подобно электрическому разряду, и близость была болезненно ощутимой и яркой...

— Ладно, пошли, ребята. А то я разревусь.

И все пропало! Они были рядом, притихшие и смущенные, но уже в таких разреженных высях, куда людям моего возраста вход запрещен, где нужно надевать солнцезащитные очки, чтобы не ослепнуть... А я внизу, на вполне надежном карнизе, и дальше не забраться. А между нами спасательный шнур, который может и не пригодиться.

К дому подошли в молчании. По тому, как они замялись у подъезда, я понял, что им не хочется возвращаться в компанию. Ну что ж! И мне, по правде говоря, как-то неудобно было вводить их сейчас в плановый хоровод взрослых людей.

— Дарю вам Кучума,— вдруг надумал я. Кротов даже ахнул.— Не даром! — осадил я его.— В обмен на твой опус про оленей.

Он раскрыл рот, ошеломленный. Катя что-то замурлыкала себе под нос.

— Спокойной ночи, ребята,— пожелал я.— А правильней было бы сказать: «Доброго утра!»

Мы расстались. Я вернулся домой, где меня уже потеряли. Савостина устремилась навстречу и подхватила под руку.

— Мальчик ушел? Как он танцует! Легкий, как стрекоза!

— А что Катя? — спросила жена.

— Мне он сообщил,— попыхивая сигаретой, заговорил Савостин из кресла,— что я не живу, а прозябаю. Каков гусь?

— Я потерял партнершу,— пробасил Морозов.

— Девочка его боготворит,— сказала Савостина с каким-то недоумением.— Но объясните мне, ради бога, зачем он связался с этой ужасной котельной?

Подойдя к столу, я молча налил себе вина и поднял фужер. Все затихли. Тогда я торжественно провозгласил:

— И двинулся аргиш, друзья! — и услышал тонкий, срывающийся на ветру крик Сергея и звяканье бубенцов на оленьих шеях...

22

Сразу после Нового года Катя получила расчет. Четвертого января я пришел в редакцию раньше обычного, чтобы проводить Кротовых в аэропорт. Сергей и Катя сидели в опустевшей комнате, сразу ставшей казенной, на голых кружевах железной кровати, а на единственном стуле пристроилась Тоня Салаткина.

Кротовы оделись тепло, как полагается для дальней дороги в наших краях. На обоих были овчинные полушубки; голову Кати укутывал пуховый платок, на Сергее красовалась огромная солнцеподобная лисья шапка. Он был в унтах, а ноги Кати грели камусные сапожки, которые я видел раньше на Тоне Салаткиной. Я дружелюбно подмигнул девушке, и на лице ее появилась неуверенная ответная улыбка. Только сейчас она, кажется, признала право на мое существование рядом с Кротовыми...

Катя показалась мне утомленной и опечаленной. Кротов был взвинчен. Последнюю ритуальную минуту перед дорогой он едва высидел, а затем резко вскочил, нацепил рюкзак, подхватил два чемодана, а оставшуюся сумку готов был, кажется, схватить зубами... Я отобрал у него часть невеликого багажа. Пошли...

У порога редакции Тоня Салаткина распрощалась с Кротовыми — она спешила на дежурство в больницу — и убежала, расплакавшись. Ее сменил Кучум.

Туманное январское утро, не знающее на этих широтах солнца, потрескивало от холода. День обещал быть жестоким. Все живое пряталось в домах, кроме собак, пушистых клубков на снегу. Медленно светало.

А в четырехстах километрах севернее, в промерзшей глуши лиственничных стволов, загудел, возможно, электрический движок, отключаемый на ночь,— Улэкит проснулся. Двадцать два сруба и несколько чумов на высоком берегу реки. Один из них — почта. Вставай, Катя, на работу пора!

А еще дальше в ледяную немоту утра ворвался хрип оленьих дыхал — стадо поднялось на ноги. Вышел, согнувшись, из чума старик Тимофей Егорович Чапогир, глянул узкими прорезями глаз на застывшую тайгу, втянул воздух через ноздри... Холодно, однако, а караулить стадо надо. Чай кипяти, Сергей!

...До аэропорта дошли молча. Самолеты «АН-2» стояли рядком, с раскрученными винтами. В воздухе висел рев — прогревались моторы. Не успели войти в зал ожидания — объявили посадку на Улэкит. Пассажиров было всего четверо: Кротовы, старуха эвенка, приезжавшая, вероятно, в окружную больницу, и командированный охотовед.

Меня пропустили на поле; я поднес вещи прямо к самолету. Около открытой дверцы пришлось подождать — грузчики кидали в брюхо машины громоздкие ящики с консервами.

Мы стояли и смотрели друг на друга.

— Ну, ребята,— сказал я с преувеличенной бодростью.— Летите.

Катя моргнула, губы ее сморщились, на глазах стали проступать слезы. Кротов опустил голову.

— Знаешь, девочка,— вырвалось у меня как-то отчаянно,— дай-ка я тебя поцелую!

Сквозь слезы она улыбнулась, отодвинула шаль и подставила щеку.

— А меня будете лобызать? — хрипло спросил Кротов.

— Давай и тебя.

Мы неуклюже обнялись. Кучум, непривычный к поводку, рвался из рук Сергея, повизгивая.

— Ну, пес,— обратился я к нему,— береги хозяев.

И вот уже дверца хлопнула, но тут же распахнулась опять, и голова Кротова в огромной шапке высунулась поверх руки пилота.

— Борис Антонович, спасибо за все! Приезжайте в стадо работать!

— Уходи, защемлю! — крикнул пилот.

И дверца захлопнулась окончательно.

Я побрел с летного поля, встал у заборчика.

Заурчали моторы; «АН-2», поднимая метель, вырулил в дальний конец взлетной полосы, а потом промчался мимо, прыгая на снежных застругах, грузно оторвался от земли и потянул в сторону сопок.

На поле появились люди с чемоданами. Наверно, радиоголос объявил посадку на очередной рейс. Мне казалось, что вокруг тишина. Оглохшая, онемевшая планета, где нет Сергея и Кати!

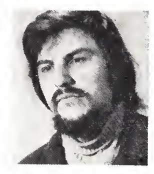
Я представил, как они сидят, прижавшись друг к другу. Рука в руке, лицо к лицу, мысли опережают самолет... Превратиться бы в невидимку, в духа бесплотного и быть всегда стражем за их спиной! Но они разглядят и прогонят. Скатерть-самобранку с дарами жизни расстелить бы перед ними! Пройдут мимо. Стать бы оракулом и нашептывать им на расстоянии мудрые советы! Заткнут уши. Что же отдать им такое, чего они не имеют? Нет ничего такого... Им нет дела до моих заклинаний. Они видят цветные миражи, неразличимые дальнозоркостью опыта. А я улавливаю, как ревет время, старя всех и вся, и оглядываю длинную буднюю дорогу, по которой им придется долго шагать. И поэтому на душе неспокойно, как при тяжелой болезни...

Через несколько дней редакционный завхоз, наводя порядок в комнате, где жили Кротовы, нашел за шкафом и принес мне толстую тетрадь в коленкоровом переплете. Я просмотрел ее. Это был дневник Сергея Кротова, а в него вложено письмо Кати.

г. Южно-Сахалинск.
1974 г.



Владимир Яковлев



На Волге

Чистополь, Чистополь,
Белая звезда.
Утренние пристани,
Темная вода.
По прибрежным кручам
Легкий дым.
Затянуло русло
Облаком седым.
Потому и пристани
Разглядеть нельзя!
Легкие, как призраки,
Танкеры скользят.
А рассвет все ближе,
Все ясней,
Тающие гроздья
Бортовых огней.
Трепетная, чистая
Белая звезда.
Утренние пристани,
Алая вода.

Родное

По дороге деревенской
Я шагаю сам не свой
В деревеньку под Смоленском
Над смолистою рекой.
Шепчет ветер: не печалься!
Помнишь — в поле у реки
Голубели между пальцев
Утренние васильки!
— Здравствуй! — слышу милый голос.—
Не сыскал земли милей!
...Тихо чокнет колос в колос
Золотым вином полей.
Память детства — солнце наше,
Ты чем дальше, тем ясней!
Снова мне из детства машут
Гривы спутанных коней.
Ай да кони! Стойте, кони,—
Ветры кружатся, пыля!
Как знакомые ладони,
Выгибаются поля.

✪

Дорога вновь пылится. Обветренные
лица,
Потертые ремнями полосочки погон.
Привычная работа. Знакомый запах пота.
Одна у всех забота, одни для всех закон.

И не напишешь маме обычными словами,
Как весело под праздник
жевать паек сухой,
Как сразу повзрослели
под тяжестью шинели,
Под выкладкой походной.
Под красною звездой.

Сергей Борисов

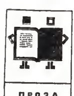


Разлив

Я звездной замятью измучен,
я в нежных думах уличен.
Пляши под музыку уключин,
гонимый паводками челн!
Ходи по травам и по водам,
гуляй, широкая волна.
Душа смятеньем и свободой
полным-полна, полным-полна.
И в синем полыме разлива,
куда я правлю и гребу,
светло оплакивает ива
мою счастливую судьбу.
Страна стремнин и разнотравья
веселым вымыслом красна.
И нет ни славы, ни бесславья,
а только песня и весна!

Птицы

Опять плывут над сентябрем
большие северные птицы,
как будто небо день за днем
листает белые страницы,
как будто хочет в них прочесть,
лугов докуривая ладан,
что и в пиру похмелье есть
и мир сменяется разладом,
что от лебяжьего крыла,
рассветы взрезавшего косо,
жестоко за душу взяла
тоска без жалости и спроса.
Глухой ударил листопад







АНАТОЛИЙ ТОБОЛЯК

Свое первое произведение — повесть «История одной любви» — Анатолий Тоболяк опубликовал в «Юности» в № 1 за 1975 год.

ПОВЕСТЬ

ОТКРОВЕННЫЕ ТЕТРАДИ

Тетрадь первая

I



В этот день в Ташкенте шел сильный дождь. Без зонта, с холщовой сумкой в руке я прошагала от института два квартала до ближайшей почты и оттуда дала телеграмму домой: «ПРОВАЛИЛАСЬ. ЛЕНА».

Пожилая женщина за конторкой, прочитав, спросила:

— В институт провалилась?

— Ну да.

— А куда поступала?

— В педагогический.

Она вздохнула:

— Вот бедняжка!..

— Да нет, ничего,— бодро сказала я.

Вся телеграмма с адресом «потянула» на сорок копеек. В этом смысле отец и мать могли быть довольны: я выполняла их наставления и не транжирила деньги.

Сказав: «Да нет, ничего», я не соврала. Самочувствие действительно было ничего себе. Не то чтобы хорошее, но и не так, чтобы очень уж скверное. Ровное, спокойное состояние. А тело будто закоченело. Я и шагала, как солдат,— раз-два! раз-два! — под дождем. Прохожие в подъездах и под навесами, глядя на меня, наверно, получили большое удовольствие.

Раз-два! раз-два! Так. Случилось. Что дальше?

Надо было ехать в общежитие и собирать свои вещички. Так. А дальше?

Цокая каблуками по мокрым ступенькам, я спустилась в переход к новенькому метро и вдруг почувствовала, что нужно быстро, немедленно скрыться от людских глаз. Я юркнула за газетный киоск и тут не-

Рисунки И. БОЛЬШАКОВОЙ.

много поревела. Минут так пять, не больше. В то время я не мазалась, и с моим лицом ничего не произошло. Ну, небольшое покраснение глаз, только и всего. Зато сразу стало легче дышать.

Пока ехала до общежития, я поняла, что мое «дальше» укладывается в два варианта. Первый — вернуться домой. Второй — найти работу где-нибудь под Ташкентом и попробовать жить сама по себе. Мелькнул, правда, и третий: шагнуть под колеса поезда. Но этот вариант был не мой, а заимствованный, навеянный недавно прочитанной заметкой в газете. Сообщалось, как два японских абитуриента, он и она, провалившись на экзаменах, решили, что жить не стоит, и бросились с высотного здания на мостовую.

Я не чувствовала, что жить не стоит. Еще раньше я понимала, что поездка сюда при моих школьных успехах (четыре тройки в аттестате) и моей безалаберности — порядочная авантюра. Свою решимость я сформулировала родителям так:

— Авось, поступлю.

Отец сразу рассвирепел и ударил ладонью по столу.

— Дура. На «авось» рассчитывают только недоумки. Умные люди полагаются на свою голову!

Не надо было ему во время нашего долгого спора выпивать «огнетушитель» портвейна. После «дуры» я не колеблясь поехала бы поступать даже в Оксфорд или Кембридж...

— Денег не получишь. На «авось» и катись! — заявил отец.

— Ладно,— сказала я.— Не надо мне твоих денег. Разреши только сдать пустые бутылки с веранды. Их хватит на кругосветное путешествие.

— Уходи отсюда! — прикрикнула на меня мама, взмахнув полотенцем.

Не знаю, о чем они там без меня говорили (я отправилась к своей подруге Соньке), но вечером отец мрачно извинился за «дуру» и проворчал:

— Поезжай. Стукнись лбом в стену.

Вот таким образом я попала сюда. А теперь нужно было возвращаться в наш городишко или что-то придумывать.

В общежитии за столом вахтера сидела сама комендантша; ее-то мне и надо было.

— Здравствуйте,— кротко сказала я.

— Здравствуй, здравствуй! — откликнулась рыхлая, толстая комендантша.— Поступила, или как?

Я смиренно опустила глаза.

— Нет, не прошла, тетя Валя. Можно мне пожить дня два, пока перевод не придет из дома?

— Уезжать, что ли, не на что?

— Не на что,— слукавила я: в сумке у меня лежало двадцать пять рублей.

— Вот все вы такие! Промотаете денежки, а родители — высылай. Мне что, жалко? Живи!

Я горячо ее поблагодарила. Итак, два дня на раздумья я выгадала. Теперь можно было ехать к Соньке.

Сонька Маневич, моя подруга, поступала не куда-нибудь, а в политехнический институт на энергетический факультет. Свой выбор она, посмеиваясь, объясняла так:

— Там парней полно. Проще будет выскочить замуж.

У Соньки комплекс неполноценности. Ей кажется, что она страшна как смертный грех и никто ее замуж никогда не возьмет. Красотой она, и правда, не блещет: нос огромный, сама низенькая и толстая, зато башковитая до невозможности. Наши классные парни ходили за мной толпой, а на нее ноль внимания. «Тень Соломиной» — так ее звали. То есть моя тень.

Два дня назад мы виделись и договорились встретиться около оперного театра.

Когда я приехала, Сонька уже ждала. Я ее издалека увидела: стоит на ступеньках и вертит головой туда-сюда. Я подошла с сияющим лицом.

— Привет!

Она обернулась, сморщилась от радости и воскликнула:

— Ой! Веселая! Поступила, да?

— А ты?

— Тоже, тоже!

— А я — фигу с маслом. Не прошла.

Так Сонька и осеклась, даже рот приоткрыла.

— Да ты что-о...— протянула жалобно.— Неправда...

— Еще какая правда!

— А почему ты смеешься? — Она все еще не верила.

— Это я так плачу.

С этими словами я взяла Соньку под руку и повела прочь от какого-то парня, который на нас уставился.

Дождь уже кончился, по-всегдашнему горячо светило солнце. Трамваи звонили как-то особенно весело. Был час «пик», после работы валом повалили прохожие. Так хорошо и радостно вокруг, такая сильная жизнь! И все это уже не мое.

Я крепче ухватила Соньку за руку и неожиданно для себя предложила:

— Знаешь что, давай отметим твое поступление? Пойдем в ресторан!

— Что ты! — тотчас напугалась Сонька.

— А что?

— Как ты можешь веселиться, не понимаю...

— Говорю же тебе, я не веселюсь, а скорблю. И хватит об этом!

Ресторан был рядом (его вывеска и навела меня на мысль). Я за руку, чуть не силой потащила Соньку к входной двери. Вот не думала, что в ней так бушует провинциализм! В вестибюле она скукожилась, втянула голову в плечи и только поводила туда-сюда своим огромным носом, словно принюхивалась к здешней атмосфере... Прошептала, горбясь:

— Народу много... Давай уйдем...

— Нет уж!

Я встала в очередь, а ее отправила в туалет, чтобы она там немного очухалась. Сразу же началось:

— Девушка, садимся за один столик?

Оглянулась: стоят за спиной двое в клетчатых пиджаках. Я смерила их взглядом и ничего не сказала. Они рассмеялись, и пошло! «Красивая девушка, верно?» «Выдающаяся!» «А волосы какие, обратил внимание?» «Бесподобные!» «А фигурка?» «Черт-те какая!» «Сколько ей, по-твоему?» «По-моему, двадцать». «А по-моему, не больше восемнадцати».

— Девушка, разрешите наш спор, сколько вам лет?

Я молча терпела—вежливый треп. Не то что в нашем городке. У нас дипломатия не в почете: сразу хватают за руки и такое несут, что уши вянут. Одна вечером по улице не пройдешь спокойно. Надо иметь какого-нибудь телохранителя, вроде моего одноклассника Федьки Луцишина, разрядника по боксу. Он без долгих раздумий мог влепить в ухо любому, кто пристанет ко мне...

Очередь двигалась быстро, и я побежала за Сонькой. Моя подруга стояла перед зеркалом и потерянно смотрела на собственное отражение, будто впервые увидела. Она всегда жаловалась на свои волосы, жесткие и курчавые. Их никакая гребенка не брала. А ей хотелось иметь прямые и длинные,

как у меня. Свои кудряшки она начесывала, чтобы скрыть мелкие прыщики на лбу.

Я ей сказала:

— Хватит тут торчать! Пошли.

В длинном зале с колоннами было шумно и дымно. Нам пришлось два раза пройти туда-сюда, пока нашли свободные места. Сонька совсем ошалела: впилась мне ногтями в руку и сгорбилась так, что голова ушла в плечи. Ее растерянность и мне передалась; я уже была не рада, что зашли сюда.

Наконец сели за пустой столик с неубранной посудой и объедками на ней. Тут же подскочила тощая, растерзанная и замотанная официантка и заорала на нас:

— Не видите, что ли, стол грязный? Расположились как дома!

Сонька потянула меня за руку и стала вставать, но я ее удержала. Когда на меня повышают голос, во мне что-то будто щелкает внутри, какой-то выключатель или, может быть, включатель, не знаю, только я сразу теряю голову. Сонька потом говорила, что я жутко побледнела, сощурилась, как рысь, и тихо так сказала:

— Уберите со стола и не вопите. А то потребуем жалобную книгу.

Официантка даже опешила:

— Чего-чего?

В этот момент те двое как раз и вынырнули откуда-то из-за колонны. Не было их, и вдруг появились, словно из-под земли.

Самое главное в жизни всегда происходит внезапно, я теперь поняла. Это уж такой закон. Живешь себе и знать не знаешь, что за следующим поворотом тебя поджидает, хохоча во все горло или, наоборот, со скорбно-печальным ликом твой Случай.

Ну вот, появились, подхватили эту тощую злюку с обеих сторон под руки и что-то зашептали в оба уха. Та бросила на меня взгляд, как на смертельного врага, ушла. А они приблизились к нашему столу.

— Все улажено, девочки. Не возражаете, если сядем?

Это сказал Махмуд.

У входа я их не разглядела как следует. Махмуд — весь черный, с гладкими черными волосами, блестящими глазами и черненькой полоской усиков над губой. А у Максима была русая маленькая бородка, русые волосы, рот крохотный, как у ребенка, прямой нос и очень светлая кожа. Я сразу решила, что город подкинул к нашему столу своих типичных представителей, соединив в них все то, что бросается в глаза на улице: и бородку, и усы, и высокие каблуки туфель, и джинсы...

Сонька на них дико смотрела. А я сказала:

— Пожалуйста. Садитесь.

Вообще-то я страшно обрадовалась, что все обошлось, и была им благодарна. Мог произойти крупный скандал: ни официантка бы мне не спустила, ни я ей. А так все пошло как по маслу. Официантка, возвратясь, быстренько перебросала на поднос грязную посуду (правда, зыркнула на меня раза два и усиленно гремела тарелками), потом принесла меню, и мы с Сонькой в него уткнулись голова к голове.

Эти двое курили и болтали о том, о сем. На нас даже не глядели. Будто не они недавно приставали в вестибюле. Мы выбрали какую-то закуску (не помню что), отбивные котлеты и мороженое с вареньем.

— И еще бутылку шампанского! — храбро и мстительно сказала я. Сонька тихонько охнула.

Настала их очередь. Скомандовал Махмуд. Даже в меню не взглянул.

— То же самое, только долой мороженое! И побыстрей, золотце!

Официантка убежала как ошпаренная Я подумала: вот что значит завсегдатаи! Чувствуют себя здесь как дома. Не то что мы, несчастные провинциалки. И одеты вроде как надо, по моде — у Соньки вон какая кофточка, шик-блеск! — а что-то на наших лицах особенное, как клеймо, что ли, сразу видно — не нюхали столиц... На миг мне стало жалко Соньку и себя, но я тут же разозлилась: ну уж нет! Пускай эти двое не думают, будто напали на дурочек. Я толкнула Соньку локтем в бок, чтобы она не кособочилась и не сутулилась.

А они, видно, решили, что хватит тянуть. Махмуд пощипал свои черные усики, сверкнул маслянистыми глазами.

— Что отмечаем, девочки? Какой праздник?

Надо было что-нибудь придумать, но я сказала то, что есть. Махмуд по-восточному зацокал языком. Выходит, за одним столом и радость и горе? А куда я поступала? Я объяснила, куда. А подруга? Он перевел взгляд на Соньку. Она залилась краской, даже кончик носа побагровел.

Я не понимала, что происходит. Обычно Сонькин комплекс неполноценности проявлялся совсем подругому: в новой компании она грубила налево и направо, старалась показать, будто ей все трынтрава.

Ненавистная официантка принесла закуску, бутылки и опять убежала.

Максим все помалкивал. Поглядывал то на меня, то на Соньку. Верхняя губа слегка вздернута в улыбке; зубы белые, мелкие; русая бородка, как шелковая. Я прикинула: лет двадцать пять, а может, и больше. Совсем старичок.

Зато Махмуд захватил стол, тамада да и только: открывал, наливал. Он уже выпытал, как нас зовут, сам представился и друга отрекомендовал. А тост сказал такой простецкий:

— За вас, девочки!

Вдруг Сонька глубоко вздохнула, словно от сна очнулась, и не успела я моргнуть — раз! — выдула весь свой бокал одним махом. Я на нее уставилась. Махмуд открыл рот. А Максим засмеялся тихотихо.

Через пять минут Сонька уже несла околесицу.

— Вы не подумайте, пожалуйста! Если хотите... хотите знать, наш город не хуже вашего. Правда, Ленка? К нам туристы из-за границы приезжают — пожалуйста. А летом жара посильней, чем у вас, правда, Ленка? А вы думаете, просто так!

— Что вы? Никто не думает,— вежливо улыбался Максим.

Махмуд налил Соньке еще шампанского. Я прикрыла ее бокал ладонью.

— Стой, Сонька, не спеши.— И взглянула прямо в глаза Максиму.— А кто вы, собственно, такие? О нас все узнали, а о себе молчок. Так не пойдет.

Шампанское мне тоже ударило в голову. Все вокруг стало ярче, будто зажегся сильный свет. Я как-то даже забыла на миг, что института мне не видать, а что дальше — неизвестно.

Максим повторил:

— Кто мы такие? — И нежно прикоснулся кончиками пальцев к своей холеной бородке.— Обычные служащие.

— Ну да! Говорите!

— А по-вашему, кто?

— По-моему, вы режиссеры или что-то в этом роде.

Он негромко, весело присвистнул.

— Слышал, Махмуд? Давай согласимся?

— Зачем обманывать девочек? — отвечал его приятель.— Не в моих правилах.

— Мы счетоводы,— пояснил Максим и показал в улыбке свои мелкие белоснежные зубы.— Правда, считаем не на счетах, а на машине. Точнее говоря, программируем.

— А-а! Программисты...— Я почему-то была слегка разочарована.

Мы уже незримо разделились: я и он, Сонька и Махмуд, друг против друга. Мне стало совсем легко и радостно, и впереди открылся какой-то просвет. Нет, не поеду я домой! Что мне там делать? Слушать ворчание матери, ссориться с отцом, а по вечерам обтирать скамейки в заплеванном парке с Федькой Луцишиным и К°? И на Ташкенте свет клином не сошелся. Страна такая большая, все стороны открыты, и всякая обдувается свежим ветром. Неужто мне не найдется местечка? Прокормлюсь, проживу, не погибну. Не круглая же я дура и не тяпа-растяпа.

— А еще у нас арыки, арыки...— очумело рассказывала Сонька Махмуду, будто он был с другой планеты.— А по ним с гор водичка бежит, бежит...

Махмуд цокал языком, восхищался, подливал ей. Я испугалась за Соньку, но тут же забыла про нее. У меня у самой язык развязался. Да еще вдруг музыка ударила с эстрады.

— А родители как отнесутся к вашему решению? — У Максима в глазах светились яркие огоньки.

— А что родители? Мне восемнадцать, я совершеннолетняя.

— Восемнадцать? — усомнился он, склонив голову набок.

— Ну да. Я в нашем классе была старухой. Я болела в детстве и пропустила год. Ну их, родителей!

— Как же так «ну их»?

— Да так! Они сами с собой не могут ужиться. Чуть не каждый день скандал. А еще меня учат. Надоело!

— Ясно.

— Жутко, знаете, надоело!

— Ясно, ясно.

— Я последний год как на иголках жила. Дни считала, правда! Так не терпелось уехать. А теперь возвращаться? Нет уж!

— Да, пожалуй, не стоит, если так.

Краем уха я уловила, что Сонька рассказывает Махмуду про наш огромный базар. Максим тоже услышал, засмеялся, подмигнул мне и предложил:

— Станцуем?

— Ага! — обрадовалась я. Мне хотелось с ним танцевать, что правда, то правда.

Потом танцевали они, то есть Сонька с Махмудом, и я удивлялась, как моя подруга лихо скакала. Потом снова мы, и опять они, и все вместе, и снова мы. На душе у меня стало как-то отчаянно-радостно. Славный и легкий парень этот Максим! Я ничуть не удивилась и не оскорбилась, когда он перешел на «ты». Только сказала ему:

— А у меня пока не получится. Буду «выкать».

Махмуд заказал еще бутылку шампанского. Хлоп! Пробка полетела в потолок. Сонька забила в ладоши. Она была вся красная и не спускала своих больших черных глаз с Махмуда. Я подумала, что, пожалуй, хватит. Пора уходить, хоть и не хочется. Соньке точно пора.

Когда официантка появилась у другого столика, я ее окликнула. Она подошла, поджав губы.

— Рассчитайтесь с нами, пожалуйста. Сколько с нас?

Махмуд вскинул ладонь: они платят за все! Я запротестовала, он настаивал, но я добилась своего: выложила на стол двенадцать рублей с копейками. Никаких «на чай» официантке не дала, и так она нас наверняка обжулила.

— Все, Сонька! Пойдем.

Сонька жалобно скривила губы:

— Дава-ай еще посидим...

— Пошли, пошли! Хватит!

Максим вдруг стал грустным, даже бородка както обвисла. Он спросил, куда мы спешим. Я сама не знала куда. Было еще только девять с небольшим. В общежитии меня ждала комната на пять кроватей — шум, гам... Не будь Соньки и не разбушуйся она так, я бы задержалась и посмотрела, что выйдет дальше. Интересно, обнаглел бы Максим или нет? Я ничуть не боялась, у меня был опыт. Однажды я так треснула Федьку Луцишина по физиономии, как он, наверное, на своем ринге никогда не получал. Внешность у меня обманчивая. При росте метр шестьдесят восемь и довольно хрупком сложении могу за себя постоять, да, да.

Махмуд, сильно, по-моему, раздосадованный, повел Соньку из зала. Что он там ей шептал, не знаю. Мне было не до этого. Максим, спускаясь по лестнице, обнял меня за плечи и мягко так сказал:

— Послушай, пускай они едут сами. Вы же в разных местах живете. Махмуд ее проводит, я тебя. Идет?

— Нет, Максим. Я с ней поеду.

— Да зачем, чудачка? Махмуд порядочный человек. Доставит ее в целости и сохранности.

В эту минуту, честное слово, я пожалела, что связалась с Сонькой. Мне не хотелось от него уезжать. Пусть бы он меня проводил, пусть бы мы побродили по улицам... Какое воспоминание! Это не Федька Луцишин и К°... Трепливые языки... легковесные мозги... гитара... Все знаешь наперед, что скажут, где захохочут... У него даже рука была какая-то другая, умная, одухотворенная... Эх, Сонька!

Но я замотала головой: нет, нет! Да и зачем, действительно?

В вестибюле Сонька вдруг оттащила меня в сторону и забормотала:

— Ты поезжай, Ленка. Поезжай, ладно? Меня Махмуд проводит.

Я ушам своим не поверила. Ничего себе, разошлась!

— Черта с два! Вместе поедем.

— Ну, Ленка, ну, че ты... Он хороший.

Махмуд услышал, подступил.

— Конечно, я хороший. Без сомнения. Зачем опекунство, Леночка? — И взял Соньку под руку.

Я потянула ее к себе и отодрала от Махмуда. Меня вдруг злость взяла: за кого они все-таки нас принимают!

Максим стоял задумчивый и тихий.

До автобусной остановки они нас все-таки проводили, хотя и шли сзади. Сонька повесила нос и брела, как лунатик. Я ее поддерживала за руку и подбадривала тычками в бок.

Тротуары просохли, сильно пахли цветочные клумбы, ярко горели фонари.

Около остановки Максим тронул меня за плечо. Лицо у него было грустное и словно бы осунулось. Он был совершенно трезв.

— Послушай... если захочешь, позвони. Что-нибудь придумаем. Запишешь или запомнишь?



Я подумала: к чему записывать, к чему запоминать? Все равно ведь не позвоню. Он назвал номер и сказал: с девяти до шести. Рабочий телефон.

Рассерженный Махмуд стоял в стороне. К Соньке он не подошел.

— Позвонишь?

— Вряд ли...

Не люблю я обнадеживать.

2

Утром мы проснулись с Сонькой на одной кровати. Получилось так, что в автобусе она совсем раскисла, и я решила увести ее к себе в общежитие. Вахтерша всех в лицо не знала, пропустила, а девчонки в комнате похохотали над осоловелой Сонькой — и всё.

— Ну, мать,— грубовато сказала я ей, когда пробудились,— ты дала жизни!

Сонька свесила свои короткие и толстые ноги с кровати, помотала головой и, озираясь, пробормотала:

— Ой, Ленка, я сейчас умру.

— Ничего с тобой не сделается. Лучше скажи спасибо, что я вчера тебя утащила.

— Спасибо, Ленка! Ты настоящий человек. А я дура, ох, и дура! Чтобы я еще хоть раз пошла в ресторан...

— Не зарекайся! — оборвала я ее, оставила наводить марафет, а сама отправилась вниз к вахтеру.

Там в вестибюле были почтовые ящики с номерами комнат. Я заглянула в свой — так и есть, телеграмма. Взяла — мне, срочная. Развернула и прочитала: «ВОЗВРАЩАЙСЯ ДОМОЙ. ДЕНЬГИ ВЫСЛАЛА ГЛАВПОЧТУ ВОСТРЕБОВАНИЯ. МАТЬ».

Несколько секунд я стояла в каком-то шоке. Больше всего меня поразила подпись. Не «мама», а именно «мать». Чуть ли не «мачеха»...

Только потом я заметила в деревянном гнезде еще одну телеграмму. Тоже — мне. Она была такая: «ПОЗДРАВЛЯЮ. ТАК ТЕБЕ И НАДО. ОТЕЦ».

Ну, тут все было в порядке. Я словно увидела его лицо — тяжелое, обрюзгшее, с мешками под глазами — и представила, как вчера вечером он шагал на почту, по дороге непременно заглянул в забегаловку, потом зло рвал телеграфный бланк пером...

Вахтерша посмотрела на меня из-за своего столика и спросила:

— Чему радуешься?

Оказывается, я громко рассмеялась.

Рассмешила меня наша семейная дипломатия. Ведь совершенно ясно было, что обсуждали они мою телеграмму сообща, наверняка со спорами: как со мной поступить, куда меня приткнуть,— пока отец не вскипел и не оборвал: «Хватит! Я ее предупреждал! Теперь пусть сама решает, не младенец!» — и помчался на почту. Мама ускользнула позже, тайком. Открыто против отца она никогда не смела идти.

Вахтерша опять окликнула меня:

— Эй, чего стряслось?

Теперь она увидела слезы на моих глазах. Действительно, я заревела. Сама не знаю, отчего — от жалости к себе или от злости на них... Наверно, и от того и от другого. Но когда поднималась на третий этаж, привела свое лицо в порядок: слезы вытерла, нос высморкала. И с улыбкой вошла в комнату.

Одетая уже Сонька сидела на кровати, мрачная и нахохленная. Одна девчонка, Верка Юрьева, укладывала чемодан (она тоже не поступила), остальные все разбежались. Я беззаботно сказала Соньке:

— Вот, читай! — И сунула ей телеграммы.

Она быстро пробежала их глазами и промямлила:

— А почему это они порознь пишут?.. Не понимаю...

Я так и думала, что она ничего не поймет. Куда ей! Мне и то было нелегко разобраться в наших домашних делах, а ей и подавно.

Через полчаса Сонька укатила к себе в институт. Я повалилась на кровать и уставилась в потолок.

Другой на моем месте, наверно, обмозговал бы самый что ни на есть животрепещущий вопрос: что же делать? А у меня были мысли совсем из другой оперы. То вспомню себя, пятилетнюю, в детском саду—стою на маленькой эстрадке и читаю, захлебываясь, стихи... то дерусь с братом Вадькой... то тащу вместе с матерью отца из палисадника, где он упал, не дойдя до дома... Палисадник этот со скамейкой и клумбами цветов принадлежал всем жильцам нашего многоквартирного дома. Но отец его отвоевал — не знаю уж как. Со стройки, где он прорабствовал, привез длинные такие и тонкие металлические трубы, и знакомый сварщик их сварил. Получилось нечто вроде большущей клетки. Вскоре уже поползли вверх виноградные плети. Потом каждую осень отец собирал виноград и отвозил на базар, где оптом продавал какому-нибудь торговцу. Однажды (в восьмом классе) я привела своих приятелей и сказала им:

— Ешьте вволю.

Они навалились, но вышел отец и всех нас разогнал. Тогда мы с ним сильно схлестнулись. Он обозвал меня оглоедкой или как-то в этом роде... Я умчалась с ревом в нашу рощу и всю ночь просидела около плавательного бассейна, где квакали лягушки. Было приблизительно как сейчас: что же делать? Тогда я надумала уехать в Крым к своей тетке. Но мама меня разыскала и уговорила вернуться домой. Она объяснила, почему отец погорячился:

— Пойми ты, он из сил выбивается, хочет машину купить, а ты виноград разоряешь...

Сама мама бухгалтер на масложиркомбинате. Я ей сказала, что она тоже иной раз выбивается из сил, когда тащит с работы домой полные сумки комбинатовской продукции. Мама хотела мне влепить, но удержалась, лишь выговорила:

— Глупа ты еще! — И добавила: — В кого ты такая уродилась?

Правда, в кого? В них — нет, и на брата Вадьку тоже не похожа. Он хоть и заступался за меня, когда жил дома, но все равно казался вялым, рассеянным молчуном. У него и друзей-то почти не было. Сидел себе по целым дням на веранде и копался в приемнике. Это в институте в нем что-то прорвалось. Он сразу будто обновился, когда два года назад поступил, куда мечтал,— в ленинградский гидрометеорологический.

«Жигули» отец купил и гараж возвел прямо напротив наших окон во дворе. Хочу похвалиться: я ни разу в эти «Жигули» не села, ни разу! Он меня чуть не силой заставлял, а я ни в какую.

В десятом классе у нас с Федькой Луцишиным начался роман, да и компания составилась; я почти не видела отца. Встретимся иной раз за столом, обмолвимся фразами: «Где это ты пропадаешь, хотел бы я знать?» «А ты где?» «Я работаю, чтобы тебя,

бродячую, кормить!» «А я учусь, чтобы тебя на старости лет кормить!» «Как же, дождешься от тебя!» — или что-нибудь в этом роде.

Мама иной раз вступалась за меня: молодая, мол, пускай развлекается. А наедине только и вела разговоры о том, как дети родятся. Будто я сама не знала как. «Добегаешься до беды, добегаешься!» Она мне так уши прожужжала, что я, честное слово, стала подумывать: а не хочет ли она, чтобы я и вправду добегалась?

Зимой в десятом классе на меня напал какой-то книжный запой. Я стала пропадать в библиотеке и читальном зале вместе с Сонькой. До этого лишь почитывала, что попадалось, а тут прямо въелась в книги, в классиков особенно. А причиной был все тот же Федька Луцишин и К°. Вдруг они мне все как-то сразу опротивели. Да и весь наш город, где я восемнадцать лет назад родилась, пыльный и жаркий летом, зимой бесснежный, хмурый, с его грязным гортанным базаром, стал мне невыносим. Между тем стоило взглянуть на карту — и сердце замирало, глаза разбегались от бесчисленного множества точек и точечек. Ох, как я смотрела вслед самолетам!

А теперь вот лежала на кровати и все это перебирала так и этак. Ни в чем себя не винила. Случилось — и ладно. Может быть, только сейчас все и начинается. Но что именно, этого я не знала.

К полудню мне стало невтерпеж. Есть не хотелось, спать тоже. Глядеть в потолок надоело. Разговаривать было не с кем, даже Юрьева ушла. Бока я отлежала. Думать устала. Хочешь не хочешь, а надо было что-то предпринимать. Я отправилась на главпочту — вдруг пришли деньги?

Пока я ехала в метро, в толчее шла по переходам, вся хандра пропала. Я живо глядела по сторонам, бойко стучала каблуками, а вниз по эскалаторам сбегала бегом. Со стороны я видела себя: русоволосая, стройная и хорошенькая девчонка в кремовой длинной юбке. Приятно посмотреть!

На главпочте меня ожидало чудо: мне вручили перевод. Сумма была сногсшибательная — пятьдесят рублей! Билет до нашего городка на самолет стоит восемнадцать, а на поезд и того меньше. Мама поистине расщедрилась. Я не понимала: с чего бы? Неужто ей действительно так хотелось заполучить меня? Или это были деньги на всю мою дальнейшую жизнь до смерти?

С таким богатством можно было позволить себе попировать. Я завернула в «Кулинарию». Оказалось, что аппетит у меня есть, и еще какой! Я выпила две чашки какао с молоком, слопала два пирожка с мясом, умяла два пирожных с кремом, а на улице купила мороженое. Прекрасно! Замечательно! Жить можно!

Тут я вспомнила о Максиме. Все было как-то не до него, и вдруг прямо ударило в голову: телефонный номер. Я подивилась своей памяти, ведь не старалась же запоминать. Легко подумала: а что если позвонить? Так, подурачиться. Чем я рискую?

Две копейки у меня нашлись, и телефон-автомат как раз подвернулся. Все как-то сходилось одно к одному.

Ответил мне женский голос. Я попросила пригласить к телефону Максима. Почти сразу же услышала:

— Алё?

Для верности я спросила:

— Это Максим?

— Да, я.— В голосе его появилась настороженность.

— Здравствуйте, Максим. Как поживаете?

— Отлично поживаю. А с кем я говорю?

— А как поживает ваш друг Махмуд? — Я улыбалась, говорила звонко и весело...

— А, вон кто! Привет! Рад слышать. Как ваша подруга? — Он снова перешел на «вы».— Не уснула в автобусе?

— Нет, все в порядке. Сегодня очень хороший день, правда?

— Хороший день? Погодите-ка, взгляну в окно... Да, действительно. Спасибо, что сказали.

— Чем это вы занимаетесь, что не замечаете погоды?

— Чем занимаюсь? Работой, разумеется. Как насчет хорошего вечера?

Он сразу взял быка за рога... Я засмеялась.

— Нет, Максим, не получится. Хватит с меня вчерашнего.

— А разве вчерашний был плох?

— Не так чтобы, но и не очень чтобы. В общем, не знаю.

— Ясно, ясно.— Он помолчал, раздумывая.— А я, между прочим, знал, что вы позвоните.

— Ерунда! Ничего вы не знали! Я сама пять минут назад не знала, что позвоню. И даже сейчас не знаю, зачем звоню. Просто так, от нечего делать.

— Что ж, и то хорошо.—Я поняла, что он усмехнулся.— Давайте от нечего делать и встретимся. У меня, кстати, есть насчет вас кое-какие идеи.

— Да ну? Какие же?

— Идея такая,— начал он.— Одну минуту, перейду на другой телефон.— Была пауза, потом снова раздался его голос: — Значит, такая идея. Есть у меня приятель. Он командует небольшой проектной конторой. Можно с ним потолковать о работе. Правда, с пропиской трудно. Но он знает всякие ходы. Как смотрите на это?

Я надолго задумалась. Рассеянно поглядывала по сторонам, постукивала ногтем по трубке. Странно все-таки! Вчера вечером в первый раз увидела, сегодня он устраивает мою судьбу... Наконец я небрежно спросила:

— Интересно, вы всем так помогаете?

— Да нет, не приходилось. Вы первая.

— А из каких соображений? — Я опять улыбалась, и голос мой звучал совершенно беззаботно.

— Из каких соображений? — переспросил Максим.— Черт его знает... Из человеколюбия, наверно. Я сам одно время был на перепутье. Мне помогли.

— Вот как!

— Да,— твердо ответил он.

Я опять задумалась. Так, так, значит, из человеколюбия. Очень интересно! Что же он все-таки за тип? Если бродит по вечерам, то, видимо, не женат. Но трудно представить, чтобы в двадцать пять и при его бородке он никогда не был женат. Значит, разведенный. Так, так. Разведенный, значит. А может быть, котует, как выражается моя мать о мужьях-гуляках?

— Нет, Максим, спасибо. Лучше я поеду домой. Так надежней.

Он помолчал и разочарованно сказал:

— Жаль! Вчера вы были настроены по-другому... А дома у вас есть телефон? Может, у меня будут дела в ваших краях.

— Дома есть. Пожалуйста! — Я сказала номер. Попрощалась и повесила трубку.

Зачем, спрашивается, звонила? Чтобы услышать его голос?

Вспоминаю и думаю: а если бы не позвонила и не сказала свой номер? А если бы мы с Сонькой не завернули в ресторан? А если бы я не настояла

дома на своей поездке в Ташкент? Как бы у меня тогда все сложилось?

Ерунда все эти «если бы»! Закономерность любит обряжаться в одежды случайности. Мы сами своей предыдущей жизнью, своим характером и устремлениями творим все «вдруг», а в них, если разобраться, нет ничего неожиданного. Что-то должно было со мной произойти. У меня была такая пора, когда прошлое отпихиваешь обеими руками, о будущем не заботишься, а в настоящее ныряешь, как с вышки, вниз головой.

И вот я шагнула с трапа в знойный яркий свет. Вдохнула воздух — он был пропитан дымком шашлычных. Увидела полосатые широкие платья женщин, серые от пыли тополя и акации, кривые, рахитичные шелковицы перед зданием аэропорта... Это был еще не мой город. До моего надо было ехать два часа на автобусе.

Потянулись пыльные поля хлопчатника. Замелькали придорожные чайханы, глиняные дувалы, фруктовые сады в глубине дворов — кишлак на кишлаке, будто густое грибное семейство. Потом показались вдали и стали расти блестящие башни нефтеперерабатывающего завода. Запетляли улицы, размножились арыки и открылась большая, грязная и шумная площадь перед автовокзалом, вся залитая солнечным светом. Я приехала, вернулась домой. Сердце сдавило от тоски.

Тетрадь вторая

1

Первым, кого я увидела, едва вышла из автобуса, был мой брат. Я не поверила своим глазам. Подумала: чудится! мираж!

Но это был он, Вадька. Шел со стороны базара, пересекая площадь, в клетчатой рубашке навыпуск, каких давно уже не носят, помятых джинсах и сандалетах на босу ногу, с авоськой, набитой картошкой и зеленью.

Я закричала во все горло:

— Вадька! — И помчалась к нему.

Он обернулся, тоже вскрикнул:

— Ленка!

Через секунду мы уже обнимались, побросав авоську и чемоданчик.

— Вадька, ты откуда взялся? Когда прилетел?

— Вчера.

— Ох, как хорошо! Как хорошо, Вадька, что ты здесь! Я так рада!

Он смущенно ухмыльнулся:

— Так уж и рада?

Мы разглядывали друг друга. Все-таки с зимы не встречались! Мой брат некрасивый. У него худое лицо с нездоровой кожей; когда он улыбается, видны неровные зубы. Сам он узкоплечий и невысок ростом. В свои двадцать он выглядит хлипким мальчишкой.

— А ты цветешь, Ленка. Я думал, ты в трауре.

— Ну да! Еще чего не хватало! Как дома?

Его худое мальчишечье лицо потемнело.

— В двух словах не расскажешь... Знаешь что, давай посидим вон там.

— Давай! — согласилась я. И опять: — Как хорошо, что ты здесь, Вадька!

В самом деле, мне как будто дышать легче стало.

Мы перешли улицу и уселись на деревянном топчане под деревом. Вадька рассеянно разглядывал белобородых стариков в халатах, расположившихся невдалеке от нас вокруг чайников и блюда с наломанными лепешками. Отвык, наверно, в своем Ленинграде от нашей экзотики!

Я не выдержала.

— Ну, чего ты молчишь? Ну, говори! Что дома? Отец сильно злится?

Брат сморщил узкий костистый лоб.

— Не то слово, Ленка. Отец запил. Мать мучает. И все, по-моему, из-за тебя.

Я возмутилась так, что щеки разгорелись.

— Из-за меня запил? А до этого он был трезвенником, да?

— А, брось! Ты не понимаешь... Он здорово переживает. Он вообще-то тебя любит, Ленка.

— Что-что? Ты в своем уме? Да он всегда был рад избавиться от меня! Я мешаю ему жить. Он с радости запил. Думал, что я не вернусь.

— Тише, не кричи...— Я и вправду раскричалась: кое-кто из чаевников оглянулся.— Чушь ты городишь, Ленка! Он бесится, что ты сделала по-своему, что ты вообще с ним последнее время не считаешься... Это ведь так?

— Так.

— Ну вот.

Вдруг он мне показался старым-старым. Старый худой мальчишка.

— Зря ты приехала сейчас, Ленка. Тебе надо было просто задержаться, хотя бы на месяц. Тогда бы он понял, что ты уже вышла из-под опеки. Все было бы проще. Понимаешь?

— Так, так. Понимаю. Ну и семейка у нас! Так вот, Вадька, знай: я не намерена жить на его иждивении. Устроюсь на работу и перейду в общежитие. И даже в гости к нему не зайду, пока он не скажет просто, по-человечески, что соскучился и хочет видеть. Или попросит помощи. Только от него этого не дождешься, пока его кондрашка не хватит!

— О маме ты забыла...— сказал Вадим. Глаза у него стали тоскливые-тоскливые, как у больного.

— О маме я помню. Ты знаешь, что она прислала мне денег?

— Нет.

— Я так и думала. Ну и семейка! Она мне приказала, чтобы я возвращалась. Представляешь? Тайно от отца. А теперь она возьмет его сторону, и снова начнется сыр-бор. Станет меня воспитывать по своему образу и подобию. Наша мама, Вадька, хамелеон!

Он нахмурился.

— Ты полегче давай... Обвинительница! Ей непросто живется.

— Она сама виновата, сама! Сама сделала себя крепостной.

— Хватит, говорю! — Вадим сжал губы, и лицо его заострилось.— Все, по-твоему, виноваты, кроме тебя. А что ты из себя представляешь?

Вот не думала, что наш разговор так повернется.

— Не твое дело, что я из себя представляю! А дома не задержусь, не думай. Мне там душно.

— «Ду-ушно»! — передразнил он меня, даже гримаску сделал.— Это любой может сказать: «Меня не понимают! Мне душно!» Я два года приезжаю, наблюдаю за тобой. Не очень-то тебе душно. Все по улицам шляешься, на свежем воздухе.

— Ах, вот как? — Я вскочила с топчана.— Нотации читаешь?

— Не пори ерунду! Я хочу понять, чего тебе надо. Свободы? А для чего? Свобода ради свободы — это чушь собачья. Ею нужно уметь распорядиться. А ты умеешь?

— Не бойся, сумею!

Он не обратил внимания на мои слова. Лицо у него было сердитое и недоуменное, плечи высоко подняты... Конек-горбунок какой-то!

— У тебя нет никакой цели. Ты даже не знаешь точно, почему поступала именно в педагогический.

— Знаю! — отрезала я.— И тебе еще зимой говорила. А ты захихикал, как дурак.

— Помню, помню! Любишь маленьких детишек!

— Ничего нет в этом смешного, балда! — Я разозлилась по-настоящему.

На нас уже глядели вовсю. Вадька подхватил авоську и чемодан и отошел под деревья подальше, я за ним. Тут он опять за меня взялся.

— Балда не я, а ты! Ты ехала в Ташкент развеяться — не поступать. Ты перед экзаменами в учебники не заглядывала. (Это было близко к истине.) Одурела от свободы. Не так, что ли?

— Не твое дело!

Вадька ли это? Мой ли брат? Я не помнила, чтобы он хоть слово когда сказал мне поперек, если не считать детских ссор, но это было так давно...

— Твоя свобода, Ленка, это ветер в голове! — упорно и ожесточенно добивал он меня.

Я открыла рот, чтобы сказать ему что-нибудь злое, и вдруг как зареву — и головой ему в грудь. Мгновенно все лицо стало мокрым, даже на землю закапало. Я вся затряслась. Вадька схватил меня за плечи и испуганно забормотал:

— Ты чего? Ты чего? Перестань!

Я заревела еще сильней, хотя сильней вроде было некуда. Вадим совсем растерялся, иначе чего бы он вдруг чмокнул меня в затылок и назвал «сестричкой»? «Ну, перестань... Ну, сестричка...» — да так жалобно. Никогда это слово не было у нас в ходу.

Я долго успокаивалась, сморкалась, утирала слезы, всхлипывала. Вадька ждал.

— Ну, как ты?

Я уже пришла в себя, только изредка хлюпала носом. Жалобно попросила:

— Скажи еще «сестричка». Пожалуйста.

— Ну-у...— Он замялся.— Сестричка...— И покраснел.— Да ну тебя!

— Сестричка-истеричка,— шмыгнула я носом.

Он достал сигареты и закурил. Вадька курит! Всегда ведь не выносил табачного дыма...

— Послушай, Ленка...— Он неловко затянулся, смотрел куда-то себе под ноги.— Думаешь, я тебя не понимаю? Мне самому дома, как в тюрьме. Отца с матерью жалко, и зло на них берет. Ну, зачем они живут? Ради нас, что ли? Не знаю... По-моему, просто живут и живут, чтобы ходить, есть, спать, ссориться. Мне это не подходит. Тебе тоже. Так?

— Угу.— Я кивнула.

Он совсем опустил голову.

— Между нами разница в том, что я знаю, чего хочу, а ты нет. Я после института поеду на метеостанцию, вообще буду странствовать. Это свобода ради любимого дела, понимаешь?

— Угу.

Странный у нас получался разговор...

— Ну, а тебе что хочется? Я боюсь, что ты сейчас кинешься в какую-нибудь авантюру. Сдуру.

— Сдуру в авантюру,— тихим эхом повторила я.

— Вот именно. Ты же такая... Кстати, я Луцишина встретил.

— Федьку? — Я на миг оживилась.— Как он?

— Такой же балбес, как был. Впрочем, поступил в нефтяной техникум. Ленка! Не ссорься ты с родителями, а? Постарайся ужиться. А то сорвешься сгоряча из дома — и пропадешь. Без идеи пропадешь, Ленка. А у тебя ее нет.— Последние слова он сказал совсем тихо, затянулся дымом и быстро, опасливо взглянул на меня: не зареву ли опять, чего доброго?

По дороге к дому я рассказала брату о своей неудачной поездке. Я все время держала его за руку, будто боялась, что вдруг дунет ветер — и Вадька исчезнет.

2

Вон он, наш двор — белый от солнца, с высокой голубятней посередине, пыльными разводьями от колес и разномастными железными гаражами. Конечно, белье сушится на веревках, загорелая ребятня гоняет резиновый мяч и кто-то из жильцов лупит со всего маху палкой по ковру, стоя в облаке пыли.

Вот он, наш палисадник — со скамейкой, пожухлыми цветами на клумбе и кистями зреющего винограда.

Вот он, наш подъезд — с поломанными почтовыми ящиками, замусоренной лестницей, грязно-голубыми стенами и трубами газовой сети.

Да уезжала ли я отсюда? Может, заснула и проснулась — только и всего?

Вадим ногой толкнул незапертую дверь и вошел; я следом.

Хотя был будний день, самое рабочее время — одиннадцать часов,— отец оказался дома. У него так бывает: то уезжает рано утром на свои строительные объекты и возвращается затемно, то никуда не спешит.

Он спал в майке и брюках на веранде на сколоченном деревянном топчане. Лежал на спине, разбросав руки, тяжело, со свистом дышал. Большой, тяжелый... сильные плечи... широкая грудная клетка... Темное от загара лицо с крупными чертами... короткая стрижка... лоб взмок от пота...

Вадька на кухне разгружал картошку в картонный ящик. Я огляделась. Все то же. Желтые, масляной краской выкрашенные отцом стены, светло-зеленый стол, на нем пустая бутылка из под портвейна и надкусанная редька; посудный шкаф, полки на металлических стержнях (тоже отцовская работа); в раковине немытые тарелки... Я взяла чемодан, пересекла опять большую комнату, застеленную паласом, с тахтой, телевизором на высоких ножках и «стенкой», и прошла к себе. Все то же! Моя тахта, мой письменный стол, бельевой шкаф; те же желтые узоры обоев, желтые шторы. Открыла форточку, села на тахту и пригорюнилась.

А что я, собственно, ожидала? Какие изменения могли тут произойти? Дура, дура! Зачем вернулась? Почему не воспользовалась приглашением Максима? Трусиха несчастная — вот я кто!

Душ немного взбодрил меня. Когда я вышла из ванной комнаты в халате, с полотенцем через плечо, отец уже сидел на кухне перед новой бутылкой вина и хрустел той же редькой. Около газовой плиты стояла мама (рано что-то прибежала на обед со своего масложиркомбината), а Вадька мыл посуду под краном. Все были в сборе.

— А! Явилась, не запылилась! — громко и добродушно приветствовал меня отец.— Ну, покажись!

Дай на тебя взглянуть. Смотри, мать! Мы-то думали, дочь пеплом голову посыпает, а она как огурчик. Вроде с курорта вернулась!

Мама вытерла руки о фартук, шагнула ко мне — обнять, что ли, хотела? — но остановилась и горестно сказала:

— А что ей! Это мы с тобой переживаем, ночи не спим, а ей все трын-трава. Поболталась и довольна.

В груди у меня прошел холодок. Началось!

— Ну, дочь, что стоишь? Мы тебя заждались. Обними отца, поцелуй мать, как положено.

— Обойдешься,— сказала я. Подошла к матери и чмокнула ее в щеку.— Здравствуй.

Она вся скривилась, махнула рукой.

— А ну тебя! Одно мученье с тобой!

— Меня, значит, не приветствуешь? — с прежним добродушием и широкой улыбкой спросил отец.— Не заслужил?

— От тебя перегаром несет за версту. Я еще на автобусной остановке почувствовала.

— Да ну? — удивился он.— А ты бы хотела, чтобы от меня, как от клумбы, пахло? Чтобы я вкалывал с утра до вечера, деньгу зашибал, тебя кормил — и был чистенький и благоухал? Так, что ли? Нет, дочь. Я человек рабочий. Ты уж извини. Рабочая кость. Умею работать, умею отдыхать. Правильно, Вадим?

Вадька тер ершом тарелку с таким ожесточением, будто хотел отмыть розовые цветочки на ней.

— Сын, слышишь, что говорю? Умей работать, умей отдыхать. Умей учиться, умей веселиться. Так или нет?

— Так, отец, так,— поспешно ответила за Вадьку мама.

— Ну что, Ленка, делать думаешь? Да ты садись, не в гостях. Расскажи нам, какие у тебя перспективные планы? Какие обязательства возьмешь перед семьей? Порадуй нас.

— Пойду работать, не волнуйся. На твоей шее не буду сидеть.— Я чувствовала, что завожусь. Закусила губу. Привалилась плечом к косяку.

Отец отпил полстакана, сочно хрустнул редькой.

— Работать пойдешь? Молодец. Хорошо,— одобрил он.— А куда?

— Найду, куда. Без твоей помощи.

— Найдешь, куда. Без моей помощи. Слышишь, мать? Здóрово излагает, а?

Мама стояла, скрестив руки на фартуке, поджав губы,— невысокая, с гладко причесанными волосами, темноглазая, аккуратно одетая,— и смотрела на меня с жалостью и негодованием.

— Нет уж, Лена,— быстро заговорила она.— Ты по-своему уже один раз сделала. Слетала, прогулялась, протранжирила деньги. Теперь будет, как мы решим. Хватит с нас твоих фокусов!

Дзынь! Вадька выронил чашку в раковину, и чашка разлетелась на мелкие осколки. Мама вздрогнула.

— О господи! Безрукий какой... Лучше бы не брался.

— Ничего, мать, ничего,— забасил отец.— Это, говорят, к счастью. Нам, Ленка, от тебя ничего не надо. Сами не бедняки, без твоих денег проживем. Ты себе на тряпки заработай — и хорошо. Так, мать?

Мама сморщилась, быстро-быстро замигала и закивала: так, мол, так.

Они будто забыли, что я стою и слушаю их. «Зачем приехала, зачем? — твердила я себе.— Дура, дура набитая!»

Вадим побросал осколки в ведро и повернулся. У него подрагивали губы.

— Хватит вам! — резко и тонко выкрикнул он.— Ленка, хочешь есть?

— Ни черта я не хочу! — вырвалось у меня.— А вы знайте... Я себе работу выберу такую, какая мне по душе, а не вам! И жить у вас долго не собираюсь! — Ведь клялась себе, что лучше язык откушу, чем буду с ними спорить...

Отец вскочил, побагровев. Мама испуганным жестом вскинула ладони к щекам.

— Ты что?! Опять за свое? — рявкнул отец.

— Господи! Бессовестная!

— Ленка, уходи отсюда! — завопил Вадим, сжимая кулаки.— Замолчите все!

В своей комнате из-за закрытой двери я слышала, как бухал голос отца, взлетал Вадькин фальцет, причитала мама. Я повалилась на тахту, заткнула уши, сунула голову под подушку. Какая замечательная тишина! Только в висках стучит. И мысли колотятся: «Опять! Опять! Все снова! Все сначала! Зачем приехала, зачем?»

Ворвался Вадим.

— Слушай... я тебя предупреждаю... заткнись! Не могу вас слушать! Безумцы, а не люди! Делай, что хочешь, только заткнись!

И умчался, как пришпоренный, на свою веранду. Я не успела ничего влепить ему в ответ.

3

Не помню, сколько дней прошло,— они для меня слились в один. Я перестирала все свои вещички, перегладила, навела порядок в комнате — вообще старалась чем-то себя занять. Странное дело: меня не тянуло к приятелям. Даже Федьку Луцишина не хотела видеть, а уж он потащил бы меня кудань будь в компанию или на танцы. Успею, говорила я себе, успею!

Я все кляла себя, что отвергла «идею» Максима... Почему, почему?

Ладно, не стоит об этом думать, решила я в очередной раз. Вот завтра пойду устраиваться на работу, и все наладится. Но каждый день откладывала: завтра, завтра... Мысли у меня были какие-то неряшливые, разбросанные.

В воскресенье вечером я собралась к Сонькиным родителям. Только вышла в прихожую, зазвонил телефон — он у нас там стоит на тумбочке. Я подняла трубку, услышала: «Можно позвать Лену?» — и обмерла. Этот голос... негромкий, мягкий... Я сразу его узнала. Но все-таки не поверила.

— Слушаю. Кто говорит?

— Лена, вы? Привет! Помните такого человека по имени Максим? Как бы нам встретиться?

У меня почему-то дыхание перехватило... Я переложила трубку из руки в руку.

— Здравствуйте.— Я не смогла сказать «Максим».— Откуда вы взялись? Чудеса!

Он негромко засмеялся.

— Ничего чудесного. Сам напросился в командировку, только и всего. Так как насчет встречи?

— А где вы сейчас?

— Где я? Постойте, оглянусь. Слева кафе. Называется «Ёшлик». Справа скверик или парк. Сам я в телефонной будке. А вообще-то остановился в гостинице «Турист».

— Знаю, знаю, поняла! Ну, что ж, давайте... давайте встретимся.

— Отлично. Когда? Где?

Я покосилась: мама стояла в дверях кухни с половником в руке.

— Да хоть сейчас! — громко проговорила я.— Стойте на месте, я вас найду.

Максим сказал: отлично, он будет стоять, не шелохнувшись. Он ждет.

Я повесила трубку.

— Куда это ты лыжи навострила? Кому это ты свидание назначаешь, интересно знать мне? — както певуче спросила мама.

— А ты зачем подслушиваешь? Одному человеку,— ответила я, засовывая ноги в босоножки.

— Лена, пожалей себя. Меня пожалей, пожалуйста. Папа такое устроит, если ты надолго задержишься... Вадим, скажи хоть ты ей! Меня не слушает,— пожаловалась мама. Брат как раз вышел со своей веранды.— На какое-то свидание бежит неизвестно к кому.

— Ну и что? — сразу вскипел Вадим.— Первый раз, что ли? Она с семи лет на свидания носится! Я виноват, что она такая безмозглая? Пускай бежит!

— Сам ты безмозглый, братик...— нежно прошептала я ему и выскользнула из квартиры.

Почему я так обрадовалась? Ну, был какой-то Максим! Был и сплыл. И вот опять появился. Ну, и что из этого? Чего я несусь, как сумасшедшая, чуть босоножки не теряю?

Наверно, все дело в том, размышляла я на бегу, что он для меня сейчас вроде «Скорой помощи». Звонок — «Вы заказывали неотложку?» — прибыла!

На повороте к кафе «Ёшлик» я замедлила шаг. Максим стоял около телефонной будки, прислонившись к ней плечом. Издалека увидел меня, махнул рукой и пошел навстречу.

Он показался мне выше, чем в первый раз, и моложе. На нем были джинсы, серая рубашка, зауженная в поясе, с расстегнутым воротом. Легкие русые волосы рассыпались по голове... Бородка слегка взъерошена.

— Привет! Быстро ты.— Опять он перешел на дружеское обращение.

Я беззаботно улыбнулась ему в ответ и сказала, что если обещаю, то никогда не заставляю себя ждать. Максим, усмехнувшись, похвалил такую точность.

— Ну, что будем делать? — приветливо спросил он, приглядываясь ко мне, словно стараясь понять: та ли я, какой была, или уже другая? — Есть несколько вариантов. Можно, например...

— Вы надолго здесь? — перебила я его.

— Не «вы», а «ты».

— Ты надолго здесь? — нервно повторила я.

— Еще не знаю. Приехал заключать договор с вашим трестом. Слышала об АСУ? — Он поморщился.— Это неинтересно.

Зря он так думал, что неинтересно. Я слушала внимательно, даже позавидовала ему: вот есть у человека свое дело. Захотел — и прилетел в командировку. Как хорошо! Вольная птица!

Мы перешли улицу и свернули в глухой переулок.

— Как у тебя дела? — спросил Максим и обнял меня рукой за плечи.

Я не отстранилась, не пискнула. Только сердце сильно стукнуло, даже больно стало.

— Да что я! Собираюсь работать. Пойду в детский сад. Тошно здесь, вот в чем дело! Не смотрела бы ни на что. Я тут родилась, понимаешь? Я, может быть, тысячу раз ходила по этой улице. Тощища!

Его рука крепче сжала мое плечо. Он заглянул мне в лицо, негромко сказал:

— Дело не в городе. Это ерунда. Все города, в сущности, одинаковы. Дело в том, что жизнь вообще тоскливая штука. А бывают такие моменты, хоть вешайся.

— Вот именно! В петлю охота!

Он засмеялся.

— Только не сейчас...

— Нет, в самом деле! — разгорячилась я.— Вот училась в школе, все было ясно. А сейчас вдруг какая-то тьма. Ну, поступлю работать, а дальше?

— Потом попробуешь снова в институт.

— Потом в институт, ладно. А дальше? Умру?

— Когда-нибудь, безусловно. Не так скоро.— Он говорил вполне серьезно: почувствовал мое состояние.

— Нет, скоро! Мне уже восемнадцать. Не успею очухаться — старуха. Я думаю: для чего? Для чего все это — учеба, работа, скандалы, радости? Какой в этом смысл? Все равно ведь стану старухой и умру! Да разве только я? Сейчас на земле сколько людей? Больше четырех миллиардов? Через сто лет все до одного... ну, кроме каких-нибудь долгожителей... будут в земле. Все! Это же страшно.

— Нет, просто грустно.

— А мне страшно! Зачем я вообще родилась? Зачем я сейчас иду, разговариваю? Зачем, например, мы с тобой встретились? Все равно ты уедешь. Все равно умрем. Какая-то бессмыслица! — быстро, гневно проговорила я, остановившись.

Максим взял обеими руками меня за плечи, приблизил лицо.

— Послушай... можно я тебя поцелую, пока мы живы?

— Можно!

С Федькой Луцишиным было по-другому. Еще в девятом классе он завел меня в темную беседку и накинулся, чуть шею не свернул. От него отбиться было непросто, и я прокусила ему губу — лишь тогда отпустил. А тут пальцем не пошевельнула, чтобы освободиться,— и не хотела. Целая вечность прошла, пока он отстранился. Голова у меня слегка кружилась. Я пробормотала: «Ничего себе...»

Мы смотрели друг на друга. У Максима были какие-то странные, тревожные глаза. Мимо проехал с оглушительным треском мопед с двумя парнями, волочащими ноги по земле. В переулке вспыхнули фонари.

Он опять взял меня за плечи и спросил:

— Ты меня вспоминала?

— Да. Много раз.

— Я тоже. И вообще, знаешь, у меня здесь нет никакого дела. Я просто взял отгул и прилетел. Чтобы тебя увидеть. Только ради этого.

Кто бы поверил на моем месте? Я поверила мгновенно. Что угодно думайте — хоть умрите от смеха! — но я и сейчас убеждена: он не врал. Чистейшая, светящаяся правда! Он приехал ради меня.

В одиннадцать ночи я позвонила домой из гостиницы. Хорошо, что не поставлены еще всюду видеотелефоны! А то сколько бы у родителей было преждевременных сердечных приступов!..

— Мама, это я. Сегодня меня не ждите. Я в одной компании и здесь у девчонок переночую.

Максим включил телевизор, чтобы создать иллюзию этой самой компании.

Мама ответила, как полагается в таких случаях:

— Какая еще компания! Ты что, с ума сошла? Немедленно иди домой!

— Нет, я же сказала. Не могу я прийти. Пойми, пожалуйста, и не ругайся.

— Где ты? У кого?

— У Юльки Татарниковой. (Вот вру, вот вру!)

— Где она живет, твоя Юлька?

Ну да, скажи ей, а она, чего доброго, прикатит к Юльке на машине...

— Зачем тебе это, мама? Это не важно. У нее и телефона нет. Я от соседей звоню. Я жива — и все.

Вдруг мама замолчала, и раздался голос отца:

— Ты что это, дочь, домой не собираешься возвращаться? — Он, наверно, вырвал трубку. Голос был трезвый.

— Нет, я приду. Только не сегодня. Сегодня задержусь.

— А кому ты завтра нужна? Кому? — загремел отец. Даже Максим услышал и беспокойно приподнялся на локте.— Если сегодня не придешь, можешь и завтра не являться, поняла?

— Как не понять, папа. Поняла.

— Вот так! — скрепил отец. Пошли частые гудки.

Максим дотянулся до телевизора и выключил его. Некоторое время мы молчали.

— Смелая ты...— пробормотал он. Обнял меня и поцеловал тихо-тихо, как спящего ребенка.

Я почувствовала такую нежность к нему, даже дыхание перехватило. А страха, раскаяния не было никакого. Только сильная нежность и радость. И что-то будто случилось с глазами: я стала вдруг видеть в темноте. Или темнота превратилась в солнечное, пылающее утро, когда все просто и ясно, и легкость духа поднимает над землей?

Максим нашарил на стуле сигареты и спички. Закурил и сказал:

— Послушай... самое время тебе спросить, женат я или нет.— Я молчала, улыбалась в темноте.— Ну, спрашивай! — настаивал он.

— А зачем? Зачем мне это знать?

— Хотя бы из любопытства.

— Хорошо. Ты женат или нет?

— Женат.

В груди у меня что-то оборвалось, хотя именно такого ответа я и ожидала.

— Теперь спроси, есть ли у меня дети,— помолчав, предложил он.

— Нет, не хочу.

— Тогда я сам скажу. У меня мальчишка двух лет.

Я закрыла глаза. Вот теперь стало темно. Не потому, что закрыла глаза, а от его слов. Он продолжал:

— Я не живу с семьей. У моей жены есть другой человек, понимаешь? Я развожусь с ней. У нас была не жизнь, а свинство. Неважно, кто виноват. Наверно, оба. Сына жалко, но ничего не поделаешь...

Когда все случилось, я не вспоминала об отце и матери. Забыла о них. А сейчас ясно услышала их негодующие голоса: «Дура! Дура!» Даже, кажется, ощутила боль от пощечин... Тряхнула головой, чтобы отогнать это наваждение, и спросила:

— Зачем ты мне это говоришь?

4

Утром, часов в десять, когда отец и мать, по моим расчетам, были на работе, я пришла домой. Дверь открыл Вадим. Отступил в сторону и вяло, без удивления и радости сказал:

— А, ты...

У него был такой вид, будто он не спал всю ночь. Глаза красные, усталые, лицо помятое. Меня пронзила жалость. Достается ему! Вчера, конечно, был скандал, и он отсиживался на своей веранде, а может быть, и его вовлекли... Называется, приехал отдохнуть!

— Ты уж извини, Вадька...— начала я.

Он скривился, махнул рукой — отстань, мол! — и ушел в ванную комнату. Я сняла босоножки, прошлепала на кухню и стала его ждать. Мне не терпелось выложить ему свои потрясающие новости и увидеть, как он раскроет рот от изумления... Конечно, будь он повнимательней, сразу бы увидел, что со мной что-то произошло, что вся я сияю, как глазурный пряник.

Наконец он появился. Волосы его были мокрыми. Голову, что ли, держал под водой? Направился было на веранду, но я его остановила:

— Вадька! Мне надо тебе что-то сказать. Это очень важно. А ты, пожалуйста, передай маме и отцу. Так будет лучше. Ну, вот.

— Да говори, не тяни,— поморщился он.

— В общем...— Я сглотнула слюну, улыбнулась.— Ты только не пугайся, ладно? Я замуж вышла.

Мой брат не испугался — это не то слово и не то состояние. Он просто помертвел. Стал серый-серый, глаза застыли, а без того худые щеки впали. Узкие плечи приподнялись.

Испугалась я. За него. Молчал он, наверно, с минуту, но сказал очень точные слова:

— Когда ты успела?

Вот именно: не «за кого?», а «когда ты успела?» Его потрясла жуткая скоропалительность события, и в этом он открылся весь, как на ладони.

Насколько я знаю, единственной Вадькиной пассией была в свое время девчонка-восьмиклассница, которую он, по-моему, и за руку-то ни разу не взял, не говоря уж о поцелуях. Позднее я допытывалась во время его наездов домой, не завел ли он романа в институте, но всегда наталкивалась на болезненную стеснительность и злость: отстань! Что касается моих подруг, то он обходил их, как зачумленных, и называл «глупыми курицами» (несправедливо, кстати, по отношению к Соньке). И вот я ему такое выдала, и он вымолвил: «Когда ты успела?»

— Тебе точное число надо? Вчера. А познакомилась с ним в Ташкенте.

— Вре-ешь!

— Нет, не вру, Вадька.— На него было жалко смотреть: такой он был потрясенный, сбитый с толку.

— Ты что, Ленка... одурела или как?

Я не хотела уклоняться от правды.

— Немножко, конечно, одурела. Даже сильно. Но я не жалею, Вадька! Ты посмотри, какая я счастливая! — Так я ему популярно объяснила.

Брат повернулся и молча пошел на веранду. Я побежала за ним, словно собачонка. Он сел на свой топчан, закурил; глаза зло заблестели, лицо заострилось.

— Ну, давай выкладывай!

— А что тебя интересует? — робко спросила я.

— Все!

— Ему двадцать пять лет. Зовут Максимом. Он программист в научно-исследовательском институте. Живет в Ташкенте. Родители в Ангрене. Что еще? Очень красивый. С бородкой.

— Плевать мне на его красоту и бородку! Как у вас все получилось?

— Да, понимаешь, пошли мы с Сонькой в ресторан отмечать ее поступление...

— Плевать мне на твою Соньку! Я хочу другое знать. Как можно за день выскочить замуж?

— Я еще не вышла замуж. Формально не вышла. А фактически... Дело в том, что он женат. Но с женой уже не живет. И в ближайшие дни разведется. Тогда мы поженимся, понимаешь?



Я сама начинала злиться. В конце концов, кто передо мной — брат мой Вадька, всегда все понимающий и сочувствующий мне, или отец?

— Все получилось быстро и внезапно. Как тебе объяснить? Внезапно и быстро. Это не объяснишь. Я сама еще не все понимаю.

— Втрескалась в него, да? — окрысился Вадим, показывая свои неровные, некрасивые зубы.

— Хочешь сказать — влюбилась? Вначале нет. Так, понравился. А сейчас — да. И он тоже.

— Что «тоже»?

— Понемножку влюбляется...— неуверенно ответила я. И тут же меня ожгла радостная мысль о Максиме: ждет меня, я увижу его снова!

— Почему он не пришел? Где он?

— Где он — неважно. А прийти он хотел. Но я ему сама запретила. И правильно сделала. Если уж ты...

Брат перебил меня:

— Знал, что ты вертихвостка, Ленка, но что такая!..— Он не успел закончить, как я крикнула:

— Замолчи немедленно! Что ты понимаешь? Ты ни одну девчонку не целовал! Нашелся моралист! Влюбись хоть раз, тогда рассуждай!

— Нужны вы мне! — ответно завопил Вадька.— Все вы глупые курицы! Я вас всех ненавижу! Вам бы только бородку да усы! А потом кудахчете: ах! ах! С животами и без мужей. У нас в институте таких полно! И ты не лучше. Твой хахаль в душе смеется над тобой!

— Не смей называть его хахалем! Не смей говорить, что он смеется! Ты его в глаза не видел!

— Я других видел, подобных. Где ты будешь жить с ним?

— Где-где! В квартире, конечно. Не на улице же. Жена должна вот-вот уехать. А он пока у друзей. Поженимся, тогда я пропишусь. Ясно?

Он весь сморщился, словно от боли. У меня мелькнуло: сейчас заплачет. Черта с два!

— Неужели у тебя нет мозгов, Ленка? Я думал, ты умная, гордая...

— Правильно думал. Я умная, гордая. Я не боюсь жизни, как ты. Максим не первый встречный. Он мой дол-го-ждан-ный! Я, может быть, еще в детстве о нем мечтала. Откуда тебе знать!

— А Федька Луцишин? Тоже долгожданный?

— Ох, и простофиля ты! Конечно, нет. Он мог бы сто лет вокруг ходить и ничего бы не добился.— И я задумчиво добавила: — Максим — это судьба, Вадька. Так уж мне суждено. И ты меня не ругай, пожалуйста.

Он посмотрел с какой-то брезгливостью, даже губы скривил. И сказал медленно, обдумывая:

— С тобой бесполезно говорить. В тебе бушует физиология. Он тебя бросит. Бросит, поняла?

Секунду смотрела я на его скривившиеся губы, повернулась и пошла. Когда он опомнился и закричал: «Ленка!» — уже было поздно, я выскочила из дома.

5

Максим ушел за билетом в агентство Аэрофлота. Я приняла душ и вышла на балкон подышать воздухом. Было свежее ясное утро, как всегда осенью. Небо еще нежаркое, в легкой дымке; улицы омыты поливальными машинами. Напротив, в скверике около чайханы, горит хворост в глинобитной печи, где вскоре начнут печь самсу. Киоскерша внизу раскладывает на прилавке газеты и журналы. Продавец в белом халате снимает замок с пивной цистерны. Деревья еще не тронуло желтизной, только в ноябре они завалят листьями арыки.

Кто сказал, что наш городок грязен и некрасив? Ничего подобного. Очень даже славный, уютный городок! Я глубоко вздохнула и увидела, что к газетному киоску подошла Сонька. Да, это была она — низенькая, толстая, в брюках и яркой кофточке.

В две минуты я скатилась вниз по лестнице и вылетела из гостиницы. Сонька уже отошла от киоска, разглядывая журнал мод. Я догнала ее и хлопнула по плечу.

— Приветик!

Она охнула и вся осела от неожиданности.

— Ленка! Ты?

— А кто же? Конечно, я. А ты откуда взялась?

— Приехала на пару дней. Нас на хлопок направляют. Ленка, Ленка! Ох, и свинья ты! Как тебе не стыдно! Я тут с ума сошла... Ну, как ты? Ну-ка, покажись! Дай посмотрю на тебя!

— Смотри, пожалуйста.

Я отступила на два шага, подбоченилась, отставила в сторону ногу и улыбнулась на все тридцать два зуба, как какая-нибудь кинозвезда. Я знала, что выгляжу отлично, замечательно, одухотворенно. Недаром Сонька восхитилась даже с завистью:

— Какая ты!.. Как будто светишься вся...— И тут же ее мимолетная зависть уступила место нестерпимому любопытству.— Ну, как ты? Ну говори же! Ты бы знала, как я переволновалась! Ленка, Ленка! Ты с ума сошла! Ты чокнутая! Ты знаешь, что твой брат к нам приходил?

— Вадька? — поразилась я.— Когда?

— Вчера. Нет, позавчера. Он тебя по всему городу разыскивает. За руку схватил, вот так...— Она больно вцепилась в меня.— Кричит: «Где Ленка?» А я говорю: «Не знаю». Он кричит: «Как не знаешь! Врешь! Говори!» А я ведь правда не знаю. Ленка, Ленка! Он мне все сказал. Неужели это тот?

— Тот.

— С бородкой? Максим?

— Максим.

Сонька отшатнулась, выкатила на меня глаза и рот приоткрыла.

— Очуметь можно...— прошептала она.— Твой брат как сказал, что с бородкой, я сразу поняла, кто. Но не поверила. Как я могла поверить, что ты! А он твердит: «Ты должна знать его адрес или место работы». Представляешь?

— Он меня оскорбил... дурачок.

— Знаешь, и меня тоже! Совсем распсиховался. А чем я ему могла помочь, скажи? Ленка, ну как ты? Ну, говори же! Ну! — Она даже ногами засучила от нетерпения.— Замуж вышла?

— Почти.

— Как «почти»?

Минут десять рассказывала я ей о встрече с Максимом. Сонька то замирала, то всплескивала руками, то охала, то вскрикивала — словом, была сама не своя. Под конец она обессилела от переживаний.

— Нет, Ленка, ты просто ненормальная. Он сказал, что ли, что любит? Или как?

— Простофиля ты! Я почувствовала. Понимаешь, почувствовала. Тебя током бьет — ты чувствуешь? Вот так же.

Сонька судорожно глотнула воздух, зябко повела плечами. Может быть, ее никогда не било током, кто знает. Я понимала, какой вопрос висит у нее на языке, но она не осмеливалась задать его напрямую... То откроет рот, то закроет.

— Хочешь знать, когда мы стали близки?

— Да-а...

— В первый день. Здесь.

Она вскрикнула:

— Ой! Как ты могла! Ужасно!

Меня вдруг взбесило это испуганное «ой», это чистоплюйское «ужасно»! Не Сонька ли порывалась — хоть и не совсем в здравом уме — поехать с пошлым Махмудом бог знает куда? Разве она не представляла, что из этого может выйти? Неужели думала, будто тот южанин ограничится галантным поцелуем ее ручки перед дверьми общежития? Не она ли даже институт выбрала специфический? Я подумала: сколько же в человеке скрытого страха перед простой реальностью жизни! Какие жуткие условности, как высокий забор, нас ограждают и не дают взглянуть на белый свет прямо и открыто!

— Вот что я тебе скажу, Сонька.— Я оглянулась: нет ли кого поблизости? — Заруби себе на носу...— Сонька машинально ухватилась за свой огромный нос.— Я себя не позволю осуждать! Ошиблась я или нет — мое дело. Нотации всякий может читать. А любить по-настоящему — раз-два, и обчелся! Ты сто раз отмеришь, прежде чем замуж выйдешь, знаю тебя. Это любовь?

— Да чё ты, Ленка, чё ты...—забормотала она, напуганная моей вспышкой.— Что я такого сказала?

— Я лучше ошибусь, чем безошибочно, как отец с матерью. Безошибочно двадцать два года друг друга мучают. Зато их сватали честь по чести, сами рассказывали. «Ах, на другой день!» Ну, и что? Где написано, что это должно случиться на двадцатый день или на сто первый? Меня что-то толкнуло. А ты будешь выбирать и останешься ни с чем. Вот тебе!

Сонька все могла простить, любую обиду, но ее нельзя было лишать надежды на счастливое замужество. Она вся побагровела, запылала.

— Издеваешься, да? Вот ты какая, Ленка! Не знала я, что ты такая! — И пошла решительно прочь.

— Сонька! — закричала я ей в спину.— Я скоро в Ташкенте буду!

Она даже не оглянулась, свернула за угол. Брата я потеряла, теперь рассорилась с подругой...

Мрачная и расстроенная, я дожидалась Максима. Бранила себя и укоряла за резкость, порывалась позвонить и извиниться перед Сонькой, но только еще сильней разозлилась на нее.

Как она посмела меня осудить! Что за мания у людей лезть к тебе в душу с наставлениями! Самый безнадежный неудачник никогда не упустит случая дать совет, как нужно жить. Я слышала, что мой отец внушал однажды за доминошным столом какому-то хмырю: много пить вредно... Мою маму хлебом не корми, дай порассуждать о женском достоинстве и гордости. Это при ее-то рабской зависимости от отца!

Может быть, думала я, таким образом люди стараются лучше выглядеть в своих глазах, рвутся к недоступным им идеалам? Нет уж! Меня не прельщают такие приемы самоусовершенствования. Куда полезней осуждать и казнить саму себя, чем быть моралистом-наставником для других. К черту тебя, Сонька! Испытай с мое!

На следующий день я поехала провожать Максима в аэропорт. Два часа быстрой езды в битком набитом автобусе — жара, чьи-то мешки в ногах, мелькающие мимо хлопковые поля, грязные жгуты занавесок на окнах... Вот что запомнилось. Всю дорогу мы не могли сесть и почти не разговаривали.

Приехали к концу регистрации билетов.

— Послушай! — как-то испуганно сказал вдруг Максим.— Может, это глупость, что ты остаешься? Где-нибудь устроились бы...

Я покачала головой.

— Нет, пусть будет, как договорились.

А договорились мы так: едва уезжает его жена и освобождается комната, он меня вызывает. Я, конечно, села бы в самолет хоть сейчас, без чемодана, без всего, даже не попрощавшись дома, но не хотела быть ему на первых порах обузой... У меня защипало глаза, дрогнули губы, сердце заныло.

— Максим, ты знай... я тебя люблю.

Первый раз вслух произнесла это слово. Носила его, как тяжкий и сладкий груз, который хотелось и передать ему и оставить себе на веки вечные... Такая уж это ноша: и к земле гнетет, и поднимает над землей, будто крылья. Кто испытал, тот знает.

Глаза у него растроганно блеснули.

— Мы расстаемся самое бо̀льшее на неделю. Я буду звонить. Я тебя люблю, Белка.

(Только со вчерашнего дня я стала для него Белкой; за живость мою, что ли, он меня так назвал...)

Максим наклонился — его губы коснулись моих, бородка защекотала мне подбородок. Пассажиры уже шли по полю, и он побежал, высокий и стройный, оглядываясь и махая мне рукой.

На обратном пути в автобусе было свободней. Я заняла место, прислонилась головой к стеклу. Закрыла глаза и снова увидела, как он бежит по полю, оглядываясь и махая рукой. Так тяжело стало, невыносимо — хоть вой. Но автобус разогнался, мягко закачался. Я подумала: «Всего неделя»,— и провалилась в сон.

Проснулась от толчка в плечо. Пассажиры выходили, и соседка, улыбаясь, говорила мне:

— Приехали!

Правда, мы стояли на знакомой площади, по-всегдашнему залитой солнцем. Отсюда было десять минут ходьбы до дома. Я вышла из автобуса, и вдруг ноги отказали. Стою — и не могу двинуться с места. В сторону дома. А в противоположную — пожалуйста, хоть бегом! «Да чего я боюсь?! — прикрикнула я на себя.— Кто они мне, в самом деле,— родные родители или ненавистные враги? Разве я несовершеннолетняя? Какое зло я совершила, какое преступление на моей совести? Что я стою и дрожу? Для кого же светит это солнце, распахнуто это небо, если не для нас, живущих?»

И пошла. Прохожие поглядывали на меня с удивлением: что это с ней? Потому что я шагала, вздернув голову, задрав подбородок, с улыбкой на губах.

Смотрите, пожалуйста! Я живая! Я люблю! Я никого не боюсь! Но я еще не знала, что меня ждет...

В нашем дворе соседка, хромоногая тетя Лида, развешивала белье. Я ее бодро поприветствовала:

— Здравствуйте, тетя Лида!

Она вынула прищепку изо рта, пригляделась ко мне и вскрикнула:

— Ленка! Ты что, ничего не знаешь?

Улыбка слетела у меня с губ.

— Нет... А что?

— Беда же у вас! Твой отец разбился! В аварию попал!

Секунду я стояла, осмысливая ее слова, потом кинулась в подъезд.

(Продолжение следует)





АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

Анна, друг мой...

Анна, друг мой, маленькое чудо,
У любви так мало слов.
Хорошо, что ты еще покуда
И шести не прожила годов.

Мы идем с тобою мимо, мимо
Ужасов земли, всегда вдвоем.
И тебе приятно быть любимой
Старым стариком.

Ты — туда, а я уже оттуда,
И другой дороги нет.
Ты еще не прожила покуда
Предвоенных лет.

Анна, друг мой, на плечах усталых,
На моих плечах,
На аэродромах, и вокзалах,
И в очередях

Я несу тебя, не опуская
Через ту, прошедшую войну,
Постоянно в сердце ощущая
Счастье и вину.

☆☆☆

Палаццо — это как палатки,
В которых те же неполадки.

По берегам сезонный гам,—
Здесь Биарриц, здесь Ницца, Канн.

Здесь волны моря громыхают,
Здесь люди с горя отдыхают,
Стоят палатки возле скал.
Здесь по утрам, в молчанье строгом,
Идет на пляже тяжба с богом:
Один присел, другой привстал...

Но тяжбы с богом бесполезны.—
Здесь все болит и все болезны,—
Из рая изгнана чета.
И тот, кто думает о пользе,

Об этом пожалеет после,—
Не стоит польза ни черта.
О пользе думать очень вредно,—
Все это не пройдет бесследно,—

Так следуй опыту отца:
Пока сучится нить живая,
Жизнь до последнего конца
Искусственно не продлевая.

Два стихотворения

1

Я тебе рассказывать не буду,
Почему в иные времена
Мыл на кухне разную посуду,
Но и ты не спросишь у меня.

Разную посуду — мылом, содой,
Грязную — до блеска, до светла,
В пятый раз, в десятый раз и в сотый,—
А вода текла, текла, текла.

У других была судьба другая
И другие взгляды на войну,
Никого за это не ругая,
Лишь себя виню, виню, виню.

2

На воде из общего колодца
И на молоке из-под козы
Мы варили кашу, как ведется,—
Все другое — если бы кабы.
Мы варили так, а не иначе,
Нечего над кашей слезы лить,—
Каша перестанет быть горячей,
Перестанет каша кашей быть.
Если вы заботитесь о соли,—
Здесь и так немалый пересол.
Так что, mille pardon и very sorry,
Плачьте сами, ну а я пошел.

Благие порывы

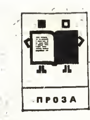
Многооконный дом, как было сказано давно,
Пригорок тот же и долина тоже та же.
Здесь ждут тебя. И светится одно окно
На бельэтаже.

В округе все твердят, что ты за пядью пядь
Позиции сдаешь, что все не так могло быть.
Ты перестала прямо к окнам дома нагло
подъезжать
И со всего плеча каретной дверцей громко
хлопать.

Карету оставляешь у ворот
(А то и за воротами) и кучера́ в недоуменьи,
И даже сквозь вуаль заметно, как ведет
Лицо твое, и под глазами тени.

Твоя карета кротко за воротами стоит,
И вы с хозяином почти молчите оба.
А в небесах сияет светлый стыд,
Или священная, по-деревенскому, стыдоба.

Ты будешь лучше жить. Ты перестроишь мир
и дом,
И станет бытие твое благословенно,
Благим подкреплено порывом и стыдом,
Которым ты в роду прославишь первое
колено.



АНАТОЛИЙ
ТОБОЛЯК

ОТКРОВЕННЫЕ ТЕТРАДИ

ПОВЕСТЬ

Тетрадь третья

1

Это случилось накануне вечером. Отец, пьяный, вывел машину из гаража (мама отправилась в магазин, а Вадим на почту) и куда-то умчался. Проехал он всего-то метров пятьсот, выскочил на перекресток при красном свете и врезался в трактор с прицепом, на котором обычно перевозят хлопок-сырец.

Все это я узнала позднее, а первое, что спросила, едва вбежала в нашу незапертую квартиру и увидела мать в кухне и Вадима в глубине веранды:

— Жив?

У мамы упали руки. Она опустилась на стул и заплакала. Вадим вышел в комнату, оскалился, как загнанный зверек, и произнес:

— Прибыла!

— Жив или нет?

Отец был жив.

Мама, сказав это, продолжала сидеть на стуле с потерянным видом. Вадим яростно ногтями расчесывал голое плечо; он был в майке и спортивных брюках.

— А тебе вроде не все равно! — подал он голос.

Я закричала, чтобы он немедленно заткнулся. Мама заговорила скорбно, тихо:

— К нему не пускают, дочка. Он очень плох, наш папка...

Мне сдавило горло от жалости. Я не узнавала ее. Она постарела лет на десять: волосы не причесаны, висят прядями, нос заострился, в углах глаз морщины... Моя мама — старуха!

Не знаю, как получилось, что я подошла к ней, обняла, прижавшись щекой к ее щеке, и мы обе в голос заплакали. Вадим повернулся и ушел на веранду.

— Ох, дочка, дочка, какая беда у нас! — приговаривала мама.

Откуда у нее этот голос, расслабленный, заунывный, дребезжащий? Откуда взялось это слово «дочка», которое я сто лет уже не слышала? А ее руки! Они обнимали меня, гладили по спине, и мне было просто жутко, как будто время помчалось вспять, перед глазами замелькала серая полоса годов и дней, и я стала той пятилетней девчонкой, которую во дворе обидели, а дома приласкали...

Кое-как мы наконец успокоились и смогли разговаривать.

Состояние отца было тяжелое. Он разбился дико, безобразно. Врачи говорили, что нужно быть готовыми ко всему.

— Я уж думала, уехала ты...— закончила мама, жалобно всхлипнув.

— Нет, я была здесь. Никуда не уезжала.

— Есть, наверно, хочешь? Сейчас покормлю.

Рисунки
И. БОЛЬШАКОВОЙ.

Продолжение. Начало см. в № 4 за 1980 г.

О чем она беспокоилась! Я чуть опять не заревела от такой заботы.

Обеденный перерыв у нее закончился, и она так и ушла на свой масложиркомбинат, ни о чем меня не спросив. Словно ничего в моей жизни не произошло. Словно я вернулась в лоно семьи такая же, как была прежде. Или, может быть, рядом с большим горем мои события потеряли для нее всякое значение и смысл?

Я не могла есть. Раз-другой ткнула вилкой в жареную картошку и встала из-за стола.

Выскочив во двор, я оглянулась по сторонам, будто заплуталась, сбилась с дороги и не знала, куда бежать дальше. Солнце палило по-летнему. Я обогнула угол дома и очутилась на улице Конституции. Тут огромные тополя давали густую тень, но от грохота тяжелых машин и от выхлопных газов кружилась голова. Наискосок через серую, пыльную рощу, мимо спортивных площадок нефтяного техникума я вышла к ограде нашей городской больницы. На что я надеялась? Уж не на то ли, что в окошко высунется отец и окликнет меня: «Лена, я здесь!»

Конечно, меня к отцу не пустили, еще даже накричала медсестра, а врач, которая вышла в приемный покой, сказала уже известное мне: очень тяжелое состояние, ни о каких посещениях Соломина не может быть речи...

Около техникумовской спортплощадки протекал небольшой арычок. Я села на пыльную траву, сняла туфли и опустила босые ноги в прохладную воду. Меня подташнивало — от голода или всего пережитого, не знаю В голове была какая-то каша. То всплывала мысль об отце, то о Максиме, то о том, что каблук на туфле сбился... или вдруг привлекал внимание плывущий листок: далеко ли он уплывет? — и казалось, что он чем-то на меня похож, так же его несет и крутит...

Неожиданно кто-то подошел сзади. Я оглянулась: Вадим. В сандалетах, спортивных брюках и клетчатой рубашке навыпуск. Хмурый, с наморщенным лбом.

Я равнодушно отвернулась от него, как от случайного прохожего. А он постоял-постоял и сел рядом. Снял сандалеты, закатал брюки и тоже опустил ноги в воду. Помолчал и сказал:

— Сейчас в горах хорошо. Вот поправится отец, съездим с тобой, побродим.

Я потерла лоб ладонью.

— Поправится или умрет — неизвестно.

— Нет, он не умрет. Он сильный. Я думаю, он выздоровеет и начнет жить иначе,— негромко проговорил Вадим.

— Как это — иначе? — безучастно спросила я.

— Жизнь станет ценить. Поймет, что она у него одна.

— А до этого он думал — две, что ли?

— До этого он думал: побольше бы от нее урвать. Прожигал, как мог.

— Ерунда какая...— вяло возразила я.— Просто он никого не любит. А без этого хоть двадцать жизней, все равно бессмысленно.

Оба мы сидели, повесив головы, глядя в арык; на посторонний взгляд — две сонные, разомлевшие фигуры. Вокруг мы не смотрели и поэтому заранее не подготовились к приближающемуся стихийному явлению. Что-то сзади подхватило меня под мышки, подняло высоко в воздух, развернуло — и вот уже перед моими глазами хохочущая, крепкоскулая и коротконосая физиономия Федьки Луцишина.

— Ленка, ты ли это? Я смотрю: кто это сидит? Ты или не ты? А это ты! — заорал он и закрутил меня так, что ноги мои оторвались от земли, а платье надулось, как парус.

— Ну-ка отпусти,— попросила я, летая на этой карусели.

Он поставил меня на землю.

— Ух ты! Здорово! А твой брат говорил... Привет! — бросил он Вадиму, молча на него смотревшему.— Что ж ты трепал, что она не приедет?

Вадим промолчал; на горле у него двинулся кадык. Я оправила платье и все так же тихо сказала:

— Он тебе не врал. Я снова уеду. Больно-то не радуйся.

— Чего-чего? Куда это ты уедешь?

Федька стоял, подбоченясь, в белой тенниске, обрисовывающей его широкую грудь, крепкие плечи, бицепсы. Ноги твердо уперты в землю; здоровая, свежая рожа неунывающего, довольного собой балбеса... Я не выдержала и улыбнулась. Он тут же подмигнул мне.

— Вечером смотаем на танцы?

— Нет, Федька.

— Брось! Ты когда приехала?

— Неважно, когда я приехала. Ты на меня не рассчитывай, Федька. Ничего у нас не получится. Танцуй уж сам.

— Брось переживать! Подумаешь, не поступила! В армию тебя не заберут. Усманов вернулся, Длинный, Татарникова тут. У Длинного новый мотоцикл. Про Серого слышала?

— Нет.

— Серый под суд попал.

— Так ему и надо. Давно пора.

— Да, погорел Серый. Выбыл из нашей компании. А я поступил, слышала?

— Слышала. Поздравляю.

— За счет этого.— Он встал в стойку и быстро замолотил руками воздух.— Чувствуешь класс? Да! — вспомнил жгучую новость.— Старую танцплощадку закрыли. Теперь новая, около тира. В Доме культуры джаз сколотили. Жить можно, Ленка!

Вадим как-то нехорошо, болезненно усмехнулся. А меня вдруг такая жалость одолела, так бы и погладила по голове этого Федьку... Я лишь вздохнула и сказала:

— Мне теперь уже не до вас. Я замуж вышла. Так и скажи всем.

— Брось! — Он остолбенел.

— Нечего бросать. Правда.

— Ты... вышла? За кого?

Максим и он. Я на миг поставила их рядом и рассмеялась.

— За умного человека, вот за кого.

Луцишин стал медленно краснеть: сначала скулы, затем широкий крепкий лоб.

Наверно, он не понимал. Наверно, все промелькнуло перед ним — все наши скамейки, объятия, поцелуи, похожие на химические опыты, из которых не ясно, что получится,— и ему почудилось, что он действительно меня любил, а не просто убивал со мной время, как и я с ним... Кулаки у него сжались и разжались.

Вадим в одну секунду оказался между мной и им. Федька был красный, а мой брат бледный. Федька сразу встал в стойку.

— Давай! — вызвался он.

Но Вадим и не думал драться.

— Иди отсюда, Луцишин,— негромко попросил он.— Ты что, слепой? У нее от твоей знакомой только и осталось, что имя да фамилия. Я ее сам не узнаю, куда уж тебе. Шагай, Луцишин. Будь здоров.

Метров десять мы уже, наверно, прошли — я с туфлями в руках, а Вадька с сандалетами,— пока

неторопливый мозг Федьки переварил все, что нами было сказано, и нас настиг его голос:

— Эй, замужняя! Поздравляю!

Я остановилась и помахала ему рукой.

— В гости можно зайти? — орал Федька.

— Заходи, пожалуйста.

— Зайду!

Уверена, что он зашагал по своим делам в обычном добродушном и безоблачном настроении.

А мы брели, как странники в пустыне. Спустились в безводный бассейн, где раньше бесились лягушки, теперь же в швах между бетонными плитами затаились ящерицы; мы шаркали ногами по мелким камешкам... Сколько бездельных, замечательных часов я провела тут, на нашем пляже, всегда грязном, в сигаретных окурках, горластом и опасном для девчонок-новичков, над которыми измывались компании подростков! Как бездумно кувыркалась в прохладной воде, сильно пахнущей хлоркой (ее ссыпали целыми мешками)! До какой немыслимой черноты загорала! А это острое чувство своей молодости, свежести и крепости тела, когда идешь по песку, вся еще мокрая, и каждая капля, испаряясь, так и потрескивает, кажется, на коже, и тебя провожают взгляды и восхищенное прищелкивание языком! Неужели все это было совсем недавно, а не во тьме веков?

Удивительно, как мало мне было нужно! Вся глубина той моей жизни измерялась нырком с деревянного мостка в воду, и вся ее полнота — взмахами рук, умелыми саженками...

2

Только на пятый день нам разрешили навестить отца.

Вадим все это время почти не выходил с веранды, читал там, спал и даже еду себе туда таскал. А я закрылась в своей комнате, точно в монастырь себя заключила, и появлялась на кухне лишь затем, чтобы приготовить обед для матери и Вадима. Самой есть совершенно не хотелось; я только пила и пила воду, словно загнанная лошадь. И все время прислушивалась к телефонным звонкам. Лишь зазвонит в прихожей — я бросаюсь туда, как сумасшедшая, и срываю трубку. Но звонили то мамины знакомые, то с отцовской работы, а Максим молчал.

Конечно, я могла сама ему позвонить (он мне оставил три номера — Махмуда, у которого жил, свой рабочий и домашний) и даже сходила на почту и купила разовый талон, но все тянула. Мне нужно было, чтобы он сам меня вызвал, сам.

Ожидание — это, оказывается, такая пытка, что лучше уж, если каленым железом жгут или ногти рвут, чем вот так сидеть и вслушиваться в тишину. Вот досчитаю до тысячи... до двух тысяч — и в прихожей зазвонит телефон. Нет, тишина!

«Просто,— думала я,— он живет в другом измерении. Для него прошло всего пять дней, заполненных работой, быстрых, хлопотливых, и он не понимает мучительной протяженности моих часов и минут. Разве можно его за это винить?.. А еще вероятней,— хваталась я за новую мысль,— он боится звонить. Ну, конечно! Его звонок может навредить мне,— вот как он думает,— усугубить и без того тяжелую обстановку в нашем доме. Поэтому тишина».

Так я металась по комнате, часами стояла перед окном (а небо, как назло, было голубое, безоблачное — лети, куда хочешь!).

Мама вернулась с работы и зашла ко мне в комнату. Я лежала на постели в платье и туфлях, лицом в подушку. Она постояла рядом и тронула меня за плечо.

— Ты спишь?

Тоскливо и обреченно я подумала: «Ну вот, не выдержала. Сейчас начнется... Ненадолго ее хватило. А ведь обнимались и дружно проливали слезы на кухне».

Я поднялась, взяла с тумбочки свою сумку, достала пачку сигарет (купила, когда ходила на почту за талоном) и закурила. Только потом взглянула на маму и грубо бросила:

— Ну, что?

Ее лицо опять меня напугало: такое осунувшееся, изможденное, в морщинах. И руки она держала, как старуха, сложив на животе, и смотрела как-то по-старушечьи мудро и печально.

— Да я ничего...— пробормотала она.— Устала немного...— И присела на краешек кровати.

Я тут же затушила сигарету в цветочном горшке. Сигарета нужна была мне с другой мамой, не с этой.

— Мама, что ж нам делать? — жалобно вырвалось у меня.

— Да что теперь делать, дочка? — негромко ответила она, разглядывая свои руки.— Бога молить, чтобы папа выздоровел.

— Как ты говоришь... Это не поможет — бога молить.

Мама улыбнулась бледными, некрашеными губами. Вся она была какая-то тусклая, серая.

— Да уж тут, Лена, за что угодно ухватишься, когда так сложилось... Я думаю, какой-то надзор свыше за всеми нами все-таки есть. Мы с папой жили неладно, себя мытарили и вас, вот и наказание. Все бы назад вернуть, дочка! — вздохнула мама.

Мне стало ужасно тяжело. Лучше бы она проклинала меня, чем так беззащитно каялась.

— Ничего, мама, ничего...— забормотала я.— Все еще будет хорошо. Вот папа поправится, начнете сначала.

Не помню, чтобы мы когда-нибудь так разговаривали...

— У тебя-то хорошо ли? — всхлипнула она и посмотрела мне в лицо покрасневшими глазами.

— Я не знаю, хорошо или плохо, мама. Я его люблю и не раздумываю.

— А он как? Он тебя...

— Он старше меня, мама. Уже женат был. У него все иначе. Но он меня тоже любит, я чувствую.

— Дай бог! Дай бог! — Глаза у мамы налились слезами.— Мы ведь тут тебя проклинали... дураки. Это от эгоизма, Лена. Раз мы вырастили, значит, должно быть по-нашему. А нас-то самих разве наши родители не вырастили? Мы больно их слушались? Свою судьбу не сумели устроить, а за тебя хотим жить.— Эти слова совсем уж были немыслимы для мамы. Я смотрела на нее во все глаза, как на какое-то чудо.— Главное, дочка, чтоб у тебя все сложилось. А мы поможем, теперь поможем. Жизнь научила. Только бы папа выздоровел.

— Ох, мама! — сказала я. И все. Больше слов не нашлось.

Потом уже было свидание с отцом. Мы пошли в больницу втроем, но Вадим всю дорогу шагал да-

леко впереди нас, будто не хотел иметь с нами никакого дела.

В приемном покое нам выдали белые халаты. Угрюмая медсестра проводила в палату, буркнув у дверей, чтобы долго не задерживались.

В маленькой комнате было две кровати, но одна пустовала. На другой лежал человек; в нем я с трудом узнала отца. Вся голова и лицо его были перебинтованы, только глаза смотрели на свет, да рот был не прикрыт повязкой.

Мы молча остановились около кровати. Отец разглядывал нас с каким-то странным, напряженным вниманием, медленно скользя взглядом по нашим лицам.

— Господи! — вырвалось у мамы. Она стиснула руки на груди.

Губы у отца дрогнули и вдруг скривились в жалкую улыбку.

— Все тут...— вымолвил он слабым голосом.— Хорошо...

Около кровати стоял стул. Мама быстро опустилась на него, точно ей подрубили ноги. Наклонилась совсем близко к забинтованной маске и плачущим, кликушеским голосом запричитала:

— Бедный ты наш! Что ж ты с собой наделал!..

— Мама,— выдавил из себя Вадим, морщась.— Перестань.

Отец кончиком языка облизнул губы.

— И Ленка тут...— донеслось до нас.— Хорошо...

— Как ты чувствуешь-то себя? Мы с ума сходим! Господи! — плакала мама.

— Перестань! — повторил Вадим.— Ну, перестань. Здравствуй, папа.

— Здравствуй, Вадим... Вот видишь, как я... С того света вернулся...

— Руки-то, ноги как? Хоть целы? — совсем потерялась мама.

Все говорили, только я не могла вымолвить ни слова. Онемело стояла, глядя на незнакомую фигуру в бинтах, и одно словечко долбило голову: «Достукался, достукался...»

Кое-как мама пришла в себя и начала рассказывать, что с работы отца все время звонят, справляются о его здоровье, что соседи сочувствуют, что...

Мы и пяти минут не пробыли в палате, как вошла та же медсестра и замахала на нас рукой, будто на мух, выгоняя.

— Да хоть немножко еще,— взмолилась мама.— Я вам заплачу, сестра. Разрешите!

— Нельзя, нельзя! Уходите!

Мы попрощались с отцом и потянулись к двери.

— Ленка,— слабо позвал он меня.— Как у тебя-то дела?..

— Все в порядке, папа. Не волнуйся.

Это было единственное, что я смогла сказать.

— Ну, хорошо... я рад...— выговорил отец и закрыл глаза.

И вот я заказала квартирный номер Максима. Почему квартирный? Сама не знаю. Мне казалось, что его жена уже должна уехать. Выбрала такое время, когда он мог наверняка быть дома,— одиннадцать вечера. Мама уже заснула на своей тахте в большой комнате. У Вадима на веранде еще горел свет: он читал.

Я села около столика в прихожей и стала ждать.

Я сидела тихо-тихо в темноте. Вскоре Вадим в трусах и майке вышел с веранды в туалет, налетел на меня и отпрыгнул с испуганным и злым шепотом:

— Расселась тут!..

Я ничего не ответила, только подобрала ноги под стул, чтобы он не споткнулся на обратном пути. Ситуация была дикая. Неправдоподобная. Скажи мне кто-нибудь еще недавно, что я буду вот так ночью сидеть в темноте около телефона в тревожном и нетерпеливом ожидании,— посмеялась бы над такой фантазией! А вот сижу, как послушный солдатик по приказу высшей силы... Вот сейчас телефонистка набирает его номер! Вот сейчас зазвонит!.. Вадим прошел назад на веранду. Я не шелохнулась.

Телефон зазвонил минут через сорок, причем так внезапно, резко и пронзительно, что я подскочила на стуле. Бросилась к двери, закрыла ее, сорвала трубку и закричала:

— Максим!

Спокойный голос телефонистки устало произнес:

— Подождите, вызывают.

Я затаила дыхание. Неужели нет дома? Значит, у Махмуда.

Что-то затрещало, защелкало в трубке.

— Говорите!

Я опять закричала:

— Максим, ты?! — да так громко, будто хотела обойтись без помощи проводов.— Ты меня слышишь?

— Ну, конечно, слышу. Здравствуй, Белка,— совсем рядом сказал Максим и закашлялся.— Наконец-то позвонила.

«Наконец-то позвонила»! Я была так поражена, что тут же выговорила, заикаясь:

— А ты... сам... почему не звонишь?

Он опять закашлялся: то ли простыл, то ли горло прочищал после сна.

— Я звонил два раза. Никто не отвечал.

Как? Когда? Неужели я прозевала?

— Как у тебя дела? — хрипло спросил он.

— Хорошо. То есть не очень... Понимаешь...— Сбивчиво я рассказала об отце и закончила: — Мне придется здесь задержаться.

Он помолчал; я слышала его дыхание.

— Надолго?

— Не знаю... как получится...

— Понимаю. Опять пауза.— Мне тут без тебя тоскливо,— наконец сказал Максим то, что я с нетерпением ждала.— Я что-то расклеился. А ты как?

— А я...— Голос у меня перехватило от радости.— Я о тебе думаю, думаю! Я, Максим...

— Извини, подожди секунду,— прервал он меня и пропал.

Что случилось?

— Алё, я здесь. К сыну подходил. Крутится во сне. Так что ты говоришь?

— Я говорю, что я...

— Опять дрыгается! Извини.— В трубке затрещало.— Извини, не дает говорить. Тебя не удивляет, что я здесь с сыном?

— Да... немного.

— Всё очень просто. Жена уехала на день по своим делам. Просила присмотреть. Развод оформляется. Через пару недель, а то и раньше, она уедет совсем, освободит квартиру. Я тебе сразу сообщу. А ты не делай глупостей, хорошо?

— Какие глупости? О чем ты?

— Спасибо, что обо мне думаешь, но чтобы не в ущерб своему семейству. Я хочу сказать, не срывайся из дома раньше срока. Потерпи, ладно?

— Конечно. Я...

— Да и у меня все прояснится. На всякий случай дай свой адрес. Не дозвонюсь — напишу.

Я продиктовала и вдруг отчаянно сказала:

— Максим! Мы что-то не о том говорим.

— О черт! Вертится, как юла. Живот, наверно, болит. Подожди!



Я опустилась на стул — ноги вдруг перестали держать. Голос Максима опять появился в трубке.

— Послушай, Белка, я спросонья. И вообще сегодня был тяжелый день, устал. Поэтому не воплю от радости. Но я рад. Очень рад. Не глупи и не беспокойся. Договорились, да?

— Да, да! — воспрянула я.

— Заканчивайте! Ваше время истекло.

— Максим! — позвала я.— Слышишь, что говорят? Наше время истекло. Какая ерунда!

Щелк — прервалось. Он не успел ответить.

Я повесила трубку, вошла в ванную комнату и холодной водой ополоснула лицо. Маму, конечно, разбудил звонок, но она сделала вид, что спит. Я отворила дверь на веранду. Вадим с книгой в руках привскочил на топчане.

— Братик,— сказала я ему, улыбаясь,— открой секрет, от кого сегодня письмо получил? Ну, пожалуйста!

— Какое письмо? Чего несешь?

— Ну, хоть скажи, как ее зовут. Интересно же. Он спрыгнул на пол.

— Уходи отсюда!

— Тра-ля-ля! — тихонько пропела я ему, показала язык и прикрыла дверь.

3

Как-то утром, перед уходом на работу, мама со странной робостью сказала мне:

— Вы бы с Вадимом... это самое... взяли лестницу в гараже да обобрали бы виноград.

Я покосилась в окошко и спросила, нахмурившись:

— А зачем нам столько?

— Ну, я не знаю... Ну, раздайте кому-нибудь...— пробормотала мама и поспешно добавила: — Папа разрешил.

Едва она ушла, я взяла ключ от гаража и спустилась во двор. Под голубятней, около развороченной песочницы, загорелые мальчишки играли в бабки. Весело сказала:

— Эй, хулиганье! Кто любит виноград — за мной!

В этот день я пришла на свидание к отцу одна. Его палата была на первом этаже. Я нашла несколько кирпичей, сложила один на другой, взгромоздилась на них и заглянула в приоткрытое окно.

Отец лежал на прежнем месте, все такой же забинтованный. Я негромко позвала:

— Папа!

Он пошевелился, слегка повернул голову и скосил глаза.

— А, Лена! Здравствуй!

Некоторое время мы разглядывали друг друга. Я улыбнулась:

— Как ты себя чувствуешь?

— Ничего, лучше... А ты как?

— Я что! Я хорошо.

— А Вадим где? — спросил отец, кося глазами.

— На почту побежал. Придет, наверно, поздней.

Он еще передвинул голову на подушке.

— Мама говорит... вы с Вадимом не ладите.

— Да нет, так, ерунда. Не думай об этом.

Он глубоко и тяжело вздохнул. Сказал слабым голосом:

— Я сейчас обо всем думаю. Раньше некогда было. Много чего передумал.

Меня царапнула жалость — такой он был беспомощный и непохожий на себя.

— Когда свадьбу-то будем играть? — помедлив, спросил отец, и губы его сложились в улыбку.

— Да что ты, папа! Какая свадьба... Не надо!

— Надо, как не надо. Это все-таки событие. Или он против?

— Мы об этом не думали, папа.

Отец облизнул губы.

— Он как... не пьет? Ты извини, что спрашиваю.

— Умеренно, как все,— не сразу ответила я.

— Это хорошо. Если пьет, пропадет. И ты с ним. Видишь, я достукался...— Так меня и резануло это мое словечко «достукался».— Как это говорят... пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Открестился я от всего, что было, Лена. По-новому с матерью начнем жить.— Я молчала. Отец на миг закрыл глаза.— Ты что ж... работать в Ташкенте будешь? — снова заговорил он.

— Да, буду.

— Кем же? Где?

— Не знаю еще, папа. Я хочу в детском саду. Няней или воспитательницей.

— А с учебой как же? Крест, что ли, на ней поставишь?

— Нет, не поставлю. Поступлю заочно.

— А почему заочно? Ребенка, что ли, решили завести?

Я чуть не свалилась с кирпичей от такого предположения.

— Нет, о ребенке мы еще не думали,— ответила я отцу через окно.

— Тогда поступишь очно. Я тебе денег положу на книжку, на учебу. У нас денег много... нахватали...

Я переступила с ноги на ногу и все-таки свалилась с кирпичей. Снова поставила и опять утвердилась на них.

— Нет, папа, спасибо. Мы сами проживем.

— Денег много,— повторил он задумчиво.— Квартира у него хорошая?

— Однокомнатная.

— Я дам на кооператив. Куда их девать! Вадиму тоже хватит... Он как, не думает жениться, не знаешь?

— А ты сам его спроси, папа.

Отец усмехнулся, тускло проговорил:

— Мне он не скажет.

Я видела — он устал. Вскоре попрощалась и ушла. Виноградник и палисадник выглядели, как после налета саранчи: всё общипано до последней ягодки, и клумба основательно вытоптана. Соседка с нашей лестничной площадки — хромоногая тетя Лида, с которой мать и отец враждовали, а я была в дружбе,— стоя около подъезда, встретила меня словами:

— Ну, девка, достанется тебе от своих! Гляди, чего они учинили.

Я лишь рассмеялась. Знала бы она, что с «моими» происходит! Даже наш пыльный солнечный двор с накаленными гаражами показался мне каким-то иным, родным и уютным,— так светло было на душе после разговора с отцом.

4

Отец удивлял врачей, он быстро поправлялся. Вскоре он уже садился на кровати и с каждым днем становился все бодрей и жизнерадостней. Я радовалась за него. К этому чувству, правду говоря, примешивались мысли, что скоро, скоро можно будет с чистой совестью уехать.

Сначала улетел Вадим. Он мне сказал на прощание:

— Пока никому не говори: я собираюсь перейти на заочный. Уеду работать куда-нибудь на метеостанцию.

Мы договорились писать друг другу.

А дня через два я услышала, как мама разговаривает с кем-то по телефону о ремонте нашей машины. Когда я ее спросила, разве они не решили стать пешеходами, она смутилась и забормотала:

— Нельзя же ее бросать, дочка. Папа говорит, что надо наладить и продать. Всё же деньги немалые.

— А потом что? Новую купите?

— Ну, я не знаю, как папа решит...— отвела она глаза.— Навряд ли.

Я отправилась к отцу. Около его окна стояли двое незнакомых мне мужчин. Отец уже поднимался с кровати, и сейчас, высунувшись на улицу, разговаривал с ними. Повязки с лица его сняли, заменили полосками пластыря, но голова все еще была забинтована.

— А, Ленка! — радостно приветствовал он меня.— Ко мне вот товарищи по работе пришли! Это моя дочь,— объяснил он мужчинам.

— Ишь ты! — сказал один, с густыми бровями.— Взрослая какая!

Второй лишь заулыбался и отодвинулся в сторону.

— Восемнадцать лет, не шиш с маслом! — шумливо похвалился отец, щурясь на солнце.— Самостоятельная! Не страшно и умереть, сама проживет, если еще раз влопаюсь в аварию. Так, Ленка?

— Ты лучше не влопывайся,— хмуро заметила я.

Отец захохотал, и этот бровастый тоже.

— Видал, какие дети пошли? — добродушно обратился отец к своим сослуживцам.— Не попадайся им на язычок — иначе так врежут! Родители для них не закон. Знаете, чего учудила? — еще шумливей продолжал он.— Замуж собирается выйти. Без моего-то благословения, а! Это как? — И он опять шумно и знакомо захохотал.

У меня сердце заколотилось часто-часто, как после сильного бега.

— Отец! — сказала я.— Ты выпил.

Он сразу оборвал смех.

— Ты выпил,— повторила я.— Ты пьяный.— И взглянула на его друзей-приятелей.— Это вы принесли?

Наверно, в лице у меня было что-то такое, отчего они перепугались.

— Да откуда ты взяла? — пробормотал бровастый.

Второй отшагнул еще дальше, и в портфеле у него звякнуло.

— Ленка! — заорал отец. Лицо его в наклейках пластыря сразу побагровело.— Это что за допрос?! Я в рот не брал.

— Врешь.

— Как ты смеешь, молокососка!

Эти двое уже уходили, прощально махая отцу руками. Бровастый издалека прокричал:

— Ваня, мы еще зайдем! Чего просил, сделаем! — И скрылись за углом.

— Ну, погоди! — выдохнул отец, проводив их взглядом.— Я тебе это припомню, доченька! Ты меня опозорила. Дай до тебя доберусь! — И он даже руку протянул, словно собираясь схватить меня.

Я плохо его видела, так черно стало в глазах. И сказала ненавистно:

— Не грози, не боюсь.

Отец видно, понял, что переборщил, обмяк и заворчал:

— Чего ж ты, в самом деле... Ко мне товарищи пришли проведать, а ты... Ну, выпил граммов пятьдесят. Что я, не человек теперь? Надо же свое воскрешение обмыть... Выйду— завяжу. Чего скандалить?

Я долго-долго на него смотрела, чтобы навсегда запомнить.

— Знаешь что, отец? Ничего ты не воскрес, не обманывай себя. Тебя просто заштопали. А остался ты прежним.— Повернулась и пошла по чахлому больничному скверику.

— Убирайся из дома! — закричал он мне в спину.

Это я и без него собиралась сделать.

Но еще был разговор с матерью, а потом письмо.

Мама вечером, по обыкновению, сходила в больницу, вернулась взволнованная и сразу накинулась на меня:

— Ты почему отца оскорбила? Как тебе не стыдно! Он больной, а ты!..

Я перебирала свои вещички в шкафу и прикидывала, что можно предложить соседке тете Лиде, которая покупала иной раз поношенное, а потом относила на барахолку.

— Ты его угробить хочешь, бессовестная! Смотри у меня! — Мама погрозила пальцем точь-в-точь, как в те времена, когда объясняла, от чего дети родятся.

Я даже не рассердилась: так вдруг стало все безразлично. Устало ответила:

— Никто его не хочет угробить. Он давно сам себя угробил. И вообще, мама... Я смотрю, вы оба опять воспрянули. Ненадолго вас хватило. Можешь таскать ему водку в палату, пресмыкаться перед ним. Копите деньги, покупайте новое барахло, машину, что угодно, только оставьте меня в покое. Всё! Хватит. Я из вашей семьи выбыла.

Она ахнула и испуганным жестом поднесла руку ко рту. Прошептала:

— Да ты что, дочка, говоришь-то... Да разве можно так?

— Можно.

— От своих родителей отказываться можно? — еще сильней напугалась мама.—Что ж мы тебе такого сделали? Разве не одевали, не кормили, не баловали? Господи! Кто же у тебя есть, кроме нас? Опомнись, Лена! Да мы ж все тебе простили, все!

— Что «все»?

— Да все шалопутство твое, Максима твоего, все! Ну, рассердился отец, так ты ж сама виновата. При друзьях его так опозорила. Он тебя любит, он отходчивый. А без нас куда же ты денешься? Девочка ты моя...—всхлипнула мама и шагнула ко мне с вытянутыми руками, собираясь обнять.

Я отпрыгнула в сторону, как на пружинах.

— Не трогай меня!

Она остановилась. Лицо ее пошло красными пятнами и заострилось, как у Вадима, когда он злится.

— Ах, вот что! Мы тебе как лучше хотим сделать, а ты... Ладно же! Сама напросилась. Жалела тебя, дуреху! Почитай, как другие тебя любят! — Мама убежала в свою комнату и тут же вернулась с письмом в руках.— Нá, читай! Может, наберешься ума-разума, пока не поздно!

Я лишь взглянула на конверт, и сразу пронзило: Максим!

— Уйди, мама,— тихо попросила я.

То ли мой голос, то ли мой вид на нее подействовал; она попятилась и прикрыла дверь.

До сих пор не понимаю, как удалось маме заполучить это письмо... Наверно, перехватила почтальона на подходе к дому.

Но об этом я тогда не думала. Сразу выдернула листок из вскрытого уже конверта.

Вот что там было написано:

«Белка! Я чувствую себя подлецом, и, наверно, так оно и есть. А может быть, подлы обстоятельства, а не я.

Я к тебе сильно привязался и я же должен тебе сказать, что у нас ничего не получится.

Все дело в сыне. Он совсем извелся без меня, а я без него. Я думал, что смогу это пересилить, и жена думала, что сын сможет, но оказалось иначе. Ради сына я позволяю ей вернуться. Прощаю ей то, что было. А она прощает мне тебя. Что выйдет из такого сосуществования, не знаю.

Меньше всего мне хотелось бы причинять тебе горе, поверь.

Будь счастлива.

Максим».

Сначала я спокойно свернула письмо и сунула его в сумочку. Затем рассмеялась. На мой смех мама заглянула в комнату: она, конечно, стояла за дверьми. Я не обратила на нее внимания, подошла к окну и, не понимая, что делаю, сильно ударила кулаками в стекло. Посыпались осколки, и по рукам сразу потекла кровь.

Мама бросилась ко мне. Я закричала. Не от боли, нет — боли в руках я даже не почувствовала. Не помню, что кричала; может быть, просто «а-а!» — на весь наш двор с его гаражами и доминошниками за столом, на весь наш вечерний город под бледными еще звездами, на всю земную твердь, так что Максим, наверно, услышал...

Или мне показалось, будто я закричала? Кричат ведь и молча, я знаю, да так, что те, у кого есть слух к человеческому отчаянию, бледнеют и седеют, а кто глух, продолжает поплевывать семечки... Мама кинулась искать бинт и йод, вот что она сделала. А какая аптечка, зачем? Да окажись хоть мировой арсенал лекарств у нее под рукой, пусть самые опытные врачи слетелись бы, как белые мотыли в разбитое окно, вам, как и мне, в такую минуту не помочь!

Мама прибежала с бинтами, молила:

— Успокойся, успокойся!

Я позволила перевязать себе руки. Но она могла бы и отрубить их—мне было все равно.

5

Несколько дней я пролежала в постели. Будь я врачом, поставила бы себе диагноз: столбняк. Даже так: столбняк Соломиной. Есть же палочки Коха, болезнь Рейно... Почему не быть столбняку Соломиной? Или лучше назвать это странное состояние именем Максима? Все-таки он причастен к тому, что со мной творилось...

А что творилось? Да ничего. Я просто лежала пластом и тупо разглядывала желтые цветочки обоев. Спросит мама: «Ну, как ты?» Отвечу: «Ничего». Не спросит— молчу. Принесет поесть, отвернусь к стене. Начнет совать ложку в рот, выговорю: «Не надо» — и с таким отвращением, что она отдернет руку. Ночью лежу и пялюсь в темноту. Ничего не болит, сердце бьется ровно, а сна ни в одном глазу.

Мама перепугалась и привела врача из соседнего дома, Розу Яковлевну. Та осмотрела меня сквозь толстые очки, обстукала, обслушала, даже, кажется, обнюхала, пожала широкими, как у борца, плечами:

— По-моему, просто блажь.

Вот тоже хороший диагноз: блажь Соломиной. Да и в самом деле! Что могла найти Роза Яковлевна у меня? Все нормально, все в порядке.

— Доченька, разве ж можно из-за этого так расстраиваться? — потерянно взывала к моему рассудку мама.

Я думала: из-за чего «этого»? Из-за письма? Какая ерунда! Я уже забыла о нем. Было какое-то письмо. Был какой-то человек по имени Максим. Ну, и что? Мне ни до чего нет дела. Не трогайте только меня. Я лежу спокойно. Мне ни до чего нет дела, понимаете? Я не хочу жить.

На какой-то день я заснула и проснулась от голосов за стеной. Комната залита солнечным светом. Лицо у меня мокрое от пота. Я попыталась понять, где же я была и где очутилась...

Открылась дверь, и один за другим вошли улыбающийся Федька Луцишин, Усманов, он же Щеголь, и высокая, как каланча, Татарникова.

— А вот и мы! — жизнерадостно провозгласил крепкоскулый и крепкощекий здоровяк Федька.

Конечно, это были они. С кем я могла их спутать?

— Живая? — показал в улыбке ранние золотые зубы Усманов.

Юлька Татарникова взвизгнула, бросилась ко мне и влепила поцелуй в щеку.

Я разобралась в обстановке, слабым голосом выговорила:

— Садитесь... что ж вы...

Высокая Татарникова устроилась рядом со мной на тахте, облизнула губы и, захлебываясь, понесла:

— Ленка, слушай! Отстань, Луцишин... Ленка, я должна тебе сказать, что ты молодец. Честно говорю! Ты молодец и все такое. Я тобой восхищаюсь, честно говорю!

— Ну, поехала! — безнадежно проговорил золотозубый Усманов и скучающе отошел к окну.

Татарникову я не любила в школе. У нее была маленькая птичья головка, глаза быстрые и юркие, а рот непомерно большой, какой-то нелепый, как у клоунов. Все бы ничего, если б не ее жуткая болтливость. Но сейчас я ее напряженно слушала, будто истомилась без человеческой речи.

— Ты не мешай, Усманчик, тебя не спрашивают! Они тебе все косточки перемыли, Ленка, честно говорю! Знаешь, куда устроился Усманчик? Упадешь от смеха. Продавцом на лоток. Честно говорю! Торгует всякой дрянью и доволен. Что еще можно от него ожидать, правда? Это же Усманчик! Усманчик, ты мне продашь босоножки по блату? Молчи, не отвечай! Все молчим. А ты рассказывай, Ленка, по порядку: кто такой, как ты с ним познакомилась? Нам все интересно. Я тобой горжусь, честное слово! Луцишин, сядь, не маячь! Все. Начинай, Ленка. Все молчим.— Она захлопнула рот и сложила руки на коленях.

— У-у-у! — ненавистно взвыл Усманов.— Ду-ура!

— Усманчик, ты получишь! Честно говорю, ты получишь!

— Да не ссорьтесь вы...— встревоженно попросила я. В ушах у меня звенело, а все тело было легким, точно невесомым.— Не о чем мне рассказывать... Это все вранье, что я замуж вышла, Юля. Так, наболтала.

Федька вскочил со стула и завопил:

— А я что говорил? Я сразу понял, что врешь!

Татарникова поджала губы, словно я нанесла ей ужасное оскорбление.

— Позволь, Ленка, как же так? — чопорно произнесла она.— Это что же получается? Я волновалась, гордилась тобой, я всем, наконец, рассказала... Честно говорю, я не понимаю.

— Потому что ду-ура! — опять взвыл Усманов.

— А ты барахольщик, вот ты кто! Я тебя презираю, Усманчик! Не знаю даже, как я с тобой говорю!

Школьные беспокойные времена возвратились в мою комнату. Сколько таких ссор мы пережили!

Я молча наблюдала за ними. Неужели они остались прежними? Быть не может. Мне казалось, столетие прошло после выпускного вечера, бездна времени, солнечная и черная. Там я плутала и снова вышла к ним. Но уже не понимала, в какие игры они играют, что за правила у этих игр...

Почему я не сказала им правду? К себе у меня не было жалости, но я знала, что они не поймут.

Позднее я встала с постели и подошла к зеркалу. Видок у меня был ужасный: бледная, худая, под глазами тени. Как говорится, краше в гроб кладут.

Но я уже знала, что могу и хочу жить.

Только как?

Тетрадь четвертая

1

Никуда я не уехала!

Мне даже на карту было противно смотреть, а не то что куда-нибудь двигаться. Пролетит над городом самолет — и я вжимаю голову в плечи, и хочется заткнуть уши чтобы не слышать этого гула. Я из дома-то почти никуда не выходила. Прогуляюсь в магазин за хлебом или молоком — и назад, как улитка в свою раковину.

Федька Луцишин и К° забегали несколько раз, но вскоре отступились от меня. Всякому надоест смотреть на грустно-задумчивую физиономию, всякого разозлит, что твои компанейские предложения до лампочки...

Я ходила по комнатам, читала, спала, стирала, готовила обеды и все время думала: что же дальше?

За эти длинные и пустые дни я написала три письма Максиму и все разорвала. Мне хотелось сказать ему, что я его не осуждаю и пусть его не мучат угрызения совести. Так оно и было: я его не проклинала и не осуждала — что нет, то нет! О мертвых не вспоминают плохо, так ведь? И письма им не пишут. О них думают с прежней любовью, тоской и горечью, пока время не сотрет все черты. Ну вот, я и надеялась на время.

Откуда я могла знать, что дальше все будет еще трудней?

Мама вела себя очень дипломатично в эти дни. Ни советов, ни упреков, лишь ровная неусыпная забота. Может быть, поэтому я и не ушла из дома? Да нет, просто боялась. Даже машины пугали — несутся куда-то,— а от скопления людей я прямо шарахалась...

Ничего от меня прежней не осталось. Да куда уж дальше: вместе с мамой пошла к отцу и извинилась перед ним за тогдашнюю сцену. Он растрогался, засопел носом.

— Ничего, дочь, ничего... бывает! Я тоже не ангел. Жизнь есть жизнь. Погорячились — и ладно!

И ни слова о Максиме. Я была ему благодарна.

Вскоре отца выписали из больницы. На другой день у нас собрались гости, чтобы отметить его выздоровление. Мы с мамой наготовили еды и накрыли на стол. Помню, я охотно хлопотала на кухне, бегала туда-сюда и даже развеселилась, когда мама по ошибке посахарила тертую редьку... Правда, за стол я не села, ушла к себе и взялась за книгу. Но не читалось — отвлекали громкие голоса, смех. «Ничего,— думала я.— Пусть гуляют».

Скоро отец позвал меня.

— Посиди с нами,— приветливо забасил он, когда я вошла в комнату.— Выпей рюмку за здоровье отца, не грех!

— Садись, садись, дочка! — засуетилась мама, вскакивая и пододвигая мне стул, точно какой-то инвалидке.

Отец был без пиджака, в светлой рубашке в мелкую полоску и выглядел очень свежо и молодо. Швы не портили его крупное загорелое лицо, только добавляли ему мужественности. Он вообще-то красив по-своему, мой отец, и заметен в любом застолье...

Я посмотрела внимательно: он был не пьян, лишь глаза блестели. Успокоившись, я села рядом с ним.

Двух гостей я знала. Оба были из соседнего дома, приятели отца, доминошники: инженер теплосети, худосочный Владимир Петрович в очках, которые он поминутно поправлял, и бравый пенсионер Панасенко, хохотавший и евший за двоих. Был тут и тот самый бровастый сослуживец отца. Он мне сразу подмигнул: помнишь, мол? Рядом с ним сидела его жена, манерная женщина средних лет в парике. Меня она тотчас стала звать «девочкой», причем сюсюкала, как полоумная.

Еще двое как-то не подходили к этому столу. Ему было лет тридцать, не больше, а ей и того меньше. Оба помалкивали и изредка поглядывали друг на друга, словно спрашивая: не пора ли смываться? Вскоре я поняла, что он, как и отец, прораб, а его болезненная, бледная жена — учительница.

Я пригубила рюмку вина, послушала, как отец и доминошники осуждают происки какого-то Власова, продавшего «Запорожец» и купившего «Жигули», а мама и Сюсюкала возмущаются возросшими ценами на ковры,—и уже собиралась улизнуть. Но отец обнял меня за плечи и притянул к себе.

— А что, дочь, обсудим-ка твое будущее, а? — добродушно предложил он.

Я испугалась до дрожи в коленях.

— Нет, папа, не надо. Не сейчас.

— А чего «не надо»? Чего «не сейчас»? Люди свои.

— Нет, папа... пожалуйста! —взмолилась я.

— Ну, смотри...—Он отпустил мои плечи, разочарованный и недовольный.— А то, глядишь, и устроили бы тебя прямо сейчас на работу. Вон к Вите под начало...— Он посмотрел на молодого мужчину.— Тебе же учетчицы нужны, Витя, а?

— Нужны,— сухо ответил тот, подняв глаза от тарелки.

— Ну, вот. Сколько ты им платишь? Сто сорок?

— Вы же знаете, восемьдесят.

— Ну, я-то знаю, конечно. Это если на должности учетчицы. А можно ведь, чтобы работала учетчицей, а числилась как инженер. Такое бывает?— Отец засмеялся. И все засмеялись.

— Бывает,—неохотно признал тот, покраснев.

— Вот так, дочь! — Отец посмотрел на меня веселыми глазами; к нему вернулось прежнее настроение.—Даром, что ли, я начальник? Без работы не останешься. Может, сразу и решим?

— Нет, подумаю,— быстро и нервно сказала я.

— Ну, думай, думай, я не тороплю!

— Девочка смущается, не видите разве? — проницательно заметила особа в парике.

И мама запела под ее дудку сладким и ненатуральным голосом:

— Она у нас сильно болела, бедняжка. Еще не поправилась.

Уже за дверьми своей комнаты я услышала, как мама сказала, вздохнув:

— Беда с этими детьми!

«Что же делать? — испуганно думала я.— Что-то надо делать... Быстро, немедленно. Что?»

Никто не мог мне ответить: ни один желтый лист на темных деревьях, ни одна звезда в ярком сияющем небе, никакой голос не помог издалека...

А решилось все просто.

Через несколько дней после пирушки я почувствовала, что мне нужно обратиться в женскую консультацию. Еще раньше, чем у меня, подозрение возникло у мамы. Она уже заметно устала от своих дипломатических тонкостей и на этот раз спросила напрямик:

— Ты мне скажи, ты не беременна ли?

Я даже отшатнулась от нее.

— Что ты! С чего ты взяла? Нет.

— А почему же тогда...— И мама задала еще один прямой вопрос.

— Мало ли что бывает,— ответила я ей.— Не волнуйся.

Но потом подумала, прикинула и, закусив губу, отправилась в консультацию.

Хорошо помню, каким преображенным показался мне наш городок. Желтый, шуршащий, он словно притих, вслушиваясь в самого себя. Все живое облегченно вздыхало после шестимесячной жары. Я шла не спеша и набрала букет медно-красных листьев. Мне передались ясность и спокойствие осени.

«Будь что будет»,— решила я. В моем положении это было мудро.

В поликлинике я выстояла очередь, и, когда вошла в кабинет, от моего мудрого спокойствия ничего не осталось.

А через десять минут суховатая усталая женщина в белом халате будничным голосом сказала, что у меня двухмесячная беременность.

Медсестра пошла к дверям вызывать следующего, а я все стояла и не уходила. Врач оторвалась от карточки и взглянула на меня.

— Ну? Что-нибудь не ясно?

Я разлепила губы.

— Нет, все ясно. А что делать?

Она отложила ручку, потерла лоб ладонью.

— Что делать? Разумеется, рожать.

Медсестра выкрикнула в коридор: «Следующая!», но врач попросила ее:

— Подождите, Валя! — И та прикрыла дверь.

— Обязательно рожать? — тихо спросила я.

— А вам что, не хочется?

— Нет... Я не знаю... Это все очень неожиданно.

— А по-моему, все очень естественно и закономерно,— сухо сказала врач.— Сколько вам? — Она заглянула в карточку.— Ну что ж. Рожают и моложе. Чего вы боитесь?

Я молчала и стояла, опустив голову. На секунду я забыла, где нахожусь.

— Вы замужем? — помедлив, спросила врач.

— Нет.

Почему я не уходила? Чего ждала?

— Ну, разумеется...— пробормотала она, словно про себя. И вздохнула: — Что ж... Есть другой выход — аборт. Но я вам советую все-таки рожать. Вы, разумеется, поступите по-своему. Вы все поступаете по-своему. С этим ничего не поделаешь. Вы все неисправимы. Хорошо это или плохо — не знаю. Знаю только, что с вами нужно иметь запасное сердце... или вообще не иметь. До свидания!

От консультации до нашего дома каких-нибудь пятнадцать минут ходьбы, если напрямик, но я отправилась обходной дорогой, через «маслянку». Так называется старый городской район. Тут сразу окунаешься в тихую кишлачную жизнь. Вдоль дороги ходят овцы и жуют пожухлую траву. Около водоразборных колонок женщины полощут белье. В закутках квохчут куры. Дети играют около глинобитных дувалов, а старики сидят там же на корточках. Кажется, что время тут идет каким-то неспешным ходом, что все здесь неизменно: старики никогда не умрут, а дети никогда не вырастут.

Но едва минуешь «маслянку» и выйдешь к воротам хлопкоочистительного завода, тебя сразу всасывает другой, неумолимый бег жизни. Длинной чередой тянутся по грохочущему шоссе огромные машины, тракторы с прицепами, снова машины и снова тракторы. Через открытые заводские ворота видно асфальтовое поле, а на нем бурты хлопка, будто какие-то немыслимые сугробы, не тающие под солнцем. Сразу представляешь поля — квадратные, прямоугольные, без конца и края, с миллионами хлопковых коробочек, и на них, точно разноцветный высев, платья, загорелые спины, косынки, белые платки сборщиков...

А ближе к горам тоже идет нетерпеливая осенняя маета. Стучат яблоки, падая в деревянные ящики, виноградные гроздья оттягивают руки, крутобокие арбузы заполняют кузова машин.

Ну, а эти блестящие башни нефтеперерабатывающего завода на окраине города, эти серые и кряжистые корпуса маминого масложиркомбината — взгляните! Там тоже забвенье в работе.

«Значит, что же? — думала я.— Выходит, пока жив, нельзя отрешиться от всего этого круговращения, как ни старайся. Горе ли, боль ли, мука ли, а сердце бьется. Требовательно, жестко. Я несу в себе еще одно маленькое сердце. Крошечный атом, каким и я была когда-то. В моей власти его убить или вырастить для неба и солнца. Как странно, страшно и необыкновенно! Что же важнее: моя свободная жизнь или эта новая, зреющая во мне?»

2

Я пересекла дорогу, оставив позади тихую «маслянку», и по пыльному тротуару, вдоль бетонного забора вышла к проходной маминого комбината. Мне и раньше приходилось иной раз вызывать маму по телефону (ее бухгалтерия размещалась в цеховом корпусе), но никогда она не прибегала так быстро, взволнованная и запыхавшаяся.

— Что стряслось? — крикнула она еще по ту сторону металлической вертушки.

— Выйдем отсюда...

Думаю, она сразу догадалась. Но ей не хотелось верить до последней минуты.

— Ну, что, что? Ну, не тяни!

— Мама, я была в консультации. То, о чем мы говорили, подтвердилось.

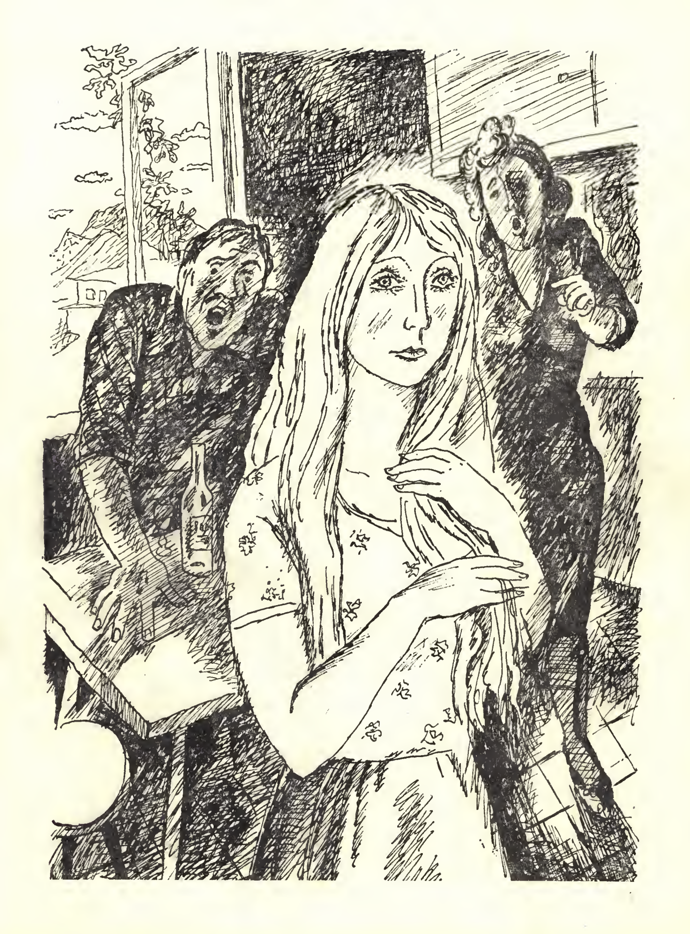
— Что подтвердилось? Что?— Она цеплялась за какую-то несуществующую соломинку.

— Ты же понимаешь, что. Я беременна. Уже два месяца.

Мама ахнула и стиснула руки на груди.

— Так я и знала! Господи! Да что ж это такое! — воскликнула она с неподдельным отчаянием.— За что мне такое наказание?

— Послушай, мама...



— Что я такого сделала? В чем провинилась? За что вы все меня мытарите? Сведете вы меня в могилу!

Когда она так причитает, мне хочется заткнуть уши и бежать без оглядки куда попало. В давнее время, когда был спрос на кликуш, моя мама стала бы незаменимым человеком... Закусив губу, я ждала. Старуха вахтерша поглядывала на нас через окошечко с жадным любопытством.

— Дожилась до позора, господи! Как теперь людям в глаза смотреть?

— Какой позор, мама? Успокойся, не кричи. Да не кричи же! — сказала я с закипающим раздражением.— Что ты, в самом деле... Ты же сама была в таком положении.

— Я? Ты мне это говоришь? Бессовестная! Как тебе не стыдно? Разве я вас на стороне нагуляла? Мы в законном браке с отцом были! Ох, господи! Да лучше бы я тебя такую не рожала! — вырвалось у нее.

— Ну, что ж, убей,— сказала я с какой-то незнакомой мне брезгливостью к ее страдальческому лицу и голосу.

— Отец тебя убьет, отец! Ты лучше не говори ему, дуреха несчастная. Молчи, не смей говорить! Господи, господи! Чуяло мое сердце! Два месяца, это точно?— уже спокойней спросила она.

— Да.

— Добегалась, догулялась! Слушай, что я тебе скажу. Отцу ни слова, а то беда будет. Потом узнает, бог с ним — возьму на себя. Всю жизнь из-за вас страдаю...—Она жалобно сморщилась.—Сегодня пойдем к Розе Яковлевне договариваться. Ты думаешь, это просто? Там такая очередь, что, пока дождешься, будет поздно. Ох, господи! Стыд-то какой!

— Мама...

— Рублей в пятьдесят обойдется, чтобы без очереди. Да еще тридцать...— лихорадочно соображала она.— Роза Яковлевна устроит. Должна устроить. Я ей тоже услуги оказывала.

Я засмеялась.

— Знаешь, мама, тебе не придется тратиться. Я буду бесплатно рожать.

— Замолчи, дуреха! — отмахнулась она.— Плакать надо, а она гогочет. В кого ты такая пошла?

В самом деле, в кого мы такие пошли? Почему мы так часто не походим на своих родителей, а если замечаем вдруг сходство, то пугаемся и в страхе думаем: нет, нет, ни за что!

— Я буду рожать, понимаешь? Ты слышишь меня: я бу-ду ро-жать!

Пока мама переваривала этот новый ужас, дверь проходной распахнулась и высунулась старуха вахтерша.

— Чаво ты, Нина Алексеевна, дочке рожать запрещаешь? — елейно запела она.— Да рази ж так можно? Пущай рожает!

Всё! Теперь весь масложиркомбинат знал, что у Нины Алексеевны Соломиной («Ну, эта бухгалтерша, знаешь?») безмужняя дочь ждет ребенка. Бедная мама!..

Она шла за мной по пятам до самого дома: то угрожала, то плакала, то умоляла. Уже в нашем дворе я не выдержала, остановилась и сказала:

— Мама, помолчи минутку. Я тебе сейчас все объясню. И не будем больше об этом говорить. Ребенок не виноват, что все так получилось. Это раз. Виновата я. Это два.

— Есть еще и три, полоумная?

— Есть и три. Я его люблю.

— Кого? — вскрикнула она.— Да там ничего еще нет!

— Я говорю о Максиме, мама. Все не так просто, как ты думаешь. Я хочу, чтобы его ребенок остался жив.

Мама онемела.

— Так он же тебя... бросил! — вымолвила она наконец.

— Ну и что? А я не могу выкинуть его из памяти. И мстить ему ребенком не желаю. И вообще, мама, я не могу жить так, как раньше, пойми!

— Да ты ж погубишь себя, погубишь! — взмолилась она.— Какой дурак тебя замуж возьмет с ребенком?

— Я не собираюсь замуж. Все! Хватит!

Так мы и вошли в нашу квартиру: я впереди с прямой спиной и злым, напряженным лицом, а мама следом, будто побирушка, умоляющая о милостыне.

Отец сидел на кухне перед бутылкой вина и тарелкой с супом.

— А-а! — заулыбался он всеми своими шрамами.— Явились — не запылились! Мать, я тебе звонил. Мать, слушай, я машину загнал Юрьеву. Нет, честное пионерское! За сколько, думаешь?

Мать жестко ухватила меня рукой за плечо и быстрым сбивчивым голосом заговорила:

— Нет, ты погоди убегать, погоди! Натворила — и убегать. Нет, ты теперь погоди...

Удивленный отец опустил ложку в суп и выкатил глаза.

— Говори отцу! Говори, раз ты такая смелая, говори!

— Да чего такое? — заревел отец, вскакивая.

— Отпусти меня,— сказала я маме, дернув плечом.— А ты, отец, не вздумай руки распускать, как однажды было. Лучше порадуйся. Ты через семь месяцев станешь дедом.

— Как?! — каркнул он, большой и нелепый.

— Да вот так.

В полном молчании отец налил себе стакан вина, выпил и двинулся к нам. Я стояла, подняв лицо, со сжатыми кулаками. Мама была бледная, темные глаза мучительно напряжены, губы приоткрыты...

— Та-ак,— сказал отец. Он подвигал челюстями.— Ну что ж, доченька любимая Спасибо тебе за хорошую новость, за подарок. Сумела нашкодить — умей и отвечать. Себя опозорила — нашу честь спасай Так в народе говорят.

— Никто так в народе не говорит. А вашу честь... что ж, спасу Сейчас соберу чемодан и уйду.

Мама всплеснула руками.

— Ты посмотри, посмотри на нее, бесстыдницу! Она еще и грозит нам!

Отец подшагнул ближе. Он был спокоен, только угол рта слегка подергивался.

— Нет, ты не уходи. Мы тебя не гоним. Живи, пожалуйста! Мы не изверги. Только пащенка в дом не принесешь. Нет, пащенка нам не надо. Что нет, то нет.

— Договорились, папа. Не принесу. Будете просить — и то не принесу.

— Господи, господи! Что говорит!

— Стой, подожди! — удержал меня отец.— Ты мое слово знаешь. Я уж если скажу, то точка! Я слов на ветер не бросаю.—(Это заявление на фоне допитой бутылки меня даже развеселило на миг.)— Так вот, я тебе авторитетно говорю,— продолжал отец, с каждым словом мрачнея и наливаясь кровью.— Уйдешь — на нас не рассчитывай. Никакой помощи не получишь. Ни-ка-кой! С голоду будешь помирать, не жди помощи. Поняла?

— Помощи не ждать. Поняла.— Я его едва видела, глаза заплыли злыми слезами...

— Все! — скрепил отец.— Разговор окончен. Иди думай. Срок до завтра.— Так он, наверное, давал приказания на своих стройках.

— Хорошенько думай, хорошенько! — подхалимски подпела ему напоследок мама.

3

К вечеру отец ушел под фонарь во двор лупить костяшками по столу. Мама убежала в соседний дом к знакомой с комбината. Я дождалась своей минуты, чтобы улизнуть без нового скандала.

Чемодан давно уже был собран. Пальто я перекинула через руку. Оглядела в последний раз свою комнату и вышла из квартиры. Дверь не закрыла, никакой записки не оставила. Зачем?

Странно было идти по знакомым вечерним улицам с чемоданом. Пустынно, тихо, в домах горят огни, уличные фонари освещают желтую листву, и сверху, из немыслимой дали бесстрастно взирают звезды. Вот большое, с манекенами в витринах здание универмага; вот кафе «Ёшлик», где на веранде мы часто ели мороженое и пили сладкую шипучку. А вот и тихий двор, отделенный от улицы железными воротами.

Этот дом из белого кирпича, с широкими окнами и просторными лоджиями у нас называют «правительственным». Здесь живут ответственные работники, вроде Сонькиного отца. Чужие машины не въезжают во двор, белье не сушится на веревках, беседки увиты виноградом, цветочные клумбы не вытаптываются ребячьими ногами. Тут мне всегда нравилось, как и в квартире Соньки, где тебя, едва переступаешь порог, прямо обволакивает домашним уютом и покоем. Сколько раз я здесь была — не сосчитать! А сейчас стояла перед дверью, обитой желтой кожей, и все никак не решалась нажать кнопку звонка. Наконец собралась с духом и позвонила.

Шагов я не слышала. Дверь сразу бесшумно открылась.

На пороге оказался Сонькин отец, Михаил Борисович, толстый и низенький, в домашнем халате, с книгой в руках и очками, поднятыми на лоб.

— Вот те на! — удивился он, увидев меня.

— Здравствуйте, Михаил Борисович. Это я.

— Маша! — закричал одышливый Сонькин отец в глубину квартиры.— Иди сюда быстрей! Тут такой гость! — И мне: — Ну, заходи, явление! Сонька там не прячется? — Он выглянул на лестничную площадку.

— Нет, Соньки нет,— слабо улыбнулась я.

В прихожую поспешно вышла Мария Афанасьевна, тоже в халате.

— Ё-елки-моталки! — своим молодым, радостным голосом протянула она.— Лена!

Через минуту я уже сидела в кресле, а они напротив на широкой тахте с подушками, где, наверно, только что читали. Михаил Борисович тяжело, со свистом дышал (его мучила астма), лысая голова его блестела в свете люстры, мясистый нос воинственно торчал на полном лице. Рядом с ним Мария Афанасьевна выглядела совсем девчонкой, да она и была на десять лет моложе мужа. В ее густых темных волосах уже пробивалась седина, но на белом лице ни единой морщинки; глаза смотрят весело и живо, и вся она подвижная, как зверек.

Они ждали. Я сглотнула слюну. Как, оказывается, трудно начать! И начала:

— Сонька давно уехала?

— Сонька давно уехала,— быстро сказала Мария Афанасьевна.

Опять наступило молчание.

— Ну, а я... Я уже давно приехала. Все не могла собраться зайти к вам. Извините.

— Ерунда! — так же быстро отвергла мои извинения Мария Афанасьевна. Улыбка исчезла с ее губ.

Михаил Борисович задышал тяжелей.

— Можно я у вас сегодня переночую? — с отчаянием спросила я.

Они как будто ждали именно этого.

— Что за вопрос? Разумеется, ночуй,— мгновенно откликнулась Сонькина мать.

Михаил Борисович лишь кивнул, что означало: согласен, вопрос дурацкий.

— Мне только на одну ночь, не беспокойтесь. Завтра я уйду.

— Черт возьми, Лена, с каких пор ты стала такой стеснительной? Душ принять хочешь? Есть хочешь?

— Ничего я не хочу, Мария Афанасьевна. Я сейчас ушла из дома, и завтра уеду. Сейчас поездов нет, и вообще... Сонька вам, наверно, рассказывала, что я замуж собиралась. Это правда. Но у меня ничего не получилось. А сейчас я в положении... ну, беременна, понимаете? И вообще...— Я глотнула воздуху и разрыдалась.

Михаил Борисович присвистнул длинно и удивленно. Мария Афанасьевна вскочила с тахты, быстро подошла ко мне и сильно тряхнула за плечо.

— Это что еще за фокусы? Ну-ка не реви!

— Я не реву...

— Она не ревет, Маша, что ты! — одышливо заговорил Сонькин отец.— Она хохочет, не видишь, что ли? Это вообще не Ленка Соломина. Та могла танцевать так, что посуда с полок сыпалась и соседи жалобы писали. Помнишь, как она тут верховодила всей шайкой-лейкой? А эта пришла в гости и сто раз извинилась, что зашла. Да еще ковер слезами портит. А цены на ковровые изделия повысились, могла бы знать. К тому же у меня идиосинкразия к женским слезам, тоже могла бы знать.

— Слышишь, что Михаил Борисович говорит?

— Слы-ышу...

— Вот и замолчи! Не изображай из себя садовую лейку! — Она щипнула меня за плечо.— Сейчас я тебя кормить буду. Потом решим: жить тебе дальше или лезть в петлю.

— В пе-етлю, в пе-етлю! — с отвращением простонал Сонькин отец.

Я вытерла слезы платком, просморкалась. Тем временем Мария Афанасьевна расставила прямо на журнальном столике блюдечки, чашки, термос с кипятком, банку кофе и вазу с домашним печеньем.

— Омлет будешь? — спросила она.

— Бу-уду.

В комнате запахло пряно и дурманно — это Михаил Борисович закурил свою ароматическую папироску. Быстро появился шипящий омлет.

— Ешь прямо со сковородки. Вкусней. Ладно?

— Ла-адно...

Они захохотали. Он — кашляя и перхая, тряся лысой головой, она — мелко и заливисто.

Мария Афанасьевна присела на маленькую скамейку (наверно, реликвию Сонькиного детства).

— Ну, вот что, Лена. Почему ты ушла из дома, можешь не рассказывать. Нас интересуют твои планы. Это не секрет?

Я помотала головой.

— Тогда выкладывай.

Как просто! Выкладывай! Знали бы они, сколько я передумала только за сегодняшний день...

— Видите ли, у меня есть тетка по матери. Она живет в Крыму. Но не хватает денег.— Так я начала, все еще пошмыгивая носом.

— У кого не хватает денег? У тебя или у тетки?

— У меня. У тетки всего хватает. У нее свой дом, и сад, и все такое. Она живет одна, дети уже взрослые. Правда, я ее всего один раз видела, она к нам приезжала в гости. Мне она понравилась. Ничего тетка. Рослая такая, с усами,—задумчиво сказала я.

Мария Афанасьевна прикрыла рот ладонью, а ее муж фыркнул.

— Но это неважно,— продолжала я.— Мне нужно рублей пятьдесят на дорогу и на первое время. Вы займете? Я обязательно верну. Заработаю и верну.

— Нет, мы не верим, что ты вернешь! А зачем тебе ехать к тетке? Ты с ней списалась, созвонилась?

Я опять помотала головой:

— Не выгонит же она меня... Сама приглашала в гости.

— Одно дело в гости, другое — насовсем. Есть разница. Как ты считаешь, Михаил?

— Я считаю...— пыхнул папиросой Сонькин отец, и нос его нацелился в меня.— Что тетка... хоть она и с усами... не оптимальный вариант.

— Я тоже так считаю, Лена. Тем более, что ты поедешь не одна.

— Как не одна? А с кем же?

— Да ты вроде сказала, что ждешь ребенка... Или я неправильно поняла?

Я покраснела, даже уши зажгло.

— Да... конечно. Но это будет не скоро. К тому времени я что-нибудь придумаю. Может, квартиру получу.

— Михаил, как ты считаешь, получит она квартиру? — деловито обратилась Мария Афанасьевна к мужу.

— Я считаю... пых-пых!.. что шансы... пых-пых!.. равны нулю,— пропыхтел Сонькин отец.

— И я тоже,— скрепила Сонькина мать, быстрым движением поправляя волосы.— Скажи, Лена, а зачем все усложнять? Зачем смываться куда-то в Крым к неведомой тетке? Ты рассорилась с родителями. Ладно! Но со всем городом ты, полагаю, еще не разругалась? Это было бы слишком даже для тебя!

— Семьдесят две тысячи душ по переписи десятилетней давности,— провозгласил Сонькин отец, гася в пепельнице папироску.— Сейчас, считай, все сто. Пять крупных предприятий, куча всяких организаций и учреждений. Неужели заместитель председателя горисполкома не найдет работу и какую-нибудь комнатуху в общежитии для лучшей подруги своей дочери? Пфф! — фыркнул он презрительно.— На кой его тогда держат?

Они обступали меня, теснили с двух сторон, как прекрасно согласованные, напористые силы. Все мои проблемы они раскусили в пять минут, и достаточно им было переглянуться, чтобы стать одним языком, одним умом.

— Отвечай Михаилу Борисовичу, Лена! Он терпеть не может, когда мямлят. Где в нашем городе ты хочешь мантулить? — Она сама рассмеялась от этого словечка и меня насмешила.

— Вкалывать! Врубать! — перевел Михаил Борисович и зашелся одышливым смехом.

Я сказала, где бы хотела работать: то, что давно обдумала.

Сонькин отец встал, одернул халат, подошел ко мне и пухлой белой ладонью погладил по голове.

— Умница! Освобождаешь зампреда от лишних хлопот. Я уж думал, ты запросишь должность вроде моей... Считай, что работаешь.

В эту ночь я спала, как мертвая.

4

Ворота ярко-голубые, как наше небо. Забор тоже голубой. Желтое рисованое солнце с глазами и ртом улыбается всяк входящему. Внутри на территории цветочные клумбы, маленькие качели, песочницы, деревянные горки.

Было часа два, время сна. Игровые площадки и веранды пустовали, и все одноэтажное ладное здание, тоже голубое, казалось необитаемым.

Я неуверенно поднялась на крылечко, дернула дверь: заперто.

— Вам кого нужно? — раздалось у меня за спиной.

Оглянулась: стоит невдалеке молодая светловолосая женщина в строгом шерстяном костюме и держит за ногу безголовую куклу. Я объяснила, что мне нужна заведующая.

— Пойдемте со мной!

Она направилась в глубину территории; я за ней, пожав плечами. Подошли к деревянному домику с двумя окнами. Оттуда навстречу нам вышла, позевывая, полная женщина в белом халате и шлепанцах.

— А, Зоя Николаевна,— сухо сказала моя провожатая.— Вас-то мне и нужно. Посмотрите, что это такое? — Она протянула безголовую куклу.

Полная неряшливая женщина взяла куклу, повертела ей туда-сюда ноги, равнодушно определила:

— Танька это!

— А вы знаете, где я ее подобрала? Около ворот, чуть ли не на улице. Я уже не говорю о том, что она инвалидка.

Полная прикрыла ладонью зевок.

— Ох, беда какая! Нашли, из-за чего волноваться... И голова где-нибудь валяется.

— Вот именно «валяется»! — У моей провожатой на щеках вспыхнули красные пятна.— Все «валяется»! Все «где-нибудь»! Скоро мы вообще останемся ни с чем.

— Да ладно вам...— пробормотала полная, морщась.

— Не ладно, а имейте в виду.

«Да это же заведующая!» — испуганно мелькнуло у меня.

Полная Зоя Николаевна ушла, позевывая, словно не получила выговор. Из-под белого халата у нее неопрятно торчала юбка.

Мы прошли в кабинет, маленькую комнатенку с цветочными горшками на подоконнике и письменным столом. В одном углу, в ящике, были грудой навалены сломанные игрушки, в другом стояло свернутое знамя.

— Садитесь.

Я села на стул, она за стол. Побарабанила пальцами по краю стола, глядя в окно.

«Двадцать три, двадцать четыре, не больше,— мысленно определила я возраст заведующей.— Красивая какая...»

— Нет, это черт знает что такое! — вдруг воскликнула она, шлепнув ладонью по столу.— Посмотрите, сколько они наломали за последнюю неделю. Я не говорю, что игрушки должны быть вечны. Но нельзя же потакать детскому варварству. А, да что говорить! — Она обреченно махнула рукой.— Вы Соломина?

— Да-а...

— Так я сразу и подумала. Маневич довольно точно описал вас по телефону. Как вас зовут?

— Лена.

— Моя фамилия Гаршина. Вера Александровна. Трудовой книжки у вас, конечно, нет?

— Нет.

— Паспорт, медицинскую справку принесли?

— Да, вот... пожалуйста.

Из своей холщовой сумки я вынула документы и положила на стол. Гаршина даже не взглянула. Потерла ладонью высокий крутой лоб, спросила:

— Когда приступите к работе — сегодня или завтра?

— Могу сегодня.

— Знаете, сколько будете получать?

— Ничего не знаю! — Я вдруг рассердилась на ее сухой, казенный тон.

— Семьдесят пять рублей. Ваша должность — няня. Кроме вас, есть еще одна няня. Но вы очень-то на нее не рассчитывайте. Старуха, к тому же ленивая. Что поделаешь! Няни — дефицит! Вот вы обживетесь, начнете капризничать, бунтовать, склочничать, а я даже не смогу вас выгнать. Не понимаю, зачем вам понадобилась помощь Маневича?

Я промолчала. Гаршича пригорюнилась, глядя в окно. Светлое, чистое лицо, крутой лоб, светлые гладкие волосы стянуты в тугой узел на затылке... «Интересно, замужем?» — подумала я.

— А почему вы выбрали детский сад? — неожиданно спросила Гаршина.— Есть работа и полегче.

Что ей ответить? Не станешь же рассказывать, как вечно возилась в нашем дворе с малышами, как они иной раз вызывали меня хором из дома... как всегда было весело, если вокруг носились счастливые, самозабвенные мордахи...

— Сама не знаю,— скучно соврала я.

Гаршина лишь пожала прямыми плечами, встала из-за стола и повела меня знакомить с персоналом.

Неудачи идут полосой, всем известно, а уж если повезет и жар-птица присядет к вам на плечо, постарайтесь ее не спугнуть!

У меня появился свой дом. Да, да, не свой угол, не своя комната, а именно свой дом. И не какой-нибудь: из трех просторных комнат, прекрасно обставленных. И свой сад, окруженный бетонным забором, с персиковыми и айвовыми деревьями. И даже свой маленький бассейн в саду.

Все это чудо сотворили Маневичи. Они привезли меня сюда вместе с моим чемоданом и вручили ключи: один от железной калитки, второй от парадной двери, третий от черного хода с веранды и четвертый от летней кухни в глубине сада — целую связку.

Пока мы ехали сюда, они не сказали ни слова, лишь загадочно переглядывались, и я, как ни фантазировала, не могла вообразить ничего лучше «комнатухи» в каком-нибудь заводском общежитии, которую удалось раздобыть Михаилу Борисовичу.

Когда мы вошли в этот дом, я подумала, что Маневичи подыскали для меня угол у каких-то своих знакомых, и лишь недоумевала, где же хозяева.

Когда они вручили мне ключи и сказали, что вся эта резиденция моя, я невесело засмеялась этой шутке.

Когда Мария Афанасьевна объяснила мне, что к чему, я шлепнулась на стул.

Когда я так шлепнулась и обалдело глядела на них, они радостно хохотали.

Когда они ушли, я недоверчиво, как кошка, подброшенная в чужой дом, обошла комнаты, заглядывая во все углы и принюхиваясь к незнакомым запахам.

Когда я осознала, что все это действительно мое — пусть временно! — то так подпрыгнула, что екнула селезенка.

В спальне, где стояли две широченные деревянные кровати, я подняла телефонную трубку и набрала домашний номер.

Ответил отец. Едва прозвучал его голос, как я поняла, что он пьян.

— Позови маму,— твердо попросила я.

— А! Доченька любимая! — шумно приветствовал он меня.— Явилась — не запылилась! А мы уж решили — уехала. Раздумала, значит? Молодец!

— Позови маму, слышишь?

— Со мной, значит, уже и говорить не хочешь? Отец тебе не собеседник? А я вот настроен с тобой потолковать. Где ночуешь, дочь? Под забором?

— Ты позовешь маму или нет?

— Нет твоей матери! — заревел отец.— Шляется где-то, как ты! Сочувствия у людей ищет!

— Тогда слушай, что я тебе скажу, и передай ей. Я никуда не уеду. Я нашла работу и квартиру. Уже работаю. И крыша над головой есть, понял? К вам не вернусь. Не ищите меня и... не беспокойтесь обо мне.

— А кто о тебе беспокоится, кто?

— Ну, тем более! Тогда забудьте обо мне.— Я хотела повесить трубку.

— Эй, Ленка! — заорал отец.

— Чего тебе еще?

— Где это ты, хотел бы я знать, работу нашла? И квартиру? Врешь ты все! Помыкаешься и явишься домой. Приходи, дочь! Мы тебя примем, не думай. Только помни условие.

Ну, вот и все. Еще надо было написать письмо Вадиму и Соньке.

Опять я обошла весь дом и вновь пережила радость доброго чуда. Девять месяцев! Значит, я уже рожу, когда хозяева вернутся из своей заграничной командировки. Достанется, наверно, Маневичам за самоуправство. Да нет, вряд ли. Мария Афанасьевна говорила так убедительно:

— Перестань мудрить, Лена! Заплатишь им за электричество — и все. А может, и этого не понадобится. Главная твоя забота — не спалить дом. Живи! А приедут, придумаем что-нибудь еще. Чао! — засмеявшись, сказала она на прощание.

Перед этим Маневичи предложили пожить у них, но я, конечно, отказалась.

Кроме спальни и гостиной, в доме был рабочий кабинет с замечательным письменным столом. Что меня порадовало — книги! Полки ломились от них. Хотя здесь было много всякой технической литературы — в основном, по нефтехимии,— на мою долю все равно оставалось, читать — не перечитать!

Я вышла во двор и закрыла на засов калитку. Вернулась в дом и заперла изнутри парадную дверь. Закупорила себя в этом удивительном жилище, где стояла такая тишина, будто оно повисло между небом и землей, вдали от вечернего города. Потом прошлась по комнатам и всюду выключила свет (надо экономить!), оставила гореть лишь лампу в кабинете. Уселась за хозяйский стол, чтобы написать письма.

Вот тут-то меня охватил страх, да какой! Сердце замерло, сжало горло.

Что же я делаю? В своем ли я уме? Через семь месяцев... уже в мае, а то и раньше... у меня появится ребенок. Не успеешь опомниться, а он уже кричит, бьется — живой, настоящий! Как я справлюсь с ним одна? Надо же еще зарабатывать деньги и учиться тоже. А как же он?

Я сидела испуганная и потрясенная. Пока я ссорилась с матерью и отцом, пока с пылу-жару собирала чемодан, да и потом,— эти простые вопросы не приходили мне в голову. Я защищала *себя*, дралась за *свои* права и думала о нем и себе, как о чем-то неразрывном. Но он — это не я. Он не

может надеяться на «авось, проживу». Я буду отвечать не только за себя, как сейчас, но и за его жизнь, такую уязвимую! И тут уж не обойдешься, Ленка, одними благородными чувствами. Он станет плотью и кровью, криками и слезами... и что же ты будешь делать?

Я приложила ладони к животу и сидела, не дыша и не шевелясь. Закололо в груди, на лбу выступил пот. Мне почудился тонкий, умоляющий голос. Он повторял: «Мама, мама!» В этом пустом доме я была не одна.

В воскресенье, часов в одиннадцать, ко мне пришла Мария Афанасьевна. Почти всю ночь я не спала. Она сразу спросила:

— Ты не больна, Лена?

— Да нет, так, ничего...— пробормотала я.

— Тошнит, наверно? — сразу определила она мой недуг.

Я кивнула, но дело, конечно, было не в этом, хотя ночью меня неожиданно вырвало.

Мы прошли в роскошную гостиную и устроились в креслах. Мария Афанасьевна была в брючном костюме вишневого цвета. Он ловко сидел на ее маленькой, стройной фигуре. Темные пышные волосы... сухое лицо с яркими, живыми глазами... Жаль, что Сонька пошла не в нее.

— А я шлепаю с базара, думаю — дай загляну,— как-то рассеянно начала она. Тут же тряхнула головой и засмеялась: — Вру! Собралась я к тебе, а потом решила заодно заглянуть и на базар. Ты курила здесь?

— Да, одну сигарету.

— Интересно, а Сонька курит?

— Я не видела. Нет, наверно.

— Скорее, да, чем нет. Тебе-то не стоит увлекаться. Какой месяц?

— Уже два,— помедлив, ответила я.

— Еще два. Так будет точнее. Плохо переносишь?

— Да нет... ничего. А как это — плохо?

— Плохо — это когда тошнит все время, головокружения, слабость, дурнота. Хочется лечь и не вставать. Противно смотреть на пищу. Да уж если плохо, то сразу понимаешь, что плохо!

— Значит, еще не очень плохо...— неуверенно улыбнулась я.

— Значит, счастливая! А вот я, когда носила Соньку, то была человеконенавистницей. Серьезно! Сонька дала мне жару.

Я не знала, что ей сказать. Молчала.

— Ты жалеешь, что все так получилось? — осторожно спросила Мария Афанасьевна.

Я быстро вскинула голову.

— Нет!

— Совсем нет?

— Совсем нет.

— Ну этого быть не может! — не поверила она и подняла тонкие брови.

— А я вот говорю: нет! Ни одной минуты не жалею. Это правда. Я только думаю... Ох, Мария Афанасьевна!

— Что? — живо спросила она, подавшись вперед.

— Хоть бы вы мне сказали, что мне делать! Я совсем запуталась.

— В чем?

— Не знаю. В самой себе, наверно.

— Боишься рожать?

— Не рожать, нет! Я даже умереть не боюсь.

— Я неправильно выразилась. Боишься за ребенка? За его будущее?

— Да.

Она помолчала, покусывая губы.

— Что ж, Лена, выхода всего два. Обычно в жизни бывает куча вариантов — только выбирай. А тут два.

— Вот именно — два! И оба страшные.

— Не настолько, как тебе кажется. Большинство женщин так или иначе попадает в твое положение. Многие решаются на хирургическое вмешательство. В конце концов это апробированная операция,— безмятежно проговорила Мария Афанасьевна, но на лбу у нее вспухла жесткая морщинка.

— Вы мне советуете...

— Нет, я тебя посвящаю. Решившись на аборт, может быть, совершаешь благое дело: освобождаешь своего ребенка от тягот жизни... Да и самой проще. Свободная, веселая, деятельная! Снова влюбляйся, бегай на танцульки, выходи замуж.

— Я не хочу снова влюбляться, бегать на танцульки, выходить замуж.

Мария Афанасьевна встала и быстро заходила по ковру туда-сюда.

— Ерунда! Фу, какая ерунда! Время — лекарь, вылечивает. Да потом у тебя все впереди. Захочешь иметь ребенка—будет ребенок. Природа милостива.

— Как вы говорите...

— Как я говорю?

— Цинично.

— Да? Ты думаешь?— быстро спросила Сонькина мать, снова останавливаясь.— А может быть, логично? Молодость-то у тебя одна. Потратишь на пеленки — не останется для себя. Рожать — это такое самопожертвование, что за него даже медали дают, как на фронте! А спрашивается: во имя чего такой подвиг? Никакой гарантии, что твой ребенок отплатит тебе любовью.

Я тяжело задышала через нос. Смотрела на Марию Афанасьевну во все глаза: неужели она это всерьез?

— Нет, Лена, благоразумие и благополучие куда лучше! Сердце не изнашивается, морщин меньше, сил больше. Одна беда, что от погоста все равно не убережешься. Ну, да ведь и умереть можно благоразумно: не от тревоги, не от волнения — от обычной старости. Согласна?

— Мне противно то, что вы говорите. И я... не верю, что вы так думаете. Не надо мне таких советов!

Мы некоторое время мерялись взглядами.

— Раз так, Лена, значит, остается только один выход. Да ты, по-моему, его уже сделала.

— Теперь — да. После ваших слов.

Мария Афанасьевна вдруг подбежала ко мне и порывисто поцеловала в щеку.

Потом мы пили чай и разговаривали о Соньке.

5

Мой рабочий день начинался в семь часов утра, а заканчивался... по-всякому. Бабка Зина, моя напарница, о которой предупреждала Гаршина, и правда, оказалась плохой помощницей. То она бюллетенила, то жаловалась на недуги и просила заменить ее. Я не понимала, куда она все время спешит, пока бабка Зина сама не призналась, что у нее есть работа на стороне — нянчит какую-то девчонку, за что «хозяева» платят ей сорок рублей.

— Жить-то надо, девонька,— скорбно поджимала она губы. При этом маленькие ее глаза оплывали слезами, все лицо сморщивалось— прямо му́ка человеческая!

— Ладно, баба Зина, идите,— вздыхала я.

— Вот спасибо, девонька! Вот спасибо, внучка! — радовалась она и поспешно убегала.

Однажды вечером Гаршина вошла в игровую комнату, где я мыла пол. Большинство ребят уже развели по домам, оставшиеся без присмотра носились во дворе, около песочницы. Гаршина некоторое время молча наблюдала, как я орудую тряпкой на длинной палке. Потом спросила бесстрастным голосом:

— Соломина, в чем дело?

Я разогнулась, убрала рукой волосы с лица. Меня подташнивало, я облизала сухие губы и вдруг, внезапно, сразу возненавидела ее — свежую, яркую и нарядную. Опять какая-нибудь нотация! В первые дни она только тем и занималась, что выговаривала мне за всякие упущения.

А Гаршина продолжала:

— Почему вы работаете одна? Где баба Зина? Чего ради вы позволяете ей эксплуатировать себя? Она вам платит за это?

— Никто мне не платит! Еще не хватало! Я ей помогаю — и все.

— Помогаете? — с усмешкой переспросила она.— А вы знаете, чем она занимается, пока вы тут ишачите? Торгует на барахолке. Спекулирует всяким дефицитом. Вот кому вы помогаете!

У меня даже палка выпала из рук.

— Неправда!

— Правда чистейшая! Вы получаете гроши, а у нее чулки трещат от тысяч. Не смейте ей помогать!

Я стояла пораженная.

— И потом, почему вы вчера до обеда играли с детьми, пока Зоя Николаевна бегала в магазин за сервелатом? Я не против дружеской помощи. Но не делайте из себя козла отпущения. Присматривайтесь к людям, Соломина! Разбирайтесь что к чему! — И она вышла.

Пока я разбиралась что к чему, в детской спальне загремело ведро. Кто бы это? Ребятня добралась, что ли, до моего технического инвентаря?

С палкой в руке я направилась в спальню шугнуть их и увидела Гаршину. Кремовый жакет ее висел на спинке кровати. А она в белейшей блузке, трикотажной юбке и модельных туфлях стояла на коленях и возила тряпкой под кроватями.

Я понаблюдала за ней, рассмеялась и сказала:

— Вера Александровна, зачем вы делаете из себя козла отпущения?

Гаршина разогнулась, без улыбки взглянула на меня своими голубыми глазами, отчеканила:

— Очень просто! Не хочу, чтобы вы пали, как загнанная лошадь!

Больше мы с ней в тот день не разговаривали. Она вымыла в спальне и ушла.

А бабке Зине я при первой же встрече сказала:

— Баба Зина, бог —вон он! — И указала пальцем вверх.— Он все видит, учтите!

— Все видит, ой, все видит, девонька! — горячо и поспешно согласилась она.

«Да что ж это такое? — думала я.— Неужели все время буду бродить в потемках в этой странной взрослой жизни? Неужели ничему не научилась? Как просто было в школе: каждый будто просвечивался насквозь. Этот добродушный, глуповатый... тот умный, злой... этот болван... тот открытая душа... Почему же здесь все так запутанно? Каким рентгеном просвечивать этих поживших людей, чтобы разгадать их?»

Бабка Зина на время притихла, но на сцену выступила Зоя Николаевна Котова, та самая полная неряшливая женщина, которую в первый день при мне отчитывала Гаршина.

Я мыла посуду после полдника, когда услышала за окном громкий, отчаянный плач. Повариха тетя Поля испуганно застыла около плиты с поварешкой в руке. Она ничего не делала вполовину: удивлялась— так с открытым ртом, пугалась — так до икоты, а хохотала до удушья.

Выглянув в окно, я увидела Котову. Она свирепо драла за ухо черноволосую, в зелененьком шерстяном костюме девчонку — Фирузу Атабекову. Не помню, как я вскочила на подоконник, спрыгнула на веранду и помчалась к ним.

— Вот тебе, дрянь! Вот тебе! — приговаривала Котова.

Девочка заходилась от крика. Издалека поглядывали, прекратив игру, другие ребята.

Я налетела на Котову:

— Перестаньте немедленно!

Воспитательница отпустила Фирузу; та побежала со всех ног, упала и, поднявшись, снова пустилась наутек.

— Вы что же делаете? — упавшим голосом выговорила я.

Она непонимающе взглянула на меня. Тряхнула головой, пробормотала:

— Тебя не спросила, что делаю... Смотри! Видишь? Нужду в песочнике справила...

— Ну и что? Ну и что? Разве можно за это бить?

— Кто ее бил? Ты говори, да не заговаривайся...— Котова отходила от гнева — полное одутловатое лицо ее разгладилось.— Чего примчалась? Отодрала за ухо, вот невидаль. Не умрет.

Только тут я увидела, что в руке у меня зажата вилка.

— Посмейте еще раз тронуть кого-нибудь! Честное слово, я не знаю, что сделаю!

Котова уперла руки в бока.

— Ох, напугала! Прямо дрожь в коленках! Я тебе вот что скажу. Ты заводи своих детей и воспитывай. А я без тебя знаю, как с ними нужно обращаться.

Я даже зубами скрипнула.

— Хорошо. Раз так, я доложу обо всем заведующей.

Гаршина, легка на помине, показалась на веранде и быстрым шагом направилась к нам. Наверно, повариха кликнула ее на помощь.

Лицо у Гаршиной было совершенно белое, губы плотно сжаты, а зрачки неподвижны.

— В чем дело? — спросила она, подойдя.

— Да вот, Вера Александровна, Атабекова нагадила прямо в песочник, я ее за ухо дернула, а эта вот налетела,— пожаловалась Котова. Ее ничуть не напугал свирепый вид Гаршиной.

— Дернули за ухо?

— Ну да, дернула разок. Она такая бесстыдница, я вам скажу. Для нее никаких приличий не существует, серьезно.

— Вы о ком говорите?

— Об Атабековой, о ком же.

— Атабековой три года, а вы предъявляете к ней претензии, как ко взрослой. Я вас давно хочу спросить, Зоя Николаевна, вы не больны?

— Я? С чего вы взяли?

— Да с того, что я иногда сомневаюсь в здравости вашего рассудка. Кричите на детей, говорите им гадости, а теперь уже дошло до рукоприкладства.

Вот что! Давайте без скандала. Вам давно пора подать заявление и уйти по собственному желанию.

Котова тяжело задышала. Подшагнула к Гаршиной.

— Это ты скорее уберешься, чем я...— с придыханием заговорила она.— Нашлась цаца! Слюнтяйничать научилась в своем институте. Да я таких в гробу видела!

Я испугалась, что Гаршина сейчас грохнется в обморок, такая она была белая и глаза какие-то невидящие. Но она лишь сказала:

— Все! Разговоры окончены.— И повернулась ко мне: — А вы занимайтесь своим делом и не вмешивайтесь в чужие.

— Как это не вмешиваться? — отчаянно выскочило у меня.

— Очень просто. Не вмешивайтесь. Для вас лучше будет.

Она пошла в административный домик, я в кухню, а Котова осталась на месте, глядя, наверно, нам в спины.

Я ожидала, что назавтра Котовой уже не будет на работе. Как же иначе? Разве простит ей Гаршина такое оскорбление?

Но она утром, как обычно, появилась в столовой, сонная, неряшливая и громогласная. Со мной поздоровалась и сразу после завтрака увела свою группу на прогулку.

Странно...

Я быстренько убрала со столов и отозвала в сторону повариху тетю Полю. Слышала она вчерашний наш разговор? Тетя Поля слышала — как не слышать, орали-то как! Что она думает на этот счет? Почему Котова работает как ни в чем не бывало? Понимает тетя Поля что-нибудь?

Повариха сердито одернула фартук, засопела, замигала страдающими глазами. Чего тут понимать-то? Она, небось, не первый год кухарит, всякого насмотрелась. Что эта Зоя Николаевна неряха да ору́чая — кто же спорит? Ее давно пора скалкой прогнать из детсадика. Только Вера Александровна слаба против этой чертовки!

— Как слаба? Почему?—не поняла я бормотаний и вздыханий поварихи.

— Да ты глупая, что ли? — осерчала она, хлопнув себя ладонью по огромному колену.— У той муж где работает? В гороно! Над всеми нами начальник и над Верой Александровной тоже. Он что скажет, то и будет, поняла? Куда Вере Александровне против него! Зубы обломает — не укусит.

— Какая ерунда! —рассердилась я на глупость тети Поли.— Что ж, по-вашему, на нее управы нет?

— Нету,— убежденно сказала повариха, шумно вздохнула и впала в какое-то оцепенение.

Я смотрела на нее и думала: «Вот, пожалуйста! Дожил человек до старости, а чему научился?»

Отправилась я к Гаршиной.

Она сидела в своем кабинете и пришивала ногу тряпичной кукле. Увидев меня, отложила куклу в сторону.

— Что вам? —Голос сухой, официальный. Она даже не предложила мне сесть. Ладно!

— Я хочу сказать, Вера Александровна...— Почему-то у меня язык с трудом поворачивался называть Гаршину по имени-отчеству; молодость ее мешала, наверно.—...Вы как хотите, а я Котовой не прощу. Пожалуюсь в гороно и добьюсь, чтобы ее наказали. А вы как хотите! — запальчиво выложила я.

Тонко подведенные брови на ее светлом лице приподнялись, голубые глаза глянули на меня холодно и удивленно.

— Кто вам сказал, что я собираюсь прощать Котову?

— Никто не говорил. Но я слышала... Вам, возможно, не хочется ссориться с гороно. Мне же все равно. Я сделаю, как решила. Таким, как она, не место рядом с детьми. А сегодня опять повела на прогулку! Представляете, как она орет на воле, если здесь так распоясывается! Вы как хотите, а я решила.

— Ну-ка сядьте! — приказала она.

Я села со злым лицом на стул.

— То, что ей не место рядом с детьми, верно,— ледяным голосом сказала Гаршина.— Остальное — чушь! Вот докладная в гороно.— Она двумя пальцами с длинными ногтями брезгливо подняла за угол какой-то листок.— Вы, конечно, тоже можете жаловаться. Ваше право. Но вряд ли это будет эффективно. Вы не воспитатель, специального образования у вас нет. Здесь вы недавно. Это будет холостым выстрелом. Не советую.— Она отбросила лист, как какое-то гадкое насекомое.—А относительно меня... что ж. Продолжайте чесать язык с бабой Зиной, тетей Полей — с кем хотите. Только не смейте мне больше докладывать о ваших умозаключениях, основанных на кухонном трепе! — гневно выкрикнула она.

У меня запылало лицо. Я встала, чтобы уйти, но тут за окном послышался рев мотора. Почти сразу же дверь распахнулась, словно от пинка, и в кабинет влетел высокий мальчишка в кожаной куртке и мотоциклетном белом шлеме.

— Кто тут заведующая? —фальцетом выкрикнул он.

Гаршина встала.

— Я заведующая.

— А я Атабеков!

Так мог бы выкрикнуть молодой господь бог: «А я господь бог!» Гаршина спокойно оглядела его.

— Очень приятно. Вы, вероятно, родственник Фирузы. Брат?

— Я ее отец! Она моя дочь! — взвизгнул мальчишка, срывая с себя шлем.

Гаршина слегка смутилась от своей ошибки. А я уставилась на него, не в силах поверить.

— Извините. Садитесь,—поспешно исправила оплошность Гаршина.

Мотоциклист взмахнул шлемом, словно собираясь запустить им в окно.

— Некогда мне у вас тут сидеть!— тонко завопил он.— Почему мою дочь бьете? Я домой приехал, а мне говорят: твою дочь избили!

— Подождите...

— Нечего мне ждать! Фируза — моя дочь!

— Подождите, я вам объясню. Воспитательница, которая наказала вашу дочь, поступила неправильно. Она сама будет наказана.

— Где она?

— На прогулке с детьми.

— Где прогулка?

Гаршина вышла из-за стола.

— Этого я не знаю. И не советую вам ее искать. Говорю вам совершенно официально: она будет наказана. Больше такого не повторится. Не горячитесь.

Но он ничего не слышал. Глаза блестели, бегали из стороны в сторону. Нахлобучил на лохматую го-

лову шлем. Срывающимися пальцами стал застегивать.

— Это моя дочь! Фируза — моя дочь! — И выбежал из кабинета. Тут же взревел мотоцикл.

Мы не меньше минуты молчали. Потом Гаршина задумчиво сказала:

— Не завидую Зое Николаевне...

6

В этот же день около ворот я встретила маму. Она меня поджидала, прячась за деревом, будто какой-то сыщик, но разыграла случайную встречу.

— Ой, Лена! Здравствуй. Откуда ты?

Накрапывал дождь. На маме был темный плащ и старушечий какой-то платок на голове. Но выглядела она неплохо: лицо свежее, подпудренное, подкрашенное.

Я усмехнулась маминой уловке. Сейчас скажет, что шла в магазин. Не может она без обмана, пусть даже бессмысленного...

— Наконец-то встретились! — радостно продолжала она.— А я на «маслянку» решила в магазин сходить. Что ты здесь делаешь?

— Ты знаешь, мама, что я здесь делаю. Работаю.

— Работаешь тут? Откуда же мне знать? Господи, Лена, какой у тебя вид больной! Подурнела как...— Глаза ее бегали, боясь моего взгляда. Вся она была какая-то фальшивая и суетливая в своей радостной растерянности.— Ну, как ты? Как живешь?

— Все в порядке, мама. Живу, работаю. А то, что подурнела, это в порядке вещей. Сама знаешь.

— Как не знать! Знаю. Ты куда теперь, Лена?

— Домой.

— Домой! — с горечью повторила она.— Разве у тебя там дом? Где ты живешь? Почему ничего не даешь о себе знать? Разве так можно, Лена?

— Послушай, мама, не будем начинать все сначала. У меня все в порядке, я же говорю. А у вас как?

— У нас? Давай хоть отойдем отсюда...

— Хорошо, давай отойдем.

Мы пошли по тропинке вдоль детсадовского забора, совсем в противоположную сторону от «маслянки», куда мама спешила в магазин.

— У нас, Лена, все по-старому. Папа вышел на работу. Ездит далеко за город, там у него объект. Устает. Я тоже работаю, как прежде. Вадим прислал письмо, спрашивает про тебя. А что я могу ответить? Ты бы написала ему...

— Я написала.

— Ты знаешь, Лена, он хочет перейти на заочный. Зачем ему это? Ты бы его отговорила.

— Нет, мама, я не буду отговаривать. Он знает, что делает.

Она поджала губы и несколько шагов шла молча. Потом опять продолжала:

— Вот так и живем, Лена. Папе путевку предлагают в санаторий, подлечиться. Может быть, и я с ним поеду, не знаю еще... Как ты думаешь: надо ли?

Она советовалась со мной!

— Конечно, поезжай. Отдохни.

— Думаешь, поехать? Ох, не знаю! Я ведь ни минуты спокойно не живу, Лена. Все о тебе думаю. Измучилась вся.

— Ну и зря. У меня все в порядке,— тускло повторила я.

Равнодушие! Вот что я чувствовала. И больше ничего. Будто мне говорят о каких-то неинтересных, посторонних делах, не имеющих ко мне ровно никакого отношения, далеких, как чужие звезды.

— Лена, а Лена! —вдруг искательно сказала мама и заглянула мне в лицо.

— Что, мама?

— Ты домой разве не думаешь возвращаться, Лена?

— Нет, мама.

— Да как же так? Разве так можно? Ты ведь наша дочь, не кто-нибудь. Мы же тебя любим, Лена. Мне на людей совестно смотреть. Все спрашивают: где ты, что с тобой? Друзья твои опять приходили. Уж вру, что придется...

— А ты не ври, мама. Скажи правду.

Какое-то отупение на меня напало. Хоть бы что-нибудь шевельнулось в душе — жалость или сочувствие,— нет же, ничего! Я сорвала стручок акации с ветки и надкусила твердую горьковатую кожицу.

— Какая ты стала спокойная...— пробормотала мама.

— Да, я спокойная. Очень спокойная. А что, мама, папа пьет?

— Нет, уже нет. Так, совсем немножко,— быстро проговорила она.

Я засмеялась. Никакой детектор лжи не выдержит мою маму —сломается от перегрева! А может быть, думала я, она по-своему искренна? Живет своими иллюзиями, своими маленькими надеждами и принимает их за настоящую реальность... Тогда это не обман, а заблуждение. Но мне-то от этого не легче!

— Чем же он занимается в свободное время, если не пьет?— без всякого интереса спросила я.

— Ну, как чем! Телевизор же есть. В домино играет с приятелями. А потом... в гараже возится. Он же машину купил с рук, а она что-то барахлит. Все время о тебе говорит, Лена!

— Да ну?

— Все время. Без конца. Беспокоится о тебе. Меня корит. Думает, думает...

— Как бы у него голова не заболела от дум! — с неожиданной злостью перебила ее я. Она испуганно взглянула на меня.— А ты, мама, кажется, в магазин собралась? — продолжала я, чувствуя, что вот-вот сорвусь.

— Ты что же, Лена, гонишь меня?

— Да нет. Просто незачем переливать из пустого в порожнее.

— Лена!

— Что?

— Дочка!

— Что «дочка»?

— Пожалей ты нас. Сделай, как мы просим! Я с Розой Яковлевной обо всем договорилась. Пожалей ты нас!

На этом наше свидание и закончилось. Я молча зашагала прочь. Холодно было, ветрено — может быть, поэтому меня так трясло? Да нет, конечно. Мама опять разбередила то, что уже начало заживать и успокаиваться, а теперь заболело сильней, чем раньше.

Пожалеть их! Вот что я должна была сделать.

От Соньки пришло письмо и через несколько дней — от Вадима. Ответы на мои письма.

Сонька прислала фотографию. Она снялась где-то в поле: в рабочей куртке с закатанными рукавами, повязанная косынкой, низенькая, толстая и хохочущая. На дальнем плане три смутные личности и борт тракторного прицепа.

«Это мы на уборке,— поясняла Сонька в письме.— Ох, и наломали спины, жуть! Посмотри на парня, крайнего слева. Как он тебе? По-моему, ничего, а? Это Боря. У меня с ним... Тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить!»

Единственное, что я разглядела в этом парне,— очки на носу, ничего себе очки...

Сонькино письмо было неряшливое, радостное и смешное, все об ее житье-бытье. Мои новости она комментировала так:

«Ну, Ленка, ты даешь! Я просто не знаю, что сказать. У меня слов нет. Какая у меня подруга! Ленка, Ленка, я тебя люблю! И уважаю. И все такое. Обещай, что будешь мне писать про все, про все. А об этом типе ты не думай. Вот гад! Если я его встречу на улице, я ему такое скажу...»

И все в этом же духе. Я лишь улыбнулась, прочитав. До меня ли теперь Соньке с ее Борей и институтским круговращением! Я решила больше не писать ей.

Вадькино письмо заставило меня заплакать, едва я его вскрыла. Там между двумя почтовыми листками была вложена десятирублевка. Как он сумел выкроить из своего бюджета, не знаю...

Приписка была совсем короткой:

«Сестра, здравствуй! Не вздумай отсылать назад эту купюру. Вышлешь — не буду получать. Вскоре смогу оказать тебе более существенную помощь. Никаких «не надо». Помалкивай!

В том, что случилось, разбирайся сама. Мои советы не помогут. Голова у тебя есть, вот и думай.

У меня все в норме. Оформляюсь на заочный. Собираюсь на Север. Новый адрес сообщу. Пиши.

Вадим».

Накануне я получила зарплату. Из нее двадцать рублей отложила в ящик. Наберу еще тридцать и отдам долг Маневичам. От их денег у меня оставалось двенадцать рублей. Плюс Вадькина десятка. До аванса можно было вполне дотянуть, если ничего не покупать. А мне очень нужны были зимние сапожки. Старые лежали дома, да они уже совсем износились, и хотя снег у нас редкость (иногда нападает и растает), но в туфлях зиму не проходишь. Поразмыслив, я поняла, что придется обойтись войлочными сапожками за восемь рублей. Демисезонное пальто (такое в клетку, с капюшоном) у меня было и вязаная шапочка тоже. Так что, перезимую, не умру.

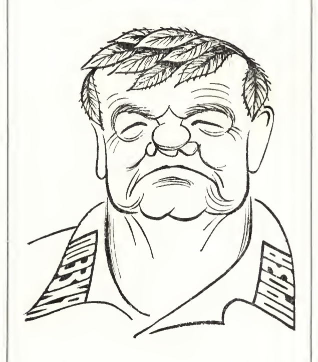
Вообще с деньгами (после того, как отдам долг Маневичам) получалось неплохо. Обедать я могла в детсаду, за что с меня высчитывали пустяки, а завтрак и ужин готовила себе сама. На базаре я купила десять килограммов картошки, притащила домой и ссыпала на веранде. Закупила оптом чаю, сахару, круп,—словом, набила свое дупло, как белка. На какое-то время этого должно было хватить.

Так что свободные деньги у меня — если ничего особенного не покупать, кроме мелочей,— должны были оставаться. И я решила — хоть расшибись! — откладывать каждый месяц по двадцать рублей, чтобы к маю что-то было в копилке.

Отменить майское событие я уже не могла, как не в состоянии была остановить время.

(Окончание следует.)

Леониду Николаевичу МАРТЫНОВУ—75 ЛЕТ



Ваш
Стих вошел
В дома любые —
И серые
И голубые,
Оставив яркий,
Добрый след
В людских сердцах
На много лет.

Редакция «Юности» и миллионы ее читателей шлют Вам, замечательному поэту и давнему автору нашего журнала, свои самые сердечные поздравления, желают Вам и Вашей музе все той же душевной молодости и свежести, которыми отмечены все Ваши книги. Доброго Вам здоровья, бодрости, долгих лет жизни, новых прекрасных книг.

ПРОЗА

АНАТОЛИЙ ТОБОЛЯК

ОТКРОВЕННЫЕ ТЕТРАДИ

ПОВЕСТЬ

Тетрадь пятая

1



Молодой отец Атабеков закатил Котовой грандиозный скандал. Воспитательница Мальцева рассказывала, что мальчишка подкараулил Зою Николаевну, когда та вышла из ворот детсада, и помчался на нее на своем свирепо-красном рычащем мотоцикле. Котова закричала, заметалась туда-сюда, а потом побежала, и он гнал ее по тротуару, как охотник трепетную лань... (Если только к Зое Николаевне подходит такое сравнение.) Потом он на нее вопил, а она так была потрясена, что ничего не могла ответить, и кончилось тем, что прохожие скрутили дикого отца семейства и вызвали милицию.

Зоя Николаевна с неделю ходила тихая и задумчивая, будто постигшая какой-то новый смысл жизни. С маленькой Фирузой она разговаривала таким ласковым голосом, что девчонка пугалась и съеживалась.

Я отложила на время поход в гороно, ждала дальнейших событий. Они последовали.

Как-то рано утром, сразу после завтрака, воспитательница Мальцева, унылая, болезненная женщина, с которой я толком ни разу не разговаривала, сказала, что меня зовет к себе Гаршина. Я вымыла руки после грязной посуды и пошла в знакомый кабинет.

Гаршина сидела за своим столом и невидяще смотрела в окно. На щеках ее пылали красные пятна.

На стульях около стены расположились Котова, необыкновенно свежая и чистая, в белой блузке и темном жакете, и две незнакомые мне женщины. Одна, сравнительно молодая, в очках с золотой оправой, курила, держа пепельницу на коленях. Другая, лет так пятидесяти, тучная, с крупной бородавкой на щеке, писала что-то в блокноте.

Гаршина посмотрела на меня, даже не на меня, а сквозь меня, и произнесла засушенным голосом:

— Соломина, вам надо кое-что объяснить этим товарищам из гороно. Садитесь.

Ну, что ж, я села напротив пришелиц и Котовой, лицом к окну. Сложила руки на коленях, как пай-девочка. Первый же вопрос меня ошарашил.

— Скажите, вы давно знакомы с отцом Фирузы Атабековой?

Это спросила молодая женщина, пуская дым.

— Как — давно знакома? Нет. Один раз видела его здесь. А почему вы спрашиваете?

— Спрашиваю, значит, есть основания. Вы знаете, что он получил пять суток за хулиганство?

Рисунки И. БОЛЬШАКОВОЙ.

Окончание. Начало см. в №№ 4—5 за 1980 год.

— Нет, не знаю.— Я пристально смотрела на нее. Мысленно я уже называла ее «очковой змеей».

— А как вы считаете, заслуживает он такого наказания?

Вот оно что! Сразу будто пелена с глаз спала.

Пожилая с бородавкой молчала и что-то быстро строчила в блокноте. «Стенографирует она, что ли?» — подумала я. Эта мысль меня почему-то развеселила, язык сам собой развязался.

— Его правильно наказали. Он же мог сделать Зою Николаевну заикой. Верно, Зоя Николаевна?

— Ты чего говоришь? Ты думай, чего говоришь! — отозвалась она.

— Подождите, Зоя Николаевна, подождите! — остановила ее женщина с сигаретой и успокоительно прикоснулась пальцами к руке Котовой.— Послушаем дальше.

— Ну, вот,— продолжала я радостно,— его, значит, наказали правильно. Но не забывайте о Фирузе. Она хоть и малышка, но тоже человек и гражданин. К тому же она не может дать сдачи.— Я начала задыхаться.— А Зоя Николаевна драла ее за ухо, как садистка. Зою Николаевну тоже надо лишить свободы. На пятнадцать суток. Вот мое мнение.

Сразу стало очень тихо. У пожилой женщины карандаш остановился в руке; она взглянула на меня испуганными глазами. Гаршина рассматривала свои ногти. У Котовой затряслись щеки и задрожали губы. Она открыла рот, но молодая гостья ее опередила.

— Вы осознаете, Соломина, что говорите?

— Да, осознаю. Вполне. А у вас другое мнение?

Она задавила сигарету в пепельнице.

— У нас, если хотите знать, такое мнение, что с вашим появлением в детском саду начались склоки и распри. Зоя Николаевна, безусловно, виновата, и она будет наказана по административной линии. Вы поступили грубо и непедагогично, Зоя Николаевна! Правда, любой воспитатель, самый хороший, не гарантирован от ошибок... Но ваше поведение, Соломина, ничем нельзя оправдать. Вы устраиваете сцены при детях, вмешиваетесь в воспитательный процесс, ведете себя нагло и развязно. У нас есть основание считать, что это вы натравили Атабекова на Зою Николаевну, раздув в его глазах инцидент с дочерью.

Я ахнула, но ее это не остановило.

— Неужели вы полагаете, что рекомендация Михаила Борисовича Маневича позволяет вам так распоясываться?

— При чем тут Маневич? — ворвалась я в ее речь.

— Вы спекулируете его поддержкой, вот при чем!

— Это неправда!

— Нет, правда! И я должна вам сказать, что никакие высокие знакомства не дают вам права нарушать трудовую этику. Вы что, своей работой не дорожите?

— Дорожу.

— Не заметно! На вашем месте, Соломина, я была бы тише воды, ниже травы. Понимаете? Тише воды, ниже травы,— повторила она значительно и поправила очки на переносице.

Пожилая женщина ерзнула на стуле, просяще сказала:

— Не надо об этом, Светлана Викторовна.

— Нет, надо, Екатерина Петровна! — возразила та. И мне: — Куда вы пойдете, если вас уволят? Кто вас возьмет в вашем положении? Да и есть ли у вас нравственное право осуждать Зою Николаевну?

Я беспомощно взглянула на Гаршину. Она рассматривала свои чистые яркие ногти.

— Это называется — в своем глазу бревна не видеть...— буркнула Котова.

У меня застучало в висках. Пересохло во рту, язык стал толстым и неповоротливым. Откуда они узнали? Кто им сказал? Что ответить? «Только бы не зареветь»,— подумала я, чувствуя, что глаза начинает жечь.

— Ну, ладно, ладно, Соломина,— смягчаясь, сказала очкастая. Мой несчастный вид на нее, наверно, подействовал.— Не надо так остро воспринимать. Мы хотим вам добра. Понимаем, что ваша несдержанность объясняется отчасти вашим состоянием. Мы ведь тоже женщины. Продолжайте спокойно работать, но возьмите себя, пожалуйста, в руки. Можете идти.

Я встала, как слепая. Гаршина вдруг негромко рассмеялась и воскликнула:

— Поразительно!

Они все взглянули на нее.

— Идите, идите, Соломина,— поторопила меня молодая Светлана Викторовна.

Прикрывая дверь, я слышала, как Гаршина сказала: «Как вам не стыдно!» И что-то еще. Потом раздался пронзительный крик Котовой, словно ее резали. Загремел стул.

Не знаю, что у них там произошло; мне уже было безразлично. Я чувствовала себя пустой, выпотрошенной, раздавленной. Ничего не узнавала вокруг. Не та земля, где я родилась. Не то солнце, что всегда грело. Я стояла и озиралась. Мне было плохо, как никогда.

Потом я прибрела в столовую и села на подоконник. Повариха тетя Поля, кряхтя, переставляла на плите двухведерную кастрюлю с супом. Увидев меня, вытерла руки о передник и вышла из-за стойки. Широкое толстое лицо ее было залито пóтом.

— Ну, что? Досталось? — Тетя Поля отдувалась и оглядывалась по сторонам.— Говорила тебе: не связывайся с ней. Вот, не послушалась! Натворила глупостей неумных, а теперь сидишь, как сова. Знаешь, чего сделать надо? Супцу горячего похлебать. Это — верное средство.

Я молчала. Тетя Поля вытерла передником вспотевшее лицо. Задумчиво спросила саму себя:

— Сходить, что ли, устроить им там? Боюсь. Наломаю дров.

Ничего ей не сказав, я вышла из столовой. День был свежий, прохладный, но мне не хватало воздуху. На игровых площадках было тесно от ребятни. Я присела на бортик песочницы. Тотчас налетело с десяток девчонок и мальчишек. Зазвенели их голоса:

— Тетя Лена! Тетя Лена!

Раскрасневшиеся рожицы, возбужденные, блестящие глаза...

Жизнь для этой малышни — гладкая накатанная горка: летишь вниз, и замирает дыхание от восторга. Почему взрослые бывают иногда такими мрачными? Что гнетет этих гулливеров? Отчего они не скачут и не кувыркаются под таким радостным солнышком? Почему «нельзя» и «не трогай» — их любимые слова?

Мы для них — большущий вопрос. Мы вызываем в них ужасное любопытство, огромное недоумение. И мы же их страстная любовь. Пока. До поры до времени. Стоит им раскусить нас, как может нахлынуть пугающее разочарование. Да ведь эти взрослые несовершенны! Смотрите, они злы, они шумны, они злоязычны! Неужели они сами когда-то были детьми? Куда же подевались их доброта и непосредственность?

Воспитательница Мальцева закричала:

— Ребята, оставьте в покое тетю Лену! Идите играйте! — И присела рядом со мной на песочницу. От беготни она запыхалась, но лицо было по-прежнему бледное, нездоровое.— Они вас любят,—

сказала она, помолчав.— Нет, действительно. А меня не очень. Им со мной скучно. Я уж стараюсь, стараюсь, да они чувствуют, что без души. Характер невеселый, да еще желудок замучил. Язва.

Мы молча проследили, как мимо веранды к воротам прошла процессия: впереди пожилая женщина с портфелем, следом молодая в очках и Котова, а поодаль семенила бабка Зина.

— Знаете,— снова заговорила Мальцева своим бесцветным голосом,— у Зои Николаевны большие неприятности с сыном. У нее взрослый сын, вам известно?

Я вопросительно на нее взглянула: ну и что?

Бабка Зина от ворот сразу повернула к нам.

— Ой, девоньки, что было-то! — горячо и молодо зашептала она.— Как схватились они...

Я встала и ушла.

2

Около магазина по дороге домой на меня налетела Юлька Татарникова. Я не встречала ее с тех пор, как она заходила ко мне вместе с компанией.

Наш городок невелик, но и в нем можно спрятаться, если захочешь. Мой дом на окраине, и я ходила все время, избегая центра. Не знаю, почему. Ноги сами выбирали окольные пути, подальше от оживленных улиц, от возможных встреч и разговоров. Меня не тянуло на́ люди. Я привыкла к обществу самой себя, к мысленным беседам с собой, и если иной раз выбиралась в кино, то предпочитала маленький клуб рядом с домом. Несколько раз сходила, правда, к Маневичам и в городскую библиотеку, которой заведовала Мария Афанасьевна. Дома у Маневичей пила чай, слушала Сонькины пластинки, а в библиотеке набрала учебников для поступления в вуз и пособий для молодой матери. Пригодилась мне и богатая хозяйская библиотека.

Большие стенные часы в тихой гостиной моего дома отстукивали время, но главное его движение я ощущала внутри себя. Что-то росло, зрело, наливалось и набирало сил; иногда раздавалось робкое постукивание, и чудилось: «Слышишь меня?» — а иногда сильный нетерпеливый толчок. Я то пугалась до испарины на лбу, то обмирала от нежности к этому невидимому существу, которое поселилось во мне и уже просилось на волю... Неужели я сама когда-то так же жила во тьме, безгласная и беспомощная, в полном неведении о том, что меня ждет?

Где-то я прочитала, что мы, возможно, испытываем при рождении не меньший ужас, чем перед смертью. Это тоже ведь независимый от нас переход в новый мир. Я думала: «Бедный малыш! Сейчас ему хорошо и безопасно, а дальше как будет? Не пожалеет ли он когда-нибудь, что появился на этот свет?» От этих мыслей делалось не по себе; я зажигала лампы во всех комнатах, включала на полную громкость телевизор.

Каждый вечер перед сном разглядывала себя в зеркало. Изменялась я медленно, но уже посторонний наметанный глаз мог определить: беременна! Живот округлился, груди стали крепче и полней. Никогда я еще не была такой красивой!

Только вот лицо утомленное, с темными пятнами на скулах и лбу. Ну, это ерунда!

Я была просто прекрасной.

Максим, наверно, думал, что погубил меня. А я была живая, яркая и прекрасная!

...Да, о Татарниковой! Совсем о ней забыла.

Она налетела на меня около магазина и рассыпалась пулеметной очередью:

— Ленка, честное слово, так порядочные люди не поступают! Куда ты пропала? Мы заходили, ищем тебя, а мать говорит: «Нету, нету!» — и больше ничего. Мы все равно все знаем! Зачем ты скрываешься? Подумаешь, поссорилась с предками! Мне каждый день дома закатывают скандалы, а я хоть бы что! Так нельзя, честное слово! Мы твои друзья или кто? Ты что, работаешь? Я работаю. А ты работаешь? У меня такая работа — закачаешься! Видела в газете ошибки? Это мои. Уже выговор отхватила, честное слово! Я тебе говорила, что я корректор? Там есть один инженер в типографии, он мне прохода не дает. А ты работаешь?

Я кивнула.

— Ленка, у меня послезавтра день рождения! Честное слово! Я родилась, понимаешь? Восемнадцать лет, Ленка! Ужас, ужас. Если ты не придешь, я тебя больше не хочу знать. Придешь? Говори сразу!

— Ладно, приду.

— Да? Все! Решено! Где ты живешь?

С Татарниковой чем хорошо: не нужно отвечать на ее вопросы. Она спросит и тут же шпарит дальше про свои дела.

Пока мы прошли два квартала, где мне нужно было сворачивать, она мне поведала с пятого на десятое про инженера, который ей «прохода не дает», и про компанию. Усманчик «совсем озверел», не продал Юльке по блату туфли со своего лотка. Федька по вечерам играет на трубе в оркестре «Ёшлика» и разгуливает с какой-то «крысой» из техникума. Серого отпустили на поруки, и он опять бродит с какими-то подонками... «Ужас, ужас! Жуть, жуть!»

— Ленка, ты работаешь? — Я снова кивнула.— А где живешь?

— Да как тебе сказать...

— Знаешь, этот парень будет у меня в гостях! Ты к нему приглядись, ладно? А потом скажешь мне, как он. Я такая дура, ничего не понимаю в людях! Еще влюблюсь, а он окажется какой-нибудь... Ленка, я все расту! Уже метр семьдесят восемь, ужас! А он невысокий. Что делать?

— Не расти больше.

— Тебе легко говорить! Значит, придешь?

Этой дорогой я пошла, чтобы зайти к Маневичам и отдать им долг.

Едва я увидела Марию Афанасьевну, открывшую дверь, как сразу поняла: что-то произошло.

— Лена? Очень хорошо! Проходи.— Голос напряженный, нервный... Что с ней?

Михаил Борисович сидел в кресле в темно-сером костюме, галстуке и синей рубашке в полоску. Посреди ковра стоял раскрытый чемодан, а на тахте лежали стопка сорочек, бритвенный прибор, галстуки. В комнате сильно пахло ароматическими папиросами.

— Садись, Лена! — подтолкнула меня в спину Мария Афанасьевна. И мужу: — Сколько тебе положить галстуков?

— Да почем я знаю?.. Не знаю.— Дышал Михаил Борисович как-то особенно тяжело.

— А я знаю? Я тоже не знаю! Лена, убери эти несчастные деньги. Неужели ты думаешь, что мы сидим без гроша? Разбогатеешь, отдашь.

— Я уже разбогатела, Мария Афанасьевна.

— Не болтай ерунды! У тебя в обрез. Мы не торопим. Лучше скажи: Сонька писала тебе о некоем Борисе?

— Да, писала. А что случилось?

Мария Афанасьевна взглянула на мужа. Он скосил глаза, разглядывая кончик носа. Запыхтел еще сильней.

— Знаешь, Лена, наша безголовая дочь замыслила выскочить замуж. Как тебе это нравится?

— Я еду... в некотором роде... на помолвку,— брюзгливо проговорил Сонькин отец из кресла.

— Да, Лена, это так. Ты не можешь нам помочь? Напиши ей, чтобы она не порола горячку. Она тебя послушает.

— Зачем, Мария Афанасьевна? — вскрикнула я.

Она бросила стопку рубашек на дно чемодана и нервно заходила по комнате. Забормотала на ходу:

— Нет, это черт-те что!.. Бред, чушь, ерунда собачья!..— Остановилась напротив меня, потерла щеки ладонями.— Лена, ты знаешь, я не какая-нибудь замшелая ретроградка. Я понимаю, что все вы сейчас на особых дрожжах — очумелые, неистовые, безмозглые. Тебе я не сказала ни слова. Но Сонька! У нее же ни на йоту характера. Ее любым ветром сшибает с ног. Она болезненно мнительная. Мягкая, будто квашня. Ничего нет легче, чем обвести ее вокруг пальца. Она ребенок. И уже замуж? Ну, нет! — И опять заметалась по ковру туда-сюда.

Сонькин отец вынул платок и затрубил в него. Я сидела, как пришибленная. Какой-то сон! Да в ту ли квартиру я попала? Маневичи ли это?

— Лена, что ты молчишь? Ну скажи что-нибудь! — опять подскочила ко мне Мария Афанасьевна. Я разглядывала поблекший узор ковра.— Ты-то ведь знаешь ее! Случись с ней такое, как с тобой, и она конченый человек. У тебя самолюбие, сила воли. Она в этом смысле — ноль. Уже не выплывет, случись что. А ей еще учиться и учиться!

— Не хочу учиться, а хочу жениться...— пробурчал Михаил Борисович. В первый раз сморозил глупость, сколько я его знаю.

Я подняла глаза и тихо сказала:

— Значит, к своей дочери у вас особое отношение?

Мария Афанасьевна замерла посреди комнаты.

— Ты ошибаешься, Лена. Дело не в том, что она наша дочь. Я бы ничего не сказала, не будь она абсолютно не приспособленной к жизни девчонкой!

Он первый раз сморозил глупость, она впервые была неискренна. И оба не заметили этого или не хотели замечать. Неужели и мне грозит такая же слепота, когда я стану матерью?

— Вы плохо знаете Соньку, Мария Афанасьевна. Она совсем не такая наивная, как вы считаете. Я ее не буду отговаривать. Извините.

— Да, да, Лена, конечно... Мы только советуемся с тобой,— смутилась Мария Афанасьевна. И вдруг закричала: — Сколько, черт возьми, я должна положить галстуков?

Михаил Борисович взлетел с кресла и заревел:

— Откуда мне знать, черт побери, сколько нужно этих удавок?! Я хочу сидеть дома в халате, а не мчаться в Ташкент раздавать подзатыльники! Поезжай сама!

— И поеду!

— И поезжай! — Михаил Борисович стал стаскивать с себя пиджак.

Как я ни была подавлена, но не удержалась, прыснула: очень уж забавно они выглядели, стоя друг против друга со свирепыми лицами.

— Миша, сядь,— сказала Мария Афанасьевна. Он бухнулся в кресло.— Я тоже сяду.— И опустилась на тахту.— Давай устроим минуту молчания.

Наступила тишина, только слышалось дыхание Сонькиного отца. Я быстро спрятала свою улыбку.

— Следовательно, Миша, так,— заговорила Мария Афанасьевна.— Полетишь все-таки ты. За себя я не уверена. Вдруг этот чертов Боря окажется таким пройдохой, что понравится мне? А ты поговоришь с ним по-мужски и не позволишь себя охмурить. Это раз. Потом потолкуешь со своей глупой дочерью. Говори жестко, не млей от нежности. Постарайся выяснить, не вешает ли она нам лапшу на уши, утверждая, что влюблена. Это два. Если эти болваны действительно друг от друга без ума... ну, тогда я не знаю, что делать!

— Шампанское пить, что же еще!

Оба они выдохлись.

Я положила деньги на стол и сказала, что пойду. Маневичи не стали меня удерживать.

3

Я пошла в гости к Татарниковой, как обещала.

Прежде каждый такой «выход в свет» вызывал у меня несусветную радость. Я крутилась перед зеркалом, приплясывала и напевала в предощущении шума и гама, в который вот-вот окунусь. А сейчас... Будто не на вечеринку шла, а исполняла тяжелую повинность. «Неужели так постарела?» — пугалась я и не находила ответа.

У Татарниковых был свой дом с садом на улице Советской, куда еще не добрались многоэтажные застройки. По дороге я встретила Усманова, разодетого, как на картинке, с прилизанными черными волосами, с картонной коробкой под мышкой. Я тоже несла Юльке подарок — букет поздних роз. Он не стоил мне ни гроша: срезала в своем саду.

— Ассалям алейкум! — сказал красавчик Усманов, показав золотые зубы. Оглядел меня с головы до ног, и в черных его глазах на миг мелькнуло восхищение.— Все цветешь, Солома.

— Цвету, Усманчик.

Мы зашагали рядом.

— Где пропадаешь, Солома?

— Да где придется, Усманчик. А ты где?

— Ходи почаще на базар, увидишь. Мой лоток около тира. Поступил на курсы продавцов. Скоро будет свой ларек.

— Растешь, Усманчик?

— Да, Солома, я расту. Подожди, через пару лет обзаведусь машиной. Покатаю.

На этом наш светский разговор закончился: мы вошли в калитку Татарниковых.

Юлька выскочила из дома нам навстречу в длинном, до пят платье. В нем она казалась еще выше, прямо верста коломенская, да еще зачем-то нацепила туфли на высоких каблуках...

— Ура! Ура! Ленка пришла! Усманчик, какой ты шикарный! Ребята, что я вам скажу! Мои ушли в гости. Будем одни! Хорошо, правда? Ой, какие розы! Спасибо, Ленка! А ты что мне принес, Усманчик?

— Посмотри,— процедил Щеголь, раскрывая свою коробку. Там были красивые босоножки. Юлька взвизгнула и влепила Усманову поцелуй в щеку.

Гости толклись вокруг накрытого стола. Федька Луцишин — в вельветовом пиджаке, при галстуке — слегка заалел, увидев меня. Я сразу поняла, почему; около него переминалась, явно не в своей тарелке, та самая «крыса», о которой упоминала Татарникова. Он меня с ней познакомил, буркнув:

— Это Ленка Соломина, это Галюха.

У Галюхи было остренькое лицо, острый носик, острые плечи... Кажется, прикоснись к ней — и наколешься на что-нибудь. Но вообще-то она мне понравилась: скромная такая, напуганная.

Тут же были две Юлькины сестры, восьмиклассница и девятиклассница, обе длинные и тоненькие, как хворостинки. На подоконнике сидел и курил в открытую форточку ненавидимый мной Серый, остри-

женный наголо, с шишкастым черепом. Как он сюда попал?

Склонившись над магнитофоном, менял пленку какой-то клетчатый пиджак.

Юлька подхватила меня за руку и зашептала, стреляя глазами в его сторону:

— Это он. Пойдем познакомлю.

Звали его Андрей. Фамилию я сначала не разобрала: то ли Китаев, то ли Каратаев. Потом оказалось, что Киташов. На меня глянули веселые прищуренные глаза из-под огромного, массивного лба. «Ну и лбина!» — поразилась я.

Невысокий, плотный, коротконогий; крепкие скулы, на подбородке шрам — вот что я еще успела заметить в первый момент. Какой возраст, не поняла. Позже выяснилось, что двадцать четыре.

За столом он сел между мной и Юлькой и так хищно вцепился зубами в куриную ногу, что я покосилась на него и подумала: оголодал, что ли? А ему, похоже, плевать было, какое он производит впечатление. На меня ноль внимания, на Юльку тоже, да и остальных не жаловал, лишь жевал и посверкивал глазами. Я развеселилась: вот тип!

А Серый налег, конечно, сразу на спиртное и скоро понес:

— Солома, ты что, трезвенницей стала?

— Не твое дело.

— Солома, про тебя разные слухи ходят. Говорят, из дома сбежала. Верно?

— Заткнись!

Такими любезностями мы с ним обменялись. Федька — что с ним творилось? — чуть не распластывался, ухаживая за своей остролиценькой. Сестры Юльки хихикали. Усманчик насмешливо кривил губы. Именинница трещала за всех сразу. Я поняла, что долго здесь не выдержу.

Так оно и случилось. Уголовник Серый помог. Я встала из-за стола, чтобы перекрутить пленку, и услышала его вязкий, ленивый такой голос:

— Солома, не я буду, ты растолстела. С чего бы это?

В другое время пропустила бы мимо ушей: с ним разговаривать — себя унижать. К тому же он был прав. Но мне порядочно надоела пустая застольная болтовня. Мутило от этой стародавней тоски, и он подлил масла в огонь. Я бросила, обернувшись:

— А тебе очень интересно?

Он заулыбался. А говоря его языком, залыбился.

— Ясно! Всем интересно, отчего животы растут.

Вот какой он наблюдательный оказался, этот Серый!

— Подойди сюда, скажу.

Он вытащил ноги из-за стола, расхлябанно подошел ко мне. Вытянул шею и подставил ухо, рассчитывая на шепот.

Я секунду с ненавистью смотрела на его лысый шишкастый череп. Глубоко вздохнула, размахнулась и закатила ему оплеуху, даже треск пошел.

Самое неожиданное: Серый упал. Потом вскочил, но двинуться уже не смог. Этот лобастый Андрей в один миг подлетел и крепко ухватил его.

— Спокойно! — жизнерадостно посоветовал он Серому, двигая челюстями (дожевывал что-то).

У разрядника Федьки реакция оказалась медленней. Он только и успел приподняться. Серый ошалело смотрел на меня. Губа у него была разбита, кровоточила.

— Вот с-сука...— просвистел он.

На этот раз загремел далеко в угол, стукнулся затылком о стену и сполз на пол. Сестры Юльки в голос завизжали.

— Спасибо,— сказала я этому бравому Киташову.

Он широко, весело улыбнулся.

— Не за что. Я еще могу.

— Ребята, у меня же день рождения! — заверещала Юлька.

Она догнала меня на крыльце, куда я вышла, на ходу надевая пальто.

— Ленка, что ж ты наделала! Разве так можно?

— Можно.

— Нет, Ленка, так нельзя! Это нехорошо с твоей стороны. Серый напился, но это не значит, что ты должна драться. Ты мне весь праздник испортила.

Я так на нее посмотрела, что она отшатнулась.

— Праздник! Это ты называешь праздником? — И пошла к калитке. Мне не терпелось быстрее, немедленно остаться одной.

Но в конце улицы меня настигли быстрые шаги и бодрое насвистывание. Оглянулась — мой защитник! Незастегнутая нейлоновая куртка, на шее длинный шарф, на голове набекрень сидит берет.

— А-а! — злорадно сказала я.— Тоже не выдержали?

— Да, убогое зрелище. Вы где живете?

— А вам зачем?

— Провожу!

— Нет, не надо, пожалуй. Спасибо.

— Да какая мне разница, куда идти! Хоть налево, хоть направо. Мне безразлично. Я иду и иду.

— Тогда двигайтесь налево, а я направо. Спасибо за помощь.

— Ладно! Пожалуйста! До свиданья.

Он, насвистывая, свернул туда, куда я ему показала. В самом деле, кажется, человеку безразлично, в какую сторону шагать... Я чуть-чуть помедлила и окликнула его:

— Послушайте!

Он остановился. Уже было темно. Неясная коренастая фигура, огонек сигареты...

— Если у вас действительно есть время, проводите. А то еще привяжется кто-нибудь.

— Ну, я же говорю! — с утренней бодростью откликнулся он. Тотчас повернул назад и пристроился рядом.— Здесь у вас мафии нет?

— Мафии нет, а хулиганы водятся.

— Это я знаю! Я тут два месяца, а уже три раза схватился. Отличный городок! Мне нравится. А вам?

— Не знаю... Уже перестала понимать, нравится или нет.

— А! Бывает. Значит, давно тут. С Татарниковой вместе учились?

— Ну да.

— И с этим ублюдком?

— Да.

— А я полиграфический кончал. Направили сюда. Ротации, линотипы — мое дело. Ломаю вашу типографию. Три года отработаю, отправлюсь куда-нибудь дальше. Не люблю сидеть на одном месте. Вы замужем?

Вот, привет! Я покосилась на него.

— Нет, не замужем.

— А я не женат! — деятельно сообщил он.— Где живете?

Я остановилась. Что за фокусы? Может, зря пригласила его в провожатые?

— Живу на квартире.

— А чего вы напугались? Вы на квартире, я в общаге. Интересно знать, где люди живут. Мне кажется, на этом свете все интересно. Даже иногда стоит подраться. Меня зовут Андрей. Фамилия Киташов.

— Я уже знаю.

— Сейчас провожу вас и двинусь, знаете, куда? Куда бы мне двинуться? Пожалуй, пойду в горы. Часа за три дошагаю, как, по-вашему? Я сытый.— Он хлопнул себя ладонью по животу.— Спички у меня есть. Больше мне ничего не надо. Пойду прямо на юг по шоссе. Завтра выходной — отлично. Хотите, я назову какой-нибудь пик вашим именем? Пик Елены. Это здорово звучит.

— Нет уж, не надо...— Я рассмеялась. Неужели он в самом деле сейчас пошлепает в горы?

Мы подходили к моему дому. Около забора маячила темная фигура. Когда мы приблизились, она шагнула на тротуар и голосом отца сказала:

— А, Ленка! Явилась!

Отец (а это был он) нетвердо стоял на ногах. Я помертвела, увидев его. Как он меня нашел?

— Что ж ты, дочь, заставляешь отца под окнами ошиваться, как нищего? — трудно зашевелил он языком.

— Что тебе надо здесь?

— Пусти в дом, потолкуем.

— Никуда не пущу! Говори, что надо, и уходи.

Отец мрачно усмехнулся в темноте.

— Эх, Ленка! Совсем ты от рук отбилась... Нельзя так. Ты мне больше навредила, а я... Гляди, чего я тебе принес! — Он сунул руку в карман и вытащил смятую пачку денег.— Видишь, чего?

— Вижу. Можешь спрятать. Мне не нужно.

Отец хохотнул.

— Деньги не нужны? Это ты брось! Слышишь, парень? Ей деньги не нужны. Бывает такое, чтобы деньги были не нужны?

Я в смятении взглянула на своего попутчика.

— Послушайте, Андрей! Вы не можете его проводить? Это не очень далеко, около бассейна.

Киташов щелчком отбросил окурок. Чуть ли не радостно шагнул к отцу и взял его под руку:

— Пойдемте порассуждаем насчет денег. Любопытная тема. Вы, значит, считаете, что без них не обойтись?

— Не обойтись,— угрюмо ответил отец, вглядываясь в него.— А руку ты пусти! — И мне:— Ленка, не дури! Мы с матерью от всей души. Уезжаем мы. На курорт. Поняла? Это тебе на расходы. Бери!

Я вынула ключ и открыла калитку. Обернулась.

— Знаешь что, отец? Больше не смей показываться мне на глаза в таком виде. И вообще мне от тебя помощи не нужно, запомни это.

— Эх, ухнем! — бодро крякнул коренастый Киташов и — не знаю уж как — вскинул отца на спину и вынес на дорогу. Тут он его поставил на ноги.

— Парень, уйди. А то ударю,— тяжело задышав, пригрозил отец.

— Ну да! А я вам руку сломаю! — мгновенно ответил мой чудесный спаситель.

— Ленка! Ты эти свои слова попомнишь! И что в дом не пустила — тоже попомнишь... шлюшка неблагодарная!

Я зарыдала и кинулась в дом.

Тетрадь шестая

1

Этой ночью что-то произошло. Я проснулась от резкого толчка в животе. Было темно и тихо, как на пустой планете. Меня охватил страх. Я нащупала кнопку торшера, включила свет и села на кровати с сильно бьющимся сердцем.

Опять почувствовала толчок. Такого еще не бывало. Подняла ночную рубашку: живот ходил ходуном. Что же делать? Звонить в «Скорую»?

Я ощутила страшную беспомощность. Мое тело не принадлежало мне. Оно жило само по себе. У него появилась своя собственная воля. Потом все успокоилось, но заснула я лишь под утро.

А в понедельник побежала в консультацию, хотя нужно было на работу.

Меня осмотрела та же седая строгая женщина. Долго писала что-то в карточке. Я сидела, как мертвая, ждала приговора. «Что ж,— заговорила она,— ничего особенно страшного не произошло. Ребенок перевернулся». «Как? Перевернулся?» — ужаснулась я. «Ну да. Перевернулся. Это бывает. Результат эмоциональной встряски. Надо избегать волнений и переживаний. Впрочем, не исключено, что он кувырнется еще разок и примет нормальное положение. Бойкий ребенок!»

«Избегать волнений и переживаний... Легко сказать! А как это сделать? Каким вакуумом себя окружить, под какой колпак спрятаться?» — терзала я себя мыслями.

Может, она меня обманула? Что-нибудь скрыла? Надо почитать медицинский учебник.

Я не боялась за себя. Я-то выдержу, какие бы боли ни пришлось терпеть. А каково придется ему, моему маленькому? Он не виноват в том, что у меня все так неладно. «Бойкий ребенок!» Мальчик или девочка? Наверно, мальчишка.

Я уже видела его. Я уже любила его так сильно, что замирало в груди.

Максим знать не знал о ребенке. Но если сердце у него не совсем очерствело, если память его была жива, если он способен слышать далекие голоса, то сейчас, конечно, вздрогнул, охваченный сильным чувством прозрения: кто-то о нем думает! Напугался, побледнел: кто-то его окликает! Какой странный зов, похож на детский плач...

Мистика, да? Но, скажите, разве может быть беззвучным голос крови? Разве расстояние мешает понимать и любить?

В воротах детского сада я столкнулась нос к носу с Зоей Николаевной Котовой. Она выходила, я входила. Точнее, она выбегала. И лицо у нее было такое испуганное, что я попятилась и уступила дорогу.

Около веранды толпились Мальцева, бабка Зина, тетя Поля, сторож-инвалид и Гаршина. Едва я подошла, Гаршина сказала:

— Лена, вы можете сводить на прогулку группу Зои Николаевны? — Ничего не понимая, я кивнула.— Тогда займитесь ребятами. Только осторожней, пожалуйста, переводите через дорогу.

Гаршина направилась к себе — с прямой спиной, высокая и стройная, в меховой шапочке и длинном пальто. Бабка Зина зашептала мне:

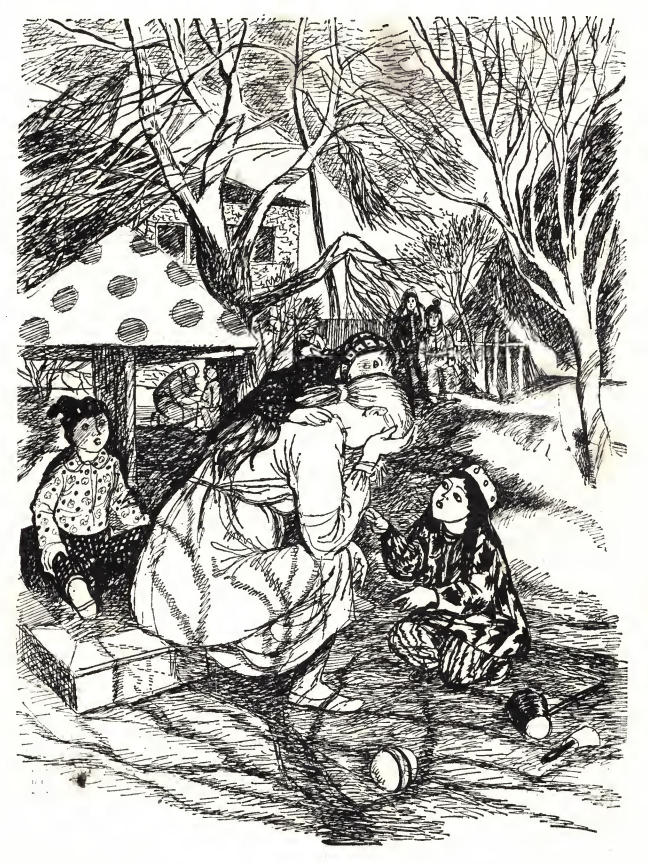
— Сынок ее что-то натворил... Муж ей по телефону позвонил, ну, она и всколыхнулась вся... побежала!

Весь этот день я провозилась с малышами и нагнала на них тоску и недоумение своей хмуростью. Потом их разобрали родители, и я позвонила домой. Меня не оставляло предчувствие, будто с отцом могло что-то случиться. Звонила я долго и упорно, но никто не ответил. Тогда по справочнику я набрала номер типографии и попала прямо на Киташова.

Он меня сразу узнал и успокоил, сказав, что довел до дома моего отца тихо-мирно.

— Мы хорошо побеседовали! — своим энергичным голосом сообщил он.— Теперь я о вас все знаю. Слушайте, вы мне нравитесь! Можно заглянуть в гости?

— Нет, нельзя,— зло ответила я.— Спасибо за помощь, и всего доброго.



— Погодите! Напрасно вы так. Такие люди, как я, на улице не валяются. Я могу рубить дрова, таскать тяжести, исправлять сгоревшие пробки. Чего только я не могу! У меня руки чешутся вам помочь. Да, вот что! Я был в горах в ту ночь. Забрался под облака и разговаривал с богом. У меня есть для вас подарок. Такой красивый минерал. Короче, приду, и вы меня накормите, ладно?

Я молча опустила трубку на рычаг. Звонила я из пустого кабинета Гаршиной, и тут она вошла. Ее не было в детсаде весь день.

— А, Лена! Ну, как?

— Все в порядке.

— С вами все в порядке или с детьми?

— С детьми.

Она внимательно посмотрела на меня. Сняла меховую шапочку и положила на стол. Бросила в ящик с игрушками медвежонка без лапы. Потерла лоб.

— А у вас как дела?

Я остановилась в дверях.

— Какое это имеет значение? Жива, как видите.

— Это не ответ. Я спрашиваю по-дружески. В конце концов я не могу заткнуть уши, если говорят о вас. Да и глаза у меня есть. Когда вы собираетесь в декрет?

Впервые меня спрашивали об этом прямо, без обиняков.

— Как все. За два месяца до родов. В марте уйду.

— В марте. Так. Хорошо.— Она что-то прикинула, глядя в окно.— У меня к вам есть предложение. Хотите работать под моим началом в другом детском садике?

Я удивилась:

— Разве вы уходите?

— Да, я ухожу. И вам советую. Детсад хороший. Шефы богатые. Детей несколько больше, чем здесь. Но зато выиграете в зарплате.

Мы смотрели друг на друга. У Гаршиной было светлое, спокойное лицо, какое-то даже умиротворенное.

— А кто будет на вашем месте? — спросила я.

— Это еще неясно. По всей вероятности, Зоя Николаевна.

— Как? — вылетело у меня.

— Вот так,— холодно ответила Гаршина.— Прикройте-ка дверь...— Она проследила за тем, как я закрыла дверь.— Все несколько сложней, чем мы с вами предполагали. Но моя совесть, во всяком случае, спокойна. Да и ваша, должно быть, тоже. Предоставим теперь возможность распоряжаться Зое Николаевне. Ну как? Договорились? Пойдете со мной?

Я быстро, лихорадочно соображала. Вот, значит, как! Так, так. Вот оно как! Ну и ну!

Наконец, ответ у меня сложился, и я сказала, вернее, выдавила его из себя:

— Значит, сбегаете, да?

Гаршина вспыхнула:

— Глупости! Я никуда не сбегаю. Я просто не хочу биться лбом о стену. Я не хочу раньше времени стать невропаткой. Не желаю быть посмешищем в глазах персонала. Да что вы понимаете! Вы только произносите красивые фразы. Вы чуть в обморок не грохнулись, когда с вами здесь вели беседу. А я выдержала их бессчетное множество. И добилась того, что принимаю элениум. Что вы понимаете?! — Она вскочила.— Вы и держитесь тут благодаря мне!

— И благодаря Маневичу,— ядовито подсказала я.

— Да, и благодаря ему! Не будьте дурой-идеалисткой, Соломина. Зоя Николаевна вас проглотит и не подавится. Уходите, пока есть возможность.

До чего же она была красивая и яркая в своем гневе — залюбуешься.

— Сами уходите! А я останусь.

— Ну, и оставайтесь! Расшибайте свой упрямый лоб. Да нет! Вы встанете на задние лапки, когда она за вас возьмется по-настоящему. Завиляете хвостом. Вот что вас ждет! А потом прибежите ко мне, но я вас уже не возьму.

— Нет, я не прибегу к вам.

— Посмотрим!

На этом мы и расстались.

Почему мне тогда показалось (и сейчас кажется), что Гаршина заплакала, едва я вышла?

2

Я позвонила Марии Афанасьевне домой. Сначала поинтересовалась ее здоровьем, потом спросила, вернулся ли Михаил Борисович.

— Да, Лена, он уже давно дома.

Мне стало стыдно: могла бы позвонить и раньше. Вот как меня волнуют дела лучшей подруги! Я пробормотала какие-то извинения.

— Ерунда, Лена. У тебя своих забот хватает. А Сонька, что ж! Сошла с ума, порет горячку. У этого Бори больше здравого смысла. Он считает, что не следует торопиться. Весьма рассудительный молодой человек, даже слишком. А как ты?

— Да что я!..

...Вечером раздался звонок в мою дверь. Это было такой редкостью — звонок у меня в доме,— что я испугалась. Побежала в прихожую, открыла, а на крыльце стоит, ухмыляясь, Киташов в своей нейлоновой куртке, в сдвинутом к уху берете и помахивает письмом, держа его за угол.

— Хозяйка, вам почта!

Машинально я взяла конверт и сразу узнала мамин почерк.

— Откуда это у вас? — недоуменно спросила я Андрея.

Вопрос был глупый. Конечно, он вынул письмо из почтового ящика, в который я не заглянула. Он всегда вынимает письма из почтовых ящиков. Очень редко бывает, чтобы письма валялись по дороге, будто листья. Из ящика, откуда же еще!

Пока он так жизнерадостно болтал, я вскрыла конверт. Там оказалось, как матрешка в матрешке, еще одно письмо, свернутое вдвое. Оно меня чуть не сшибло с ног: от Максима! Он написал по домашнему адресу, а мама переправила сюда.

Я до того растерялась, что молча повернулась и пошла в дом, забыв о Киташове. Нечего сказать, очень гостеприимно! Но ему такие пустяки были до лампочки! Только разорвала новый конверт в гостиной — шлепает уже в хозяйских тапочках, без своей куртки и берета.

Над пианино висела картина —горный пейзаж. Он сразу воззрился на нее. А потом уселся на крутящийся стул, раскрыл крышку и забарабанил «собачий вальс».

Так под «собачий вальс» я и прочитала Максимово послание. Никакого обращения не было: ни «Белки», ни «Лены». На «Белку», видно, рука не поднялась, а «Лена» — показалось сухо и официально...

«Как ты живешь? Захотелось с тобой поговорить. Больше не с кем. Сын слишком мал. Надеюсь, ты уже простила меня. В том смысле, что забыла и не вспоминаешь. В конце концов, все забывается.

Особенно в твоем возрасте. Мне трудней, чем я ожидал. Семейная жизнь превратилась в сплошное скотство — и выхода не вижу. Почему мне так не везет? У меня добрые побуждения, искренние чувства, но все, к чему я ни прикоснусь, рассыпается и рушится. Там, в небесах, на меня за что-то прогневались. И главное, что сын, ради которого волочу эту лямку, страдает. Раньше у нас с женой была неприязнь, теперь ненависть. Наверное, все скоро полетит в тартарары. А! Какой толк писать об этом? Ты только позлорадствуешь и подумаешь: так тебе и надо! Я хотел бы увидеть тебя. Не будешь ли ты случаем в Ташкенте? А может, приедешь специально? Я буду очень рад. Напиши на главпочту, до востребования, как у тебя дела. К чертям главпочту! Пиши прямо домой! Целую. Максим». Я аккуратно сложила листок и засунула его в конверт.

Киташов прервал свои музыкальные упражнения, отбарабанив еще «чижика-пыжика», встал и начал кружить по комнате. То замрет около серванта с хрусталем, то возьмет в руки костяную безделушку, то потрогает пальцем полировку «стенки» — и все это с круглыми глазами и шепотом: «Богато-о...»

«Забавный,— рассеянно думала я, следя за Киташовым.— Как он жалеет самого себя»,— думала я о Максиме. Андрей упал в кресло и выдохнул:

— Да-а! Вот так хоромы! Вам нужно завести собаку. Охранять все это добро. Вот, смотрите, что я принес! — Из кармана брюк вытащил камень величиной с кулак и протянул его мне.— Ну, как?

Я пожала плечами.

— Обычная булыга.

— Ничего подобного! По-моему, это метеорит. Давайте думать так. Это интересней.

«Приезжай, утешь меня» — вот весь смысл.

— Кстати, Лена, я есть хочу. Зарплату прикончил пять дней назад. Купил отличную резиновую лодку. Правда, здесь воды мало, но это ерунда. Больше всего я люблю картошку.

— А ну тебя! Вари сам. Картошка на веранде.

— Хорошо. Отлично. Ты не пожалеешь. Я сварю на двоих.— Он ушел, размахивая руками, на кухню.

Внезапно меня охватила такая злость, что я вскочила и сжала кулаки. Все повторяется!

Не так ли случайно я встретила Максима?

Этого типа нужно немедленно выгнать!

Все они на один лад, эти ловцы душ, эти хозяйчики жизни, шагающие по земле, как по своей вотчине. Этот не лучше того! Тот не лучше этого! Они могут носиться со своим больным зубом и стонать, будто помирают, а потом прикончат другого человека и не заметят. Меня трясет от их улыбок, широких плеч, самодовольных морд.

Я напишу ему, вот что я сделаю! Мое письмо будет кричать, вопить, и каждая буква будет проникнута ненавистью, чтобы он понял: я тут не кисну, не сожалею, и он для меня не прежняя звезда, на которую молятся, а черная дыра в небосводе!

А этого типа немедленно вон!

Я выскочила на кухню. Андрей стоял около раковины и держал руку под струей воды. Вода была окрашена кровью.

— Смотри, как полоснул,— с непонятной гордостью сказал он.— Чуть не до кости!

Я хмуро уставилась на него.

— Как это тебя угораздило? Теперь перевязывать надо. Что тебе вообще здесь нужно? Поешь и уходи.

Я сходила за бинтом и йодом в спальню, где у хозяев была большая аптечка. Он протянул руку:

— Ого, как хлещет! Как бы я не потерял сознание. Ты пила когда-нибудь человеческую кровь? Многие этим занимаются каждый день. Давай собирать ее в тазик — вдруг понадобится?

— Перестань трепаться! Тошно.— У меня мелькнуло подозрение: а не специально ли он резанул себя ножом? С такого станет! Я посмотрела на него и встретила невинный смешливый взгляд серых глаз.— Слушай, больше не смей ко мне приходить. Я э т о г о н е х о ч у, понятно?

— Конечно, ясно! — легкомысленно откликнулся он.— Все проще пареной репы. Ты боишься. Дрожишь, как заяц.

— Чего это я боюсь? Почему это дрожу?

— Меня боишься. Думаешь: вот еще один искуситель! Нужно мне это! Обольстить — не проблема. Мне понравилось, как ты тому подонку врезала и с отцом разговаривала. В тебе что-то есть. Меня, например, интересует, как ты будешь одна растить ребенка? Он у тебя когда родится?

Я отбросила его руку.

— Не твое дело! — И поймала себя на мысли, что мы говорим так, будто сто лет знакомы.

— Кто у тебя будет — мальчишка или девчонка? — деловито спросил Андрей.

Я засмеялась.

А через секунду вдруг провалилась в темноту. Стояла, смеялась — и нет меня. Очнулась полулежа на стуле, с горьким привкусом во рту, слабостью в теле. Андрей склонился надо мной.

— Ну как?

— Что это было?..— прошептала я.

— Элементарный обморок. Дотащить в кровать?

— Не надо... сама.— Я встала.

— Это плохой дом,— сурово сказал Киташов. Он, кажется, был потрясен.— Два несчастных случая за пятнадцать минут. «Скорую» вызвать?

— Не надо.

— В аптеку сбегать?

— Ничего не надо.

— Мне смыться?

— Да, уходи...

— Смываюсь! Но я еще буду приходить! — пригрозил он и направился, размахивая руками, в прихожую.

Я закрыла за ним и доплелась до кровати.

Ничего себе! Уже падаю в обморок. А что дальше будет?

Тетрадь седьмая

1

Гаршина уволилась; бабка Зина разболелась; тетя Поля впала в какую-то хандру и уже дважды пересаливала суп; Михаила Борисовича с инфарктом отвезли в больницу, и прилетела Сонька; Андрей уехал в командировку, о чем сообщил мне по телефону (а кто его просил?); Вадька прислал письмо из Хатанги, куда завербовался на метеостанцию, и сто рублей; мои родители вернулись с курорта (я мельком видела их на улице)... И вдруг сразу, без предупреждений, как бывает у нас, наступила горячая и сильная весна.

Зоя Николаевна Котова заняла кабинет заведующей, выбросив все поломанные игрушки, которые хранились в ящике у Гаршиной. Она позвала меня к себе и завела такой разговор:

— Дело прошлое, Ленок. Скажи, неужто ты и сейчас считаешь, будто я была неправа?

Я подумала, что все ей идет на пользу: и ссоры на работе и нелады с сыном,— так она расплылась лицом и телом, такой стала гладкой, лениво-округлой, так сыто выглядела.

Недружелюбно, но ровно я ответила: да, считаю. Котова присела рядом и обняла меня за плечи. Я отстранилась. Она засмеялась горловым незлобным смехом.

— Эх, Ленок, Ленок! Ничегошеньки ты не понимаешь в жизни! — (Все, кроме меня, понимали жизнь, разбирались в ней, как в таблице умножения!) — Неужто ты думаешь, что я такая злюка, вредина и гадина? Да ты ко мне в гости домой хоть раз зайди! Да я же душа-человек, Ленок! Я до-обрая, я хлебосольная... дурашка ты! Ну, нашла у нас с Гаршиной коса на камень. Допекла она меня, прямо невтерпеж стало. И нудила и нудила! Тут не захочешь, а сорвешься. А я вообще-то детишек люблю. Чего бы я тогда тут работала, если бы не любила? А строгость, без нее тоже нельзя. Слушай, Ленок! — Котова положила руку мне на колено.— Вот что я думаю, Ленок. Сейчас все воспитатели с образованием. Хоть училище, как я, да кончали. А ты без всего. Я могу так сделать, что тебе мою группу отдадут. Претенденты есть, но мы их обойдем. Хочешь?

— Зачем вам это?

— Ну вот, зачем! Да просто так. Дурашка ты, право слово... Да просто так! Помочь тебе хочу. Зарплата будет больше. Потом поступишь в вуз и начнешь расти. Надо же тебе думать о себе. У тебя же свой сопливчик скоро будет.— И легонько пальцами она прикоснулась к моему животу. Я встала.— Ленок, ты чего вскочила?

Я задрожала.

— Зоя Николаевна, вы что, хотите меня купить?

Она хлопнула себя ладонями по толстым ляжкам.

— Вот дуреха! Да на что ты мне нужна, чтобы я тебя еще подмазывала? Я по доброте душевной... Нет, ты подумай! Да надо будет дать тебе пинкаря, так я, когда захочу, тогда и дам. Ей же добро, а она...

— Пинкаря, говорите?

— Говорю.

— Мне?

— Ну да, тебе. Не себе же. Если понадобится Но я-то хочу, чтобы все было тихо, мирно, ладом. Хочу я, Ленок, чтобы у нас детсад стал образцовым! А для этого и согласие нужно и дисциплина...

— Зоя Николаевна...

— Давай, давай, говори, говори! — подбодрила она меня.

— ...вы мне...

— Ну, давай же, Ленок!

— ...просто снитесь. Таких, как вы, не бывает. Я вас, наверно, выдумала.

Она опять сильно хлопнула себя ладонями.

— Да как же не бывает! — Встала.— Вот же я, Ленок.

И правда, вот же она — улыбающаяся, полнокровная.

— Уходить, как Гаршина, я не хочу. Но и выпнать себя я не позволю, Зоя Николаевна!

— Ах, ах! Страсти-то какие! Ты мне войну, что ли, объявляешь?

— Как хотите думайте.— Я открыла дверь.

— Тогда вот что, Ленуся,— остановила она меня.— Баба Зина на тебя жалуется. Говорит, что небрежничаешь, на работу опаздывать стала. Ты это намотай на ус, радость моя!

Я молча на нее посмотрела и вышла.

Бабку Зину я нашла в столовой. Она сидела на детском стульчике и держала на коленях миску с манной кашей.

— Баба Зина, вы жаловались на меня Котовой, что я плохо работаю?

Она вдруг оглохла.

— А? Чего говоришь?

— Я говорю, вы жаловались на меня новой заведующей, что я плохо работаю?

Бабка Зина выронила ложку в миску.

— Осподи! Да ни в жизнь! Что ты, милая?

Нет, я правда ничего не понимаю в этой странной, многоликой жизни! Сначала я поверила Котовой, теперь поверила бабке Зине...

Воспитательница Мальцева попросила меня в этот день уложить детей после обеда, чтобы самой сбегать на укол в поликлинику. Я согласилась и вошла в спальню, где все ходило ходуном. Бывает так: нападет на них какая-то дикая неугомонность. Дети как дети, и вдруг становятся дьяволятами. Что-то срывается в них, словно струны с колков — и нет никакого удержу. Наверно, это их сердца бунтуют против правил и распорядка. Да как согласованно!

Сначала я старалась перекричать немыслимый гам. Потом отчаялась, уселась на стульчик около окна. Мимо меня проносились подушки. Я подперла подбородок рукой и заунывно затянула:

— Трень-брень, трень-брень,
золотые гусельки...
Трень-брень, трень-брень,
золотые гусельки...

Плевать им было на дурацкие золотые гусельки! Эх, гитару бы мне! В школе я хорошо играла на гитаре. Я бы мигом привела их в чувство. Грянула бы Высоцкого его голосом!

Но вот какую-то разгоряченную голову зацепило мое занудное пение, другую, третью... Очухались, таращат глаза: что это, мол, с нами было? И вообще, где мы находимся? А это кто такая сидит и гнусавит?

Я воспользовалась моментом, да как взвизгну:

— Брысь в кровати!

Так они и посыпались кто куда.

— Теперь тихо,— сказала я.— Пять минут рассказываю сказку, потом спите...

Вошла Котова в чистом белом халате. Очень вежливо спросила:

— Елена Ивановна, вы почему здесь?

Я ответила, что усыпляю ребят по просьбе Мальцевой.

— Очень хорошо! А кто вам сказал, что их нужно приучать перед сном к россказням? Ступайте к бабе Зине, она опять жалуется, что вы отлыниваете от грязной работы. Я посмотрю сама.

— Ладно, ребята, расскажу в другой раз.

— У-у-у! — разочарованно простонала спальня.

Но кто-кто, а Зоя Николаевна умеет усмирять такие протесты. «На правый бок! Мигом! Руку под щеку!» — Дальше я не слышала.

Бабка Зина была там же, пила чай с булочками. Я подступила к ней, раздувая ноздри.

— Баба Зина, вы сейчас говорили Зое Николаевне, что я отлыниваю от работы?

— Я, милая? Осподи! Да за что ты на меня взъелась? Да разве я тебе враг? Сижу, чай пью, словечка не промолвила...

Я стукнула себя кулаком по голове. Всевышний! Вразуми меня! Ничего, ничего не понимаю в жизни!

Дома я нашла в почтовом ящике извещение на посылку. От кого и откуда — непонятно, но я сразу подумала о Вадиме. Кто же еще, как не он? С ума сошел братик. Только недавно ведь прислал деньги.

На почте мне выдали небольшой полотняный сверток. Обратный адрес: какой-то незнакомый мне город Сопки. Отправитель — какой-то Псевдонимов А. В.

Я стояла и пялила глаза на корявую надпись. Наконец осенило, и тут же меня охватило негодование. Да как он посмел! Неужели я дала ему повод так обращаться со мной?

Я не хотела вскрывать посылку — вернется и заберет ее! — но любопытство пересилило. Дома я ножницами разрезала ниточный шов (сам зашивал?). Сначала прочитала записку.

«Елена Прекрасная!!! Город Сопки — очень хороший город. Есть хочу смертельно. Командировочные успешно просадил. Обследую мощнейшую ротационку. Нашел по дороге метеорит — привезу. Вопросы под рубрикой «А знаете ли вы?» Знаете ли вы, что я очень хочу вас видеть? Знаете ли вы, что я готов истечь кровью в вашем доме?

Не падай в обмороки. Скоро буду. Жди.

Псевдонимов».

Я улыбнулась. Подумала: нахал первостатейный! Потом подумала: очень искренний нахал. Опять улыбнулась. Развернула полиэтиленовый пакет. С ума сойти! Там была целая пачка пеленок, подгузников и распашонок. Вот попробуй верни ему! В магазин он их не сдаст, на себя не наденет...

Я присела на стул и задумалась. Часы на стене ровно стучали. Время вокруг и внутри меня утекало по каплям. А где-то в городе Сопки он шагал в своем сдвинутом на ухо берете, размахивая руками... Легко ему жить! Хочется ему приложить ладони ко рту и аукнуть на всю планету, чтобы откликнулись такие же здоровые и радостные люди. Наивный, добрый малый — вот он кто! Он не представляет, что значит нести живот, круглый, как сама Земля, и чувствовать свою ответственность перед всем человечеством, и ждать дня творения...

Я поняла. Когда он приедет, я оскорблю его так, что больше он не захочет меня видеть.

Потом был звонок. Срывающийся голос Соньки... Умер Михаил Борисович.

2

Эти похороны... Я никогда никого не хоронила, да и мертвых ни разу не видела вблизи. А тут Михаил Борисович...

Мария Афанасьевна запретила мне ехать на кладбище. Я ее послушалась. И так я почувствовала дурноту, когда вошла в дом Маневичей и увидела Михаила Борисовича. Желтое, суровое лицо, запавший рот, тяжелые веки... Неужели он? Не может быть.

У Марии Афанасьевны все лицо горело, взгляд был черный и сухой. И Соньку я не узнала: просто страшная, изнемогшая от слез.

Весь двор был запружен людьми, когда гроб вынесли и поставили на машину с венками и блестящим остроконечным памятником. Оркестр... длинная процессия... вереница автобусов и легковых машин... Рядом со мной шла пригорюнившаяся Юлька Татарникова, вышагивал строгий, в темном костюме Усманов. Федька почему-то не явился... На повороте к центральной улице провожающие стали рассаживаться в автобусы и машины.

— Ты поедешь, Ленка? — спросила раскисшая Татарникова. Я покачала головой.— Да, тебе нельзя. Как бы нам увидеться? Мне нужно с тобой поговорить.

— Приходи.— Я сказала, где живу. Ясно было, о чем она хочет поговорить.

Смерть рядом, а у нас свои дела, от которых не отрешишься. До чего же мы живучие, неисправимые и беззаботные! Как редко мы задумываемся о своем конце, будто впереди вечные восемнадцать лет и можно все сделать, чего не успел.

Я отошла в сторону. Кто-то тронул меня за плечо. Это была мама.

— Здравствуй, Лена.

— Здравствуй, мама.

— Горе-то какое у Сони...— вздохнула она.— Я с работы ушла, чтобы сюда поспеть. Ты туда не езди, Лена, нельзя тебе.— Я промолчала.— А мы с папой недавно приехали с курорта, Лена. Я к тебе заходила, Лена, да не застала.

Мамин взгляд, словно завороженный, не отрывался от моего живота. А я смотрела, как машина с гробом медленно двинулась с места. Мария Афанасьевна и Сонька сидели рядом на стульях, как-то странно наклонившись вперед; того и гляди упадут на Михаила Борисовича... Я заплакала.

Мама обняла меня за плечи и повела в сторону. Она что-то говорила, но я ее плохо слышала и понимала. Михаила Борисовича нет. Исчез навсегда. И ничего нельзя изменить, нет никаких сил, чтобы вернуть его назад. Остается только сказать: «Прощайте!» — и забыть.

Забыть?

А для чего же тогда он жил? Разве только наши слезы — его наследство? Его нет, а я продолжаю чувствовать сильное дыхание его доброты. Это во мне, и уже навсегда. А от меня, может быть, передастся моему ребенку, и дальше... и охватит когда-нибудь всех людей.

Зачем же я плачу? Зачем говорю: «Прощайте»? Так можно умирать! Так не страшно!

Мама вела меня домой, и я не сопротивлялась...

— Осторожней, ямка... не оступись. Вот и пришли! — Как будто я никогда не бывала здесь, и она предупреждала, что мы у цели. Мама первой вошла в квартиру. Еще с порога она крикнула: — Отец, отец! Кто к нам пришел! Посмотри!

Этот возглас... Так сообщают о гостях. Странно-то как — быть гостем у родных родителей!

Он лежал на тахте в майке и трусах (наверно, уже пообедал и отдыхал). Увидев меня, потянулся за брюками, висящими на стуле. Я отступила в коридор и подождала, пока он оденется. Как непривычно... Неужели это мой дом?

— Да входи ты, господи! Вот невидаль — отец без штанов,— тащила меня за руку мама.— А ты чего валяешься так? — прикрикнула она на него.

— Здорóво! — радостно и растерянно проговорил Соломин и подал мне руку.

Вот именно — Соломин. Мой родственник, а может, однофамилец. Вот именно подал руку, чтобы поздороваться с гостем. Большой, с мощными плечами, одутловатым лицом в шрамах... Я чуть-чуть не сказала «здравствуйте» вместо «здравствуй».

— Садись, Лена, садись! — заспешила мама.— Сейчас обедать будем... Ох, Ваня! Я же на похоронах была Михаила Борисовича. Вот и Лену там встретила. Столько людей, Ваня, целый город. Так его жалко!

Соломин помрачнел. Грузно опустился на тахту. Пробурчал:

— Хороший был мужик...— И засопел.

— Что ж ты, Лена, не садишься? — помолчав, как приличествует, перевела на другое мама.

— Да я, наверно, пойду...

— Куда пойдешь? Чего пойдешь? — воспрянул Соломин.— Иди в свою комнату, отдыхай! Мы шуметь не будем. Живи. Мы рады. Верно, мать?

— Да уж чего уж... Заждались мы тебя, Лена. Соскучились — сил нет.

Я поняла: наша встреча с мамой была не случай-

ной. Не Михаила Борисовича она ходила провожать, а меня встречать... Неожиданно в ней и Соломине проступили знакомые мне, до боли близкие черты.

— А повернись-ка, дочь, профилем, дай на тебя взглянуть! — бодро забасил отец. Покачал коротко стриженной головой.— Раздобрела, раздобрела! Красавицей стала! Ну, кто будет у тебя? Дочь или сын? Мы внука хотим, подавай нам внука!

— Тьфу, тьфу! Не сглазь уж! Внука тебе обязательно! А внучка чем плоха? А еще лучше двойня, правда, Лена? — радостно и молодо раскраснелась мама.

— А тройню не хочешь, мать? Видала, Ленка, какая у нас мать ненасытная? Сама-то, небось, по одному рожала.

Я прямо заслушалась — так хорошо у них получалось. И думала, что в молодости они, наверно, ходили, неизменно обнявшись или под руку, и смех одного вызывал веселье у другого, и часто они одновременно произносили одно и то же слово или одно и то же чувствовали, как это бывает у любящих друг друга людей...

Но я знала, что если хочу унести с собой именно этот их облик, то пора уходить.

— Значит, Ленка, давай перебирайся сюда. Хватит жить двумя домами. Так, мать?

— Так, отец.

У меня что-то подступило к горлу. Ох, как не хотелось сейчас их огорчать! С какой любовью и радостью, со счастливым криком бросилась бы я им на шею!

Брошусь, а что потом? Еще горше сожалеть?

Ведь этот миг родства, прощения и понимания завтра же затянут, как обложные тучи, долгие будни злых распрей. Неужели они не умеют заглянуть вперед? Тогда кто же из нас старше и мудрее — они или я? Я могу стать ими — надо лишь отмахнуться от самой себя,— а они мной никогда.

— Спасибо,— сказала я.— Пусть лучше все останется, как есть. А ребенка, конечно, вы навещайте... Пожалуйста, я буду рада. Да и сама буду приходить.

Они замолчали. Посмотрели друг на друга. Отец засопел; шрамы у него на лице покраснели. Но голос был еще мирный:

— Я понял, мать, в чем дело. Мы думали, она на нас просто злится. Мы же обидели ее. Что было, то было. Обидели. Теперь извиняемся. Готовы вину загладить. Но ей этого мало, мать. Мы ее чем-то другим не устраиваем. Сейчас она нам скажет, чем. Чем, Ленка?

— Ничем вы не провинились. Ни в чем вы не виноваты. Зря вы себя казните. И меня зря мучаете. Мы просто разные. Кровь у нас одна. И жизнь одна. Но мы по-разному понимаем, зачем живем.

Отец отвалился на подушку и раскатисто, заразительно захохотал. Мама подумала и засмеялась.

— Чудно́ ты говоришь, дочка...

— Вот, мать, мотай на ус! У нас с тобой два техникума на двоих, а у нее всего десятилетка, и она, видишь, нас на лопатки кладет! Мы, Ленка, живем...— Он поскреб подбородок.— Мать, как думаешь, зачем?

— Господи! Глупости какие! Родились — вот и живем. Умереть всегда успеем.

— Верно. Затем и родились, чтобы жить. Все от нее брать, от этой жизни. Себя не ущемлять и других не топить. О своей пользе думать, о народе не забывать. Вот где ее держать, жизнь! — Он сжал кулак. Потом взглянул на часы и пробурчал: — Ладно, хватит. От таких разговоров башка болит. Давай, Ленка, садимся в машину и поехали за твоим барахлом! — Он снял со стула рубаху и сунул руку в рукав.

Я повернулась и пошла.

Все время ждала окрика в спину, пока спускалась по лестнице, выходила из подъезда, пересекала двор — нет, не окликнули! Наверно, остолбенели от удивления и гнева... Только за углом я расслабилась и облегченно вздохнула.

А для Михаила Борисовича все кончилось: и боль и радость.

3

Я думала, что у меня был отгул в тот день. Но оказалось иначе.

Бабка Зина первой накинулась на меня, едва на следующее утро я пришла на работу.

— Милая, как же ты так, а? Чего ж ты меня подвела? Теперь начальница грозит меня выгнать, старуху...

Я смотрела на нее, не понимая, в чем дело.

— У нас же с тобой уговор был, а ты нарушила. Ты должна была выйти-то. У меня-то отгул. А мы обе с тобой прогуляли.

Я рассердилась.

— Баба Зина, не мухлюйте! Вы сказали, что выйдете, а в следующую субботу я отдежурю за вас.

— Говорила так?

— Говорили.

— Ну, видать, мне помирать пора, девонька. Стара стала. Память прожила. Все шиворот-навыворот перепутала, глупая!

Я пристально посмотрела на нее. Маленькие выцветшие глаза помаргивают, слезятся, нос пошмыгивает... Что ей сказать?

Не заходя к себе, я отправилась во флигелек к Зое Николаевне. Она была на месте — только-только, видимо, разделась и прихорашивалась, глядя в зеркальце. Я ее едва узнала. На ней был белый, в крупных локонах парик, брови подведены, губы накрашены... Поздоровавшись, я сразу объяснила: так, мол, и так, договорились с бабой Зиной, но произошло недоразумение.

Котова поправила парик, спрятала зеркальце в сумочку. Каюсь, глядя на нее, я злорадно подумала, что парик этот идет ей, как корове седло...

— Ну, что ж, Ленок,— отбросив сумочку на стол, дружелюбно сказала Котова.— Бывает! Как говорят в народе, быват. Все быват, Ленок! С бабки спрос мал: у нее вчера выходной по расписанию. Не придерешься к ней. Тебе надо было, Ленок, на магнитофон записать ваш разговор. А теперь куда денешься? Прогул. Нужно тебя увольнять, Ленок.

— Как увольнять?.. Вы шутите? — Я даже непроизвольно улыбнулась.

— А ты как думала, Ленок? На работу ходить — это тебе не на танцульки. Дисциплина нужна.

— Нет, вы не посмеете...— Я по-настоящему напугалась. Даже озноб прошел по телу.

— Чего-о? — протянула Котова.— Не посмею? Плохо ты меня знаешь, Ленок! Для меня это раз плюнуть. Правда, сейчас закон на твоей стороне. Твой живот — твоя защита, Ленок. Но не вечно же ты будешь с ним ходить... А я терпеливая, Ленок, подожду. Вот так! — закончила она с широкой улыбкой, протиснулась между стеной и столом и уселась на место Гаршиной.

Ко мне вернулась речь. Я тихо спросила:

— Зоя Николаевна, за что вы так ненавидите людей? Что они вам такого сделали?

Папка с бумагами полетела в сторону, отшвырнутая. Зазвонил телефон, но Котова лишь приподняла трубку и бросила. Вскочила.

— Это я-то, по-твоему, людей не люблю? Да у меня полгорода в друзьях, Ленок! А таких, как ты, я и правда ненавижу. Больно вы зазнались, больно умные стали. Ходите кверху нос, нас за ничтожества считаете — вот какие мы неотесанные и допотопные! Ничего не понимаем, ничего не соображаем! А вы так прямо из двадцать первого века, умники! Из пеленок — уже учителя: все не так, все не то, все не по-вашему. До чего дошло: своих родителей стыдитесь! Ничего, жизнь прижмет, запросите помощи, как миленькие! И мой умник тоже! Но я его тогда поманежу...

— Нет, Зоя Николаевна, ваш сын, по-моему, никогда не попросит у вас помощи.

— А ты что, знаешь его?

Я рассмеялась. Даже жалко ее почему-то стало, эту солидную женщину в глупом белом парике, прожившую сорок или сколько там лет и все-таки убежденную, что Земля может по ее желанию закрутиться в обратную сторону и время пойти вспять...

...Малышня уплетала уже овсяную кашу тети Поли и изредка перешвыривалась хлебными шариками.

«А она-то в чем виновата?» — думала я, глядя на веселую чистенькую Фирузу Атабекову.

— Ты не знаешь такого парня — Котова? — спросила я Юльку Татарникову, когда она пришла ко мне в гости.— У него отец в гороно, а мать заведующая детсадом.

— Олега, что ли? Ты даешь, Ленка, честное слово! Кто же его не знает? Он за мной одно время ухлестывал, а потом с этой дурой Семеновой уехал куда-то. Говорят, сейчас плавает в море. А что?

Я не стала ей объяснять причину своего любопытства. И об Андрее рассказала очень скупо: заходил, мол, однажды. О посылке его умолчала, и Татарникова ушла с убеждением, будто я что-то скрываю.

Где он так долго ездит, этот ненормальный?

Сонька улетела в Ташкент, в свой институт и к Боре.

Еще в первый наш разговор до смерти Михаила Борисовича она призналась, что фактически они с Борей уже женаты, но родители, конечно, об этом не знают...

Боря, говорила Сонька, замечательный парень, но она торопит событие, потому что... Тут она выразительно посмотрела на меня: ты-то, мол, понимаешь, почему? Кровь из носу, а летом она его потащит в загс! А то они сейчас такие... И Сонька опять выразительно посмотрела на меня.

Я спросила, любит ли она своего Борю, и Сонька замялась. Как сказать? Она точно не знает. Он не красавец, Боря, нос у него, например, еще больше, чем у нее («Уникальный паяльник!»). Сам длинный (Сонька ему лишь по плечо), но ведь и она не кинозвезда... «Правда, Ленка?» — с надеждой, что я ее разуверю, спросила Сонька. Ну, умный, само собой. Дураков она терпеть не может. Интеллигентный. Тактичный. В баскет здорово играет. «Да, люблю!» — решила Сонька, тряхнув своими кудряшками. «А он тебя?» —поинтересовалась я.

Сонька возмутилась: чем я слушаю, ухом или брюхом? Она же ясно сказала, что Боря интеллигентный, тактичный. Как он может сказать, что не любит? Сколько раз она спрашивала: «Любишь?» — столько раз он исправно отвечал: «Люблю». А когда ему кто-нибудь говорит: «Спасибо» — он непременно отвечает: «Пожалуйста». Вот такой он, Боря.

Сонька задумалась и, намотав на палец кудряшки, сказала, что, если честно, то она иначе себе представляла любовь. Интимность оправдала ее ожидания, тут совпадение воображаемого и реального, хотя вначале было противно... А вот эта штука любовь... Тут она сильно дернула себя за кудряшку и скривилась от боли. Она что-то не понимает, как из-за нее сходят с ума и прочее. («Ты меня, Ленка, извини, конечно»,— быстро спохватилась Сонька. Я извинила.) Да в чем она, собственно, выражается, любовь? Есть у нее явные признаки? Вдруг она ошибается, что любит... а вдруг действительно любит, но сама этого не понимает? Почему не издают на этот счет никаких пособий? По половым-то проблемам, небось, есть.

Такие у нее были растерзанные чувства.

Но когда она прощалась, мрачная, угнетенная, то мы уже не говорили о Боре.

Сонька уехала, а вскоре я обнаружила, что пропал конверт с адресом Максима.

Тетрадь восьмая

I

Конец февраля у нас — это голуби, кувыркающиеся в небе, сухая земля, знойное солнце, цветущие фруктовые деревья и сельскохозяйственные статьи в местной газете. Я всегда любила эту пору. Весенние предчувствия! Оживающая, как по слогам, природа. Оттолкнешься ногой от земли — и можно, кажется, парить в воздухе.

Раньше так. А сейчас я болела. Тяжесть во мне росла, живая, колотящаяся. Я быстро уставала. Поясницу разламывало уже после небольшой прогулки. Вот какая я стала развалина!

А тут еще печальная новость: Мария Афанасьевна уезжает. Она обменялась квартирой с городом Желтые Воды, где у нее были родственники.

— Знаешь, Лена, мне сейчас все равно, где жить. Только не здесь. Слишком много воспоминаний.

Я подумала: а ведь она поступает так же, как я в свое время, собираясь к тетке. Надеется, что расстояние поможет, верует в целебную силу новых мест... А я поняла, что хоть в космос заберись, от себя не убежишь.

Мебель уже была отправлена контейнером. Мы сидели на раскладушке в пустой и гулкой квартире. Незнакомая квартира... И сами мы совсем иные, чем полгода назад.

— Лена, очень жаль, но тебе придется вскоре искать новое жилье. Они написали, что возвращаются.

Ох! Я мысленно охнула, а вслух лишь спросила:

— Когда?

— Недели через две будут здесь. Что-то у них там изменилось со сроками... Куда ты переселишься? Думала об этом?

— Думала, Мария Афанасьевна. Много раз. Но ничего пока не придумала.

Она закурила, затянулась, прикрыла глаза...

— А не пора ли тебе вернуться домой, Лена?

Я покачала головой.

— Нет, Мария Афанасьевна, не могу. Ничего у нас не получится.

Она опять затянулась дымом.

— Тогда у меня есть предложение. Не очень заманчивое, конечно, но лучше, чем ничего. Получишь декретный отпуск — приезжай в Желтые Воды и живи у меня. Я буду очень рада. Обещаю не нудить и не вмешиваться в твои дела. Малыш подрастет, там видно будет.

— Спасибо, я подумаю.
А проводить мне ее не удалось...

Чуть раньше, внезапно, как с неба, на мою голову свалился Андрей. Впрочем, что значит «как с неба»? Он ведь прилетел на самолете...

Был поздний вечер, часов десять. Я сидела в рабочем кабинете хозяина (теперь я уже не могла называть его своим, как раньше) и в какой уж раз читала брошюру «Молодая мать и ребенок». Поразительно, написал ее мужчина. Счастливая, наверно, у него жена, думала я. А может быть, он теоретик и, доведись ему купать младенца, выплеснет из ванночки вместе с водой...

В прихожей длинно зазвонил звонок. Я уже закрыла ворота; следовательно, кто-то нажимал кнопку с улицы. Потушив свет, я прильнула лицом к стеклу. На той стороне улицы, хоть и горел фонарь, но различить что-либо было трудно. Видно, что кто-то маячит, а кто?

Но этот неумолчный, настойчивый звон. Наглый, я бы сказала. Прямо-таки говорящий: да открывай же быстрее, чего копаешься! Кто мог решиться так звонить? Или пьяный отец, или он.

Вот и повод оскорбить его, раз навсегда отвадить от моего дома. Отчего же я разволновалась? Сначала кинулась к зеркалу, взглянула на себя, поправила волосы, а потом пошла открывать.

Он! Это был он. Просунул ногу между железными прутьями и пытается протиснуться сам.

— Черта с два! — злорадно сказала я.— Не пролезешь!

Тут был не только он, но и его рюкзак, и еще что-то громоздкое, завернутое в бумагу, прислоненное к ограде.

— Андрей, иди домой, пожалуйста. Сейчас поздно. Я спать хочу. Я больна. И вообще... нечего тебе тут делать!

Он выдрался из ограды, прильнул к ней лицом. Спросил со страшным удивлением:

— Неужели не пустишь?

— Не пущу.

Секунду он молчал, и вдруг загорланил на всю улицу:

— Да это же глупость! Ничего глупее в жизни не слыхал! Я на самый быстроходный самолет сел, чтобы скорее добраться. На такси из аэропорта гнал. А ты не пустишь? Открывай немедленно!

— Не кричи и не пори чушь.

— Тогда я поставлю здесь палатку! У меня с собой палатка. Польская, не какая-нибудь! Я могу в ней хоть сто лет жить. А поставлю в пять минут.— Он схватился за рюкзак.

— Ох, и балда ты! — Я отодвинула засов.

Громоздкую штуку он притащил прямо на ковер гостиной и стал срывать бумагу. Я села в кресло и молча наблюдала.

— Отличная вещь,— приговаривал Андрей, расправляясь с чистотой дома.— Здесь таких не найдешь. Если скрючиться, можно самому спать.

Это был разборный детский манежик. Я рассердилась по-настоящему.

— Ну, знаешь, это слишком! Кто тебя просит меня снабжать? Кто? Не нуждаюсь я в твоей помощи, понимаешь?

Он сел на ковер, подвернув ноги. Потупил глаза, будто молясь. Негромко и задумчиво произнес:

— Странные вещи ты говоришь. Недоступные для меня. Интересно, почему я не могу заботиться о ребенке? Может, я его хочу усыновить?

— Что-что?! — закричала я.

— Не штокай.— Андрей встал. Усталый, небритый.— Ухожу. Скоро появлюсь опять. Жди!

Он скрылся в прихожей. Хлопнула дверь. Загремели ворота.

Конечно, все это вполне могло мне присниться. Но вот же посреди комнаты разодранная бумага, манежик... И его слова все еще висят в воздухе.

Какая тишина опять! Какой уродливый, огромный домина! Как же я ненавижу его уют и пустоту! Лучше бы он не приходил, этот ненормальный! Я вспоминала бы его изредка с доброй улыбкой, а потом благополучно забыла бы. А он, как сквозняк, налетел, продул и вылетел — и вот ходи теперь с горящей от жара головой. Странный, непонятный, безумный... но какой же славный!

«Замолчи! — сказала я себе.— Раз и навсегда пойми, что иллюзии не для тебя. Сколько можно?»

«А все-таки,— упорствовал кто-то во мне,— какой славный!» Славный фантазер.

2

В тот день, когда я собиралась проводить Марию Афанасьевну, у нас в детсаду была медицинская комиссия. Четверо врачей в белых халатах, знакомая мне молодая Светлана Викторовна из гороно и Котова ходили гуськом из комнаты в комнату, а потом осматривали, ослушивали и расспрашивали притихших от любопытства ребят.

Надо же было мне в тот день проспать и опоздать на работу! Когда я прибежала, запыхавшись, Котова бросила на меня веселый взгляд, шествуя в конце процессии, и выразительно посмотрела на часы. Воспитательница Мальцева отозвала меня.

— Знаете, Лена,— негромко и печально заговорила она,— мне Зоя Николаевна вынесла строгий выговор. За тот случай.

Я не поняла: за какой случай?

— Да когда я уходила, а вас попросила посмотреть за ребятами, помните? Вот за тот. И вас я подвела. Просто не знаю! Я виновата, но все-таки... Как работать в такой обстановке? Хоть увольняйся.

В это время, увидев нас, подошла молодцеватая Светлана Викторовна в очках. Она была оживленна, от нее сильно пахло духами.

— Здравствуйте, Соломина. Поздно вы, однако являетесь на работу. Как ваши дела?

Я угрюмо оглядела ее.

— Спасибо, неплохо. А ваши как?

Она дружелюбно рассмеялась.

— Спасибо, не могу пожаловаться.

— А я вот хочу вам пожаловаться! Скажите, если человек болен, может он сходить в поликлинику сделать укол?

Мальцева просяще тронула меня за локоть.

— Не надо, Лена...

Но я уже завелась.

— Есть трудовое законодательство, всем известно. Но ведь должно быть и обычное сочувствие, так? Можно выносить выговор за такой проступок?

Светлана Викторовна стала серьезной. Мальцева поспешно, путаясь, рассказала ей, как было дело, и закончила:

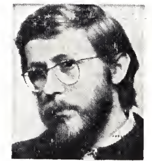
— Да ладно, что уж теперь... Приму к сведению.

Светлана Викторовна поразмыслила и сказала:

— Да-а... Ерунда какая-то. Тут Зоя Николаевна явно переборщила.— Она оглянулась, нет ли кого поблизости.— Я вам сочувствую, Инна Семеновна. Эти перехлесты Зои Николаевны, между нами говоря, начинают надоедать. Была бы моя воля... Ладно! Я поговорю с ней. А вам, Соломина, смотрю, урок не впрок.

Владимир Ведякин





Владимир Ведякин родился в 1950 году в Москве. Студент-заочник Литинститута имени А. М. Горького. Работает на заводе по ремонту вычислительной техники механиком. Участник Московского совещания молодых литераторов.

Родной солдат

Что осталось ему
От последнего боя!
Горстка стреляных гильз
И холодная ночь.
Фляга чистой воды,
И недолгое чувство покоя,
И усталость такая, которую
Не превозмочь.

Что осталось ему
От родимого дома!
Фотокарточка —
Дети с женою,
Родное село.
Подержать на ладони —
Почти невесома,
А у сердца носить —
Тяжелым-тяжело.

Все осталось ему,
Все досталось —
Уж тут не убавить.
Он испил свою горькую чашу
До дна.
Будто жизнь взорвалась
И осколками врезалась в память
На года,
Навсегда,
До последнего дня.

✪

В светлый угол московской квартиры,
Где и кухня
И мой кабинет,
Существо из красивейших в мире
Прилетает на розовый свет.

Очарованный кроткой улыбкой,
Я надолго теряю покой.

С первой строчкой является зыбкой.
Исчезает —
С последней строкой.

Петух

Рано утром, охнув от натуги,
Ветряные лопнули меха.
И тогда раздался по округе
Бесподобный голос петуха.

Я признал по голосу поэта —
Не было сомнений у меня.
Он стоял на грани тьмы и света —
На колу соседского плетня.

И пускай не все звучало складно,
Только я, наверно, не совру,
Что к нему прислушивались жадно
Все его соседи по двору.

В зависти я их не упрекаю.
Жалко, это песня не моя!
Пой, певец, на миг не умолкая,
Потрясенный счастьем бытия!

На лесоповале

Откуда что —
Умение и сила.
Четвертый день
Идет лесоповал.
Лишь бы от злости
Скулы не сводило,
Да лишь бы пот
Глаза не заливал.

Вырубка —
Площадь без названия.
Как будто бы
Споткнулись на бегу,
Здесь начисто покой разваливая,
Стволы, как трещины,
Чернеют на снегу.

Зажжем костер,
И в чай добавим хвои.
Одна на всех
Посудина мелка.
Осколки стародавнего покоя
Пусть прокипят
В утробе котелка.

И вновь работа.
Сосны в два обхвата.
От крика «Бойся!»
Вздрагивает лес.
Лесоповал
До самого заката,
И тучи снежной пыли
До небес.



СОЛНЕЧНОЕ

Не такая уж это была окраина, нет. Окраины давно уж поощетинились бетонными домиными. Издали еще ничего, издали, сквозь дымку, этакий сказочный многоглазый городище, весь белый, чего-то обещающий. А вблизи — каменный забор. Выйдешь из-за одного дома, думаешь, ну сейчас вот и простор будет — поле, одуванчики, земля,— а вместо одуванчиков снова дом, а за ним еще и еще, и сил уже нет добираться до выхода, и глаза тоскуют от асфальтовой серости...

Так что было это вовсе не на окраине, а так, посередине где-то, между центром и новыми районами, и были еще тут старые деревянные домишки, бараки-засыпухи — от военных лет, и была еще земля, и одуванчики, и старые черемухи осыпали весной дощатый тротуар опавшими лепестками.

И такой тут покой стоял, отрада душе, что порой забывалось, будто это город, большой, шумный город, и казалось, что ты в районном поселке незначительного масштаба. И люди, торопливо выходившие из-за кустов акаций, от троллейбусных остановок, приехавшие из центра, с авоськами в руках или портфелями, вывернув из-за акаций, вступив из города в старый свой поселок, где жили они давно, сами не замечая, вдруг успокаивали шаг, глядели вокруг новым, ожившим взглядом, размякали както, потому что уголок этот, отгороженный от шума и суеты тополями, кустами и тишиной, жил другим дыханием, другим ритмом и того же требовал от всякого, кто входил сюда...

Один только батяня Федькин ходу не сбавлял. Газовал на четвертой передаче. Выруливал из-за акаций и к дому пылил.

Федор глядел на него со своей голубятни и взглядом как бы сопровождал, как бы старался отца уберечь. Только не всегда это ему удавалось.

Дорога отцова шла мимо фанерной будчонки с пластиковой волнистой желтой крышей — самого, пожалуй, современного сооружения в старом районе. Палатка бесперебойно торговала пивом, возле нее толпились мужики; мужской этот водоворот рассасывался только в сумерки, и будка эта была для Федора самым тоскливым местом. Не в городе, нет. Во всей его жизни.

Эх, жизнь!.. Хватало Федьке в ней расстройств и огорчений, и «пары» он огребал букетами, и дрался, бывало, с другими голубятниками — такое уж это дело, не обойтись,— и порол его батяня, но все неприятности и досады были в сравнении с пивнушкой этой проклятой семечками, царапиной, так себе, тьфу, плюнуть да растереть. Вот чем были для Федьки все остальные неприятности. Потому как нет для человека ничего больнее срама собственного отца.

А Федькин батяня, загребая ботинками с оббитыми, побелевшими носами пыль, мчал к дому, не сбавляя скорости. Не видел черемухи, травы, облаков. Дул, страшно сосредоточенный, глядя под ноги, как бы задумавшийся о чем-то серьезном. И Федька глядел на него, не отрываясь, и этот взгляд его частенько все же помогал — отец проходил мимо будки; правда, потом, миновав ее, становился он вялый и мешковатый и пропадала враз его сосредоточенность. Но стоило Федьке сморгнуть, или оглянуться на турмана, или подумать о чем другом, даже не сводя глаз с отца, как все и начиналось.

«Э! — кричал от пивнушки какой-нибудь сиплый голос.— Джон Иванович! Подгребай к причалу!» Или еще хуже: «Американец! Дуй сюда!»

И все возле будки ржали, просто хором ржали, а отец резко разворачивался, подступал к пивнушке, задиристо выкрикивая: «Кто обзывается? Кто?». Но его обнимали, говорили пьяно: «Брось, Гера, брось, давай по единой»,— и отец затухал, замолкал, толкался у будки до позднего вечера, а когда являлся домой, комната, где жили они втроем — отец, мать и Федор,— тотчас наполнялась пивным духом... Эх!

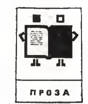
Мать уже и не плакала теперь. Глядела на отца высохшими глазами, сама высохшая, как доска, чернявая и худая, совсем старуха, а отец отворачивался в сторону, сопел, снимая ботинки, потом говорил, оправдываясь:

— Ну чо ты, чо ты, Тоня, я же не пьяный, всего кружечку.

Бог с ней, с кружечкой, пил бы себе на здоровье и три, и пять, и бутылку, если уж приспичило, нет, не это Федьку терзало, а срам. Срам отцовский. И слабость его немужская.

Звали батяню Фединого Джон Иванович в самом деле. Родился он в тридцатые годы, аж до войны.

Альберт **ЛИХАНОВ**



ЗАТМЕНИЕ

ПОВЕСТЬ

Рисунки Г. НОВОЖИЛОВА.



И мода тогда была. Сейчас мода на обувь, сапоги каким-то чулком носят, к примеру, очередища страшная у обувного магазина неподалеку от их поселка, ну вот, а тогда мода на имена была. На заграничные. И родители назвали отца Джоном, по-американски. Мог бы сто раз сменить зто свое имя, да он и так сменил, называл себя, знакомясь, Георгием, но народ настоящее отцово имя знал, надсмехался; мать объясняла, надсмехался потому, что отец тут, в райончике зтом и в зтом доме, жил сызмальства и алкаши зти несчастные — его детские друзья.

Федор думал об зтом частенько. Вот как! Вон тот, седой совсем и с палкой — тоже, значит, отцовский кореш с детских лет. И зтот, рыжий. И тот, лысатик-пузан. Сдувают с кружек пену, чокаются с отцом. Федор глядел на них с голубятни и все представить не мог, какими они мальчишками были. И были ли? Чудно зто все ему казалось. И глупо. Пусть даже были они друзьями, пусть сто лет тут живут и друг друга всегда знают. Пусть... Обзываться-то чего же! Дразниться до седых волос! Ну и чем виноват отец перед ними? Объясните — чем? Этот, седой, Иван Степанович, другой Платонов, его и по имени-то никогда не зовут, просто Платонов, будто и имени нет, лысый — Егор, а отец — «американец», вот тебе... Американец. Джон. Взрослый человек, а все «американец».

Эх, батяня!.. Другой бы послал к черту старых друзей, коли такое дело, коли дразнят взрослого человека, детство забыть не могут. И все. Жил бы, как остальные. Шел спокойно мимо пивнушки. Не дергался по пустякам. Но, видно, была у отца какая-то такая своя тайна, что ли. Своя робость, которую никак не перешагнуть. Вот вырулил он из-за угла, дует домой, сосредоточившись, голову опустив, думая о чем-то. Поравнялся с будкой.

— Дядя Сэм! — кричит лысый.— Хэлло! Дуй сюда, у меня аванец! — И отец словно спотыкается. Минуту стоит, потом рукой самому себе махнет, мол, была не была, к пивнушке идет, кричит истошным голосом: «Кто сказал дядя Сэм?»,— и народ у ларька хохочет, за животы держится. Ладно бы зти трое, друзья детства, а то все уже потешаются.

Шут гороховый!

✪

Федор глядел, как сворачивает отец к ларьку, и закусил губу, зло воткнул топор в бревно. «Черт с ним! Горбатого могила исправит!» Это материны слова, не его, но он их всегда повторяет. Повременив, огляделся вокруг себя, словно бы к жизни возвращался.

А жизнь у Федьки отдельная от всех. Собственная. С ребятишками он не якшается по причине простой: не желает быть, как отец, американцем. Он бы, правда, и не стал никогда американцем, любой бы, кто обозвал, получил как следует по зубам. Тут же. Да за такие слова!.. Но он с ребятами все равно не водится. Не потому, что боится, как бы по-отцовски не обозвали. Потому что за отца стыдно. Мало у кого отцы не выпивают, это есть, случается. Но ни над кем в округе не издеваются, как над Федькиным родителем. Поэтому Федор все больше один. Чтоб не пришлось говорить: «Это мой батя».

Федор привык один быть. Привык своей жизнью жить, от всех отдельной. Стучал топором, рубанком стружку гнал.

Собрал старые доски, пару со стройки стянул, а сетка старая,— и притих, мурлычет под нос песенку.

Песенка у Федора забавная, из какой-то там старины, в кино услышал или по радио, теперь уж и не упомнит...

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна...

Других слов не помнит, зато эти ему нравятся очень. Правда, на что ему берег турецкий? Или Африка, опять же? Ему тут нормально. В этом их углу. Тихо летом, тепло. Турманы урчат, зобы раздувают, золотистый самец перед голубкой хвост развернул, пошалить хочет, ах вы, летуны, ах, мерзавчики! Ну ничего, потерпите малость, доделает ваш Федька новую голубятню, всем голубятням голубятня. Просторная, не на крыше где-нибудь, а отдельно стоит, на четырех столбах, с крышей покатой, чтоб дождь не заливал, по всем правилам искусства, ах ты, елки-моталки, и пусть они там живут, как им нравится, папаня этот...

Подумал опять про отца, и руки сами собой разжались, молоток выпал. Пальцы холодными стали. Вот всегда так. Сколько ни думай про разное-другое, как про отца вспомнишь — ладони потеют и тоскливо становится.

Федор обернулся к ларьку — отец брел от него к дому, никуда уже не спешил, голову задрал гордо, крутил ею на тонкой шее, озирался вокруг, будто желал, чтобы его видели... Чего смотреть-то?.. Федя мотнул головой, занялся снова своими делами. Хорошо же стружкой пахнет, ах, хорошо, и душа от запаха этого словно вычищается, ясней становится, опять Федя поглядывает веселей на своих турманов, на небо над головой, прозрачное и глубокое,—есть ли у неба дно? Он прибивал гвоздями сетку к раме, а сам все время на небо поглядывал. Вот говорят, больше всего летчики небо любят, у них, мол, профессия такая, а он не согласен. Не летчики, голубятники небо больше всего любят. Летчику что, захотел — полетел. А тут стоит человек на земле или на крыше какой, свистит на голубей, а сам радуется, что голуби его в небе мелькают. И миг такой настает, когда чувствует голубятник, будто это и не голуби вовсе, а он сам там, в небе-то. И без всяких моторов-двигателей, а сам собой, и только трепещут, хлопают крылья его. Никому не признавался Федор в этом, не такой он человек, чтобы об этом говорить, да и как скажешь?.. Прислонился он к стойке, задрал голову вверх, нырнул с головой в небо и полетел, полетел в глубину, аж защемило под ложечкой от страха...

✪

Неделю уже — с тех пор, как ее привезли,— наблюдала она за мальчишкой. Знала, как его зовут. Голубятня, которую он достраивал, была почти вровень со вторым этажом, с их окнами, и каждое сказанное там слово — да что слово, шепот даже — слышала она в своей комнате.

А он и не подозревал о ее существовании.

Ветер трогал занавеску, приносил к Лене запах свежей стружки, незнакомый ей, новый, раньше не слышанный, и она хотела, прямо до озноба какого-то желала припасть к охапке пахучей стружки и вдыхать, вдыхать до головокружения этот манящий запах. Все было так просто! Стоило только сказать матери или отцу, когда они придут с работы, и ей принесут сколько угодно стружки. Но Лена молчала. Словно оттягивала предстоящее удовольствие...

Утром, едва просыпаясь, она прислушивалась к улице. В голубятне ворковали голуби. Издалека, с трамвайного круга доносились краткие звонки и скрежет железных колес о рельсы. За акациями все время срывались троллейбусные штанги и звенели о провода. Но когда появлялся Федор, все другое исчезало для Лены — оставались шуршание рубанка о дерево, удары топора, хлопот оживившихся голубей и хрипловатый голос Федора, ни с того ни с сего вдруг выводивший:

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна!

Лена подкатывала коляску к окну, отодвигала занавески и разглядывала мальчишку, но едва он поднимал голову, испуганно отъезжала в глубину комнаты. Не хотела, чтобы Федор ее видел. Ей нравилось оставаться невидимой. Это ее забавляло. Впрочем, может, и не забавляло... Может, совсем другое...

Странно чувствовала она себя в эти дни. Дом, куда ее привезли после болезни, был родным, но она не привыкла к этому дому, не могла привыкнуть. Сколько помнила она себя, родным для нее был сад возле школы-интерната, общая комната на десять таких, как она, девчонок, нянечка Дуся, а до школы еще один интернат — в лесу за городом. Так что родным для нее был шум и гам или тишина, но особая тишина, непохожая на эту, когда она совсем одна, будто в заточении... В той тишине девчонки плакали все вместе от грустной какой-нибудь истории, они любили грустное, это было про них. И тихий этот плач, когда нянечка Дуся дремлет в своем закутке и воспитатели ушли домой, их объединял и странно окрылял — вот ведь, и у грусти, оказывается, есть крылья.

Впрочем, такое случалось поздним вечером, перед сном, а утром грусти не оставалось места, и они, кто как, каждая по-своему, одевались, переползали в коляски, прихрамывали, кособочились, натягивали, помогая друг дружке, платья, смеялись, кричали и плакали тоже, только днем плакали громко и как-то непонятно весело — днем плакать грустно запрещалось. Ими же самими.

А тут все было не так.

День проходил одиноко и пусто, а шумно становилось к вечеру, когда возвращались люди с работы, когда приходили мать и отец.

Днем только Федька развлекал ее. Пел, бормотал, разговаривал с голубями, шуршал стружкой. И не знал, что на него глядит из окна, сквозь щель в занавесках девочка, которая может передвигаться только на коляске.

Ах, коляска! Там, в интернате, среди подружек, таких как она, коляска была для нее предметом одушевленным — с ней можно и поговорить в случае чего. Они там не замечали своих бед. Жили просто — вот и все. Странно, восьмиклассницам не надо объяснять, что такое их беда, их уродство, но девчонки про себя никогда, кажется, и не думали. Болезни их общие, полиомиелиты и параличи, даже как будто сближали всех в нечто единое. Комната на десять коек была не просто комната для этих искалеченных болезнью девочек, а чем-то совсем иным... Одна из Лениных подружек, Зина, самая, пожалуй, тяжелая, с парализованными рукой и ногой, сказала однажды, что их комната — скит, и все замолчали. Скит. В этом слове пряталось что-то тайное. И еще заброшенное. Скиты бывали в тайге, там монахи прятались от жизни. Нет, это им не подходило, и Лена сказала:

— Не скит, а первичная комнатная организация.

Девчонки загалдели обрадованно, будто Ленка угадала редкое слово в кроссворде, нашла ответ в трудной задаче. И правда, какой это скит! Стены увешаны вышивками до самого почти потолка — специально приглашали дворника дядю Степу, чтобы прикрепил. На ковриках — цветные фотографии любимых артистов, среди которых чаще всего Вячеслав Тихонов, и бусы из ярко-оранжевых ягод шиповника, и новогодние красивые открытки из дому, и портрет Ленина — они купили его еще год назад, когда вступили в комсомол.

Нет, все у них было там по-своему, своя жизнь, где никто никому не кажется уродцем, а все равноправные люди, открытые и прямые, и чаще всего веселые, неунывающие — с унынием и всем таким прочим они беспощадно боролись. В шестом классе к ним пришла Вера Ильинична. Теперь они все зовут ее классной мамочкой, а тогда Вера Ильинична не могла прийти в себя. В глазах у нее то и дело вспыхивали слезы — просто так, без всяких причин, оттого что она смотрела на девчонок. Вера Ильинична удивлялась часто, прямо-таки поражалась. Она пришла сюда из нормальной школы, и на уроке литературы девчонки потребовали разговора про «Молодую гвардию». «Молодая гвардия» была разлюбимой книгой, в очередь на нее становились с пятого класса, и девчонки так на том уроке разговорились, что Вера Ильинична пораженно молчала и только в конце сказала о том, что несказанно удивлена. И объяснила: там, в той, нормальной школе восьмиклассники путают Ульяну Громову с Любой Шевцовой. Девочки не поняли — как так? И Вера Ильинична снова объяснила: вертихвостки и вертихвостки, им некогда за книгу сесть — то танцы, то прогулки по Бродвею — так окрестили одну улицу в городе.

Они очень тонко чувствовали все, эти больные девчонки. Вместо того, чтобы загалдеть, притихли. И Лена сказала:

— Вера Ильинична, мы признаем вас нашей классной мамой, вы хороший человек. Но у вас есть один недостаток...

Лена увидела, как расширились глаза у Веры Ильиничны, как она растерянно заморгала, и добавила:

— Нас не надо жалеть.

Вера Ильинична быстро кивнула. С тех пор слезы у нее не появлялись никогда. По крайней мере при них. И никогда, обвиняя здоровых людей в недостатках, она не приводила причин этих недостатков. Ведь те восьмиклассники из нормальной школы не читали «Молодую гвардию», потому что т а н ц е в а л и и г у л я л и.

А в тот раз, когда девчонки разбрелись из класса, Вера Ильинична осталась с Леной. Помогла ей перебраться с парты в коляску и покатила в спальню. Лена чувствовала: что-то учительнице не дает покоя. И точно. Вера Ильинична спросила:

— Почему ты так со мной говорила?

— Мы говорим так со всеми учителями.

— Вот как...

Вера Ильинична приумолкла и, кажется, сделала еще какой-то вывод.

— А потом,— прибавила Лена,— мы же признали вас нашей классной мамой.

— Спасибо! — проговорила Вера Ильинична сдавленным голосом.

— Остановитесь, мамочка! — приказала Лена.— И наклонитесь сюда.

Вера Ильинична наклонилась. Лена обняла ее за шею и поцеловала. Учительница быстро исчезла за Лениной спиной. Все-таки не удержалась. Хлюпнула носом.

— Ну вот! — укоризненно вздохнула Лена. И прибавила: — Я вас поцеловала не для будущих пятерок, не подумайте. Они и так будут. Просто я вас люблю!

Это Лена сказала в шестом классе. Потом, в восьмом уже, Вера Ильинична, получившая высшее звание классной мамочки, призналась Лене, что ее поразил тот разговор.

— Понимаешь,— сказала она,— я подумала, что ты старше меня.

— Так оно и есть,— улыбнулась Лена.— Я старше тебя. Или ты еще не поняла?

Да, у них там была необычная жизнь, в которой коляски и костыли, парализованные руки и ноги, уродство и красота не играют абсолютно никакой роли — ни вот на чуточку, и мера ценностей взвешивается на иных весах — на весах сердечности, любви и души, но вот тут...

Тут, в родном доме, когда она оставалась одна, все начинало меняться. Она глядела в окно — по улице шли нормальные люди. Маленькие девчонки прыгали через скакалку. Смешной зеленоглазый мальчишка строгал доски, стучал молотком, вспевал всегда неожиданно:

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна!

Лена смеялась над ним, но не так, как там, в интернате,— там бы она расхохоталась громко и открыто, а тут прижала ладошку ко рту, чтоб он не услышал. Не услышал ее смеха и не увидел ее в этой безобразной, уродливой, стыдной коляске!

✪

Нагляделся Федор на голубей, подождал, пока влетят они в голубятню, пересчитал деловито, закрыл сетку, снова взялся за рубанок, но услышал материн голос:

— Сынок! Федя!

Глянул он на мать сверху, сердце тоской обволокло. Узкие плечи вперед подались, лицо у матери заострилось, и оттого, что смотрит она на него

снизу вверх, получается будто как-то просительно. Будто он, Федор, должен ей помочь.

Федор к матери сошел, она протянула ему газетку, в газете два бутерброда с колбаской,— все без слов понял. Ужинать домой не зовет, дома невмоготу. Подтвердила:

— Ой, как стружкой хорошо пахнет! Посижу.

Присела на ступеньку лестницы, в голубятню ведущей, спросила сама себя:

— Почему я не мальчишка? Гоняли бы мы с тобой голубей...

Умолкла. Жует Федор колбасу, слушает, как молчит мать, и завыть ему хочется. Господи! Что же вы делаете, взрослые люди! Да ведь даже его ума достает, чтоб понять — негоже так жить, невозможно. Вон небо какое глубокое, вон тополя шумят листьями без конца, вон голуби воркуют, вон люди идут,— как же вокруг-то хорошо и ясно, так неужели же в ясности этой нельзя ясно и жить? Ясно друг к дружке относиться, радоваться вместе, любить, счастливыми быть? Есть Федору не хочется, до того тоскливо на душе у него. Он не за себя горюет — за мать. Вон она какая — сама не своя. А ведь карточка дома висит — красавица черноглазая. Коса, толщиной в руку, на грудь заброшена, и хоть карточка старая, потускнела от времени, сквозь тусклость даже эту видать — счастливая мама, веселая, все у нее на душе ладно — ничего не надо.

Федор дожевал колбасу неохотно.

— Знаешь,— сказал, чтобы что-то сказать,— турманов предлагают продать. В соседнем квартале мужик объявился, полковник отставной, говорят. Богатющий — страсть. Подходил сюда, интересовался.

Мать вздохнула.

— Птиц продавать грех, сынок. Они живые. И вольные.

Вздохнула опять, отвернулась от Федора. Он знает: в глазах слезы.

— Ты опять за свое! — сказал он.

Мать мотнула головой, повернулась к нему. От глаз к вискам морщины тянутся. И от носа к краешкам губ. Но не плачет. Взгляд сухой и острый. Сказала:

— Садись-ка рядком, поговорим ладком...

Он сел послушно — прямо в траву, в стружки.

— С отцом говорить без толку,— улыбнулась извинительно мать,— так давай с тобой порассуждаем. И не бойся, плакать не стану.

Федор кивнул, вглядываясь в лицо ее, серое и больное.

— Ну вот, выслушай, сын. Человек ты вполне взрослый да разумный. Комсомолец. Суди меня, коли сможешь, а коли не сможешь — оправдай и помоги... Не хочу я больше. Сил нет. Каторга у меня, а не жизнь... Знаю, что и тебе не сладко, но мне... до стенки дошла, уперлась. Кончилось мое терпение. Все.

Она замолчала, посмотрела на Федю решительно, потом взгляд отвела в сторонку чуть, и оттого, видно, что Федор был теперь в стороне, взгляд ее этот стал жестким и сухим.

— Давай уедем,— сказала мать, глядя по-прежнему в сторону.— Мало ли на свете городов... К бабушке уедем.

Теперь Федор глаза от матери отвел. Посмотрел в сторону. Потом на голубятню свою.

— Их жалеешь? — спросила мать.

Он покачал головой.

— Отца.

Чуть не оговорился. Чуть не сказал: американца... Не успел матери ответить, а тот тут как тут. Из-под земли вырос по мановению волшебной палочки. Подошел деловой походкой, сел рядом с Федором на стружки, обнял его. Федя руку отцову стряхнул.

— Вот так вот! — воскликнул отец.— Всю жизнь! К ним со всем сердцем, а они нос воротят. Куда же денешься?

Мать в сторону смотрела, словно и не заметила, что он пришел.

— Ну объясните вы за ради бога! Чем я вам неугодный? Чем нехороший? Алкаш я, что ли, какой? Ни разу в милиции не ночевал! Вон, поглядите на мужиков-то! И так и этак валяются, а я! Пивком балуюсь — ну и что? С приятелями беседую — разве грех?

Мать все молчала, Федор на отца посмотрел. Значит, бросить его мать предлагает. Уехать к бабушке. В другой город. Но он, Федька, сделать этого не может. Был бы и впрямь отец буян и громила. Хам какой-нибудь, драчун. Нет, он жалкий. Худой, щеки ввалились, щетина черная ежом торчит. И чего-то он просит всегда. У всех. Как и сейчас.

Федор поглядел на мать. Та — как неприступная крепость. Все слова отцовские мимо нее пролетают. Да и правильно. Сколько слов он этих всегда без толку тратит — пустые они, вот и все.

— Знаешь чего, батяня,— начал Федя, но осекся. Отец тут же умолк, словно ждал он любого слова, будто слов этих — ругательных или милостивых — выпрашивал он от сына и жены, и умолк с готовностью, ожидая их, как подаяния.— Знаешь, батяня, ты, конечно, не алкаш, ты просто... никто.

Отец голову откинул, будто его ударили. Глаза закрыл. Потом выдохнул:

— Никто? Как никто?.. Повтори, повтори!

Но Федор молчал. Краем глаза увидел он, как мать на него взглянула. Может, с интересом взглянула. Только сейчас сказал он ей, что отца жалеет, американца этого, и тут же отцу будто оплеуху закатил. Никто... Это ж надо — никто...

Отец встал, пошатнулся. Федор удивился: не пьяный ведь. Постоял. Двинулся в сторону. Подошел к дереву. Прислонился к нему. И вдруг Федька увидел — трясутся у отца плечи. Плачет. Навзрыд. И прохожие останавливаются. Глядят на отца. Со своего балкона Платонов заорал:

— Гера! Гера, кто тебя обидел?

И Федя не выдержал. Такая жалость к отцу нахлынула, навалилась всей тяжестью, будто каменная глыбина, и заплакал он, заревел, как маленький, безысходно, во весь голос, и крикнул сквозь слезы матери, растягивая слова:

— Что вы делаете, а? Что вы делаете, взрослые люди?!

И у матери навернулись слезы, смахивая их, кинулась она мимо Федьки к отцу, там, под деревом, схватила мужа за плечи и повела к дому на виду у всего поселка, на стыд у народа.

Федор глядел им вслед сперва сквозь слезы. Потом отец и мать, оба теперь вместе, показались ему жалкими, обиженными, загнанными, осрамленными, и он подумал в отчаянии — отчего же это? Почему? Что за дикость такая: двое взрослых людей любят друг друга, ведь любят же, и мучают, терзают без жалости — зачем, отчего? Неужели же пивной ларек всему причина и глупое имя отца — Джон Иванович? И разве же не пустяки это, разве же это препятствие для хорошего, покойного житья, для всех для них, для троих? Разве же не могут они рядышком, друг к дружке поплотней прижавшись, сбросить этот стыд и жить, как люди?

Он схватил топор, молоток, рубанок, взобрался по лестнице, швырнул барахло свое в голубятню,

запер засов и спрыгнул обратно наземь. Нога у него подвернулась, он упал боком, взгляд его, цепкий в это мгновение, ухватил край голубятни, небо, прозрачное и легкое, и край окна, в котором было испуганное чье-то лицо. Он вскочил и, прихрамывая, побежал домой, к двухэтажному старому бараку военных лет. К черному провалу двери, где скрылись отец и мать.

✪

Так уж она была устроена — не могла спокойно сидеть, когда другие ссорились. Еще в интернате придумала: если толпа, если девчонки руками размахивают и кричат, она на коляске своей разгонялась, мчалась прямо на эту толпу и кричала:

— Полундра!

Бывало, натыкалась колесами на людей, боль причиняла кому-то, но со второго или третьего раза ее все поняли — своей «тачанкой» она толпу разгоняла, а когда те, кто ссорится, друг от друга отходят, смысла кричать и руками размахивать больше нет.

Вот и тут... Она сидела в глубине комнаты, молчала терпеливо, а когда Федя заплакал, не выдержала — подъехала к окну, решительно откинула штору, приготовилась крикнуть что-нибудь,— конечно, не «Полундра!», это словечко тут не подходило, никто бы не понял ее,— но увидела, что опоздала: взрослые уже исчезли, а Федька скатился по лестнице, ударился оземь, вскочил и побежал к своему бараку.

Лена задернула штору, сделала несколько кругов по комнате, чтобы успокоиться, но не могла.

«Боже! — думала она.— У всех что-то есть, что-то болит, неужели же нет дома, нет семьи на белом свете, где было бы все-все-все в порядке? В порядке, в счастье, в покое?»

Она взглянула на стенку, где висела их семейная фотография — мама, отец и она. Сфотографировались в прошлом году, в воскресенье, когда по правилам интерната дети встречаются с родителями и гуляют по школьному саду. Тогда появился какой-то мужчина с лисьей мордочкой — гладкой и угодливой. Он приближался тихо откуда-то сбоку, из глубины сада, подходил, когда родители и их немощные дети не думали о нем, и заставал врасплох своим угодливым видом и предложением сфотографироваться всей семьей — на память. Родители терялись, это Лена заметила сразу, как растерялись ее папка и мамуля; эти слова — «на память» — всех словно обезоруживали. «На какую это память?» — подумала она тогда. Но промолчала. Человек с лисьей мордочкой расположил мамулю и папку симметрично по отношению к коляске, проворно отбежал и щелкнул несколько раз затвором. И вот теперь та карточка — на память — висела здесь, а другая — над кроватью у Лены в большой интернатской комнате.

Она усмехнулась, вспомнив фотографа. «Значит, на память? Всего-то... на память!». Лена рассмеялась, но ей не было весело. Она давно заметила за собой странную привычку — запоминать слова. Незначительные, проходные для других, для нее они становились каким-то... квадратным корнем из особого смысла. Пусть будет так — несколько выспренно, но точно... Она махнула рукой. Бог с ней, с этой «памятью». Вгляделась в карточку. Мамуля — белокурая, круглолицая, голубоглазая. У нее нет до сих пор ни одной морщинки, со стороны кажется, что она живет спокойной и ровной жизнью — только вот глаза ее выдают. Вдруг мамуля начинает моргать. Когда ей плохо — моргает. Когда трудно и сложно — моргает. В воскресенье, день свиданий, мамуля, увидев Лену после недельного перерыва, всегда сперва моргает. Потом целует ее тысячу раз. Ласкает так, будто видит в последний раз.

Лене это не нравится. Она сразу начинает сердиться, когда видит мамулю. Она бы хотела, чтобы ее мамуля была чуть пожестче, ей было бы так проще. Всем и всегда Лена прямо говорит об этом, как тогда, в шестом классе Вере Ильиничне, она и мамуле всегда говорит, не церемонясь, но ту не прошибает. Мамуля, пожалуй, единственный человек на свете, который способен пропустить Ленино высказывание мимо ушей. Может, оттого, что моргает часто? И чего-то не замечает?

Вот папка — другое дело. Это настоящий человек. Нет, нет, Лена вовсе не думает, что мамуля ненастоящий человек. Просто есть такое выражение. И папкин характер такой, что требует уважения, беспрекословного уважения. Петр Силыч. Даже в имени его что-то сдержанно глубокое. Отец — гордость Лены. Он талантливый геолог. Открыл никелевые месторождения в Сибири. Он вообще там без конца пропадает. И шлет Лене конверты с фотоснимками, открытками и значками. Снимки обязательно надписывает аккуратным округлым почерком. «Уренгой. Здесь будет крупная железнодорожная станция». «Удокан. Колоссальное месторождение меди. Мои товарищи продолжают обследование этой зоны». «Посмотри, доченька, какая речища! Ее назвали в честь тебя — Леной».

Лена просто повизгивала, когда получала толстые отцовские конверты. И читала девчонкам вслух эти надписи. А потом всей комнатой они листали толстенный «Атлас мира», подаренный папкой, и отыскивали Уренгой, Удокан и плыли мысленно на теплоходе по Лене.

Отец все чувствовал и все понимал. В письмах своих он никогда ничем не восхищался, никогда не описывал сибирских красот и чудес — просто фиксировал, что́ на фотографиях. И когда Лена уговорила его выступить в школе, он рассказывал о своей профессии подчеркнуто сухо, пожалуй, даже официально.

Лена слушала его с удовольствием, радуясь, что у нее такой умный и тонкий отец — больным людям, особенно мальчишкам, грешно внушать любовь к геологии. После выступления Лене разрешили прогуляться с отцом по саду. Стояла поздняя осень, октябрь, моросил мелкий-мелкий дождик, скорей, влажная пыль, пахло прелыми листьями, и отец, прокашлявшись, пробормотал за спиной у Лены:

— Просто не пойму, зачем ты настояла?

— Во-первых,—ответила она,— хочу, чтобы все знали, какой у меня папка. А во-вторых, не можем мы тут отрываться от жизни.

Отец опять закашлялся, а Лена улыбнулась. Во всей своей болезни она одного терпеть не могла, не могла с этим смириться: люди говорят с ней из-за ее спины. Но тут она была довольна. Она любила отца и не хотела видеть в эту минуту его лицо.

Вот-вот... Лицо отца, когда она и не видит его, только слышит басовитый кашель. Мамино лицо с вечно моргающими глазами. Нет, не зря память ее засекает какие-то глупые проходные слова, которые означают нечто большее, чем в них вкладывают... Тот фотограф с лисьей мордочкой и угодливыми повадками. «На память». Неужели и они думают — на память? Вот так всю жизнь, с тех пор как она родилась? Ведь то, что она живет и добралась до восьмого класса, противоестественно и невер-

но. И, возможно, скоро она исчезнет. И они боятся. Боятся повторить эти случайные слова — «на память». На память о ком? Да что тут — о ней.

Лена отъехала в глубину комнаты, подальше от фотографии. «Это одиночество,— подумала она.— Одиночество и комната без людей.— Там, в интернате, она, самая волевая — по общему мнению девчонок — не позволяла себе распускаться и думать про подобную чушь.— И еще эгоизм,— решила она.— Думаю только о себе. Вон тот мальчишка, Федор. Разве ему легче, хоть в порядке у него и руки и ноги?» Она подъехала к окну и снова спросила себя: «Неужели же нет на белом свете людей, счастливых до конца, без всяких оговорок и без всяких пределов? Неужели, нет? — И тряхнула головой.— Еще этого не хватало! Есть!.. Есть и есть!»

В дверях зашебаршил ключ, на пороге появилась мамуля, прекрасная и веселая, за ее плечом улыбался папка, и Лена отчаянно крутнула колеса своей коляски, рванувшись к ним.

— Аленушка! — закричала с порога мамуля.— У меня сенсационная новость! Я ухожу с работы.

Лена затормозила.

— Зачем? — крикнула она отчаянно.

— Давай без прениев,— сказала мама.

— Без прений,— тихо поправил отец.

— Хорошо, я согласна,— засмеялась мама,— откуда все знать, у меня же техническое образование.

У Лены закаменело внутри. «Значит, они все давно видят и понимают. Только молчат. Поняли, что я изменилась. Позволяю себе думать черт те знает о чем».

— Мамуля,— сказала она жестко, выделяя каждое слово,— я, конечно, понимаю, что еще не обладаю избирательным правом, но позволь и мне принять участие в решении собственной судьбы.

Мама остановилась на полпути с авоськами в руках, приоткрыв слегка рот, и казалась в это мгновение слабоумной. Лена едва заметно усмехнулась.

— Если ты уйдешь с работы,— сказала она,— я буду считать, что вы признали меня неполноценной, не умеющей властвовать собой, беспомощной и никчемной инвалидкой.

— Ты с ума сошла! — закричала мама.

— Или — или,— ответила Лена.— Или ты возвращаешься в свое КБ, или вы отвозите меня домой.

— Куда?

— В интернат,— поправилась она.

Вопрос был решен, Лена это знала. Она вообще умела «вертеть» людьми, как выразилась однажды Зина, и это умение не держалось на ее болезни, напротив, оно держалось на ее жестком требовании не считать ее больной. А в этом разговоре все было ясно заранее. Выдумка мамули, понятное дело. Похоже, она убедила отца. Судя по тому, что он молчит и мнется, папка сомневался в мамулином варианте.

— Аленка, но ведь ты болела, крупозное двустороннее воспаление легких,— сказал он наконец, предварительно покашляв. И умолк.

— А еще что? — четко отчеканила Лена.— Что еще там вы насчитаете?

— Ничего,— спохватился он.

— Товарищи родители,— наставительно произнесла Лена, и ей самой стало тошно от своего тона,— давайте раз и навсегда прекратим эти разговоры. Раз и навсегда!

Отец вздохнул, а мамуля заморгала глазами, готовая заплакать, но папка остановил ее.

— Все,— пробормотал он,— закрыто.

Они молча ушли на кухню, молча выкладывали там продукты из авоськи, открывали и закрывали холодильник. Потом оба враз шумно вздохнули, и Лена засмеялась в комнате.

— Ты чего там, Алена? — спросил отец.

— Давно бы так,— ответила она. И выбросила из головы этот разговор. Вспомнила Федора. Если бы у всех все так легко разрешалось.

За чаем она спросила мамулю:

— Выполнишь одну мою прихоть?

Мамуля быстро-быстро заморгала, заранее пугаясь.

— Купи мне красивое длинное платье!

✪

Федька проснулся поздно и заторопился на голубятню. Вчера он долго ворочался, не мог уснуть, а ночью ему снились разные страхи. Будто мать поставила тесто, оно поднялось, вышло из миски, скатилось на пол и стало пухнуть, расти на глазах, стало подбираться к подбородку, душить, а выбраться невозможно — как с ним, с тестом, быть, не поплывешь по нему — густое, и не пойдешь — жидкое...

Дома было пусто и неуютно. Смятая родительская постель, разбросанная по комнате обувь, на столе хлеб — разрезанный и разломанный, немытые тарелки. Только солнце красило комнату. Высвечивало нечистый пол, неубранный стол и будто бы о чем-то напоминало. Федька вспомнил и вскочил с постели. Все это очень похоже, ей-богу! Вот грязный стол. Стоит только захотеть, и он будет чистым. Где тряпка? Вот она! Раз-два, готово. Стол блестел свежевымытой клеенкой, а Федор уже тащил ведро с водой: еще немного, чуточку терпения, и пол будет сверкать словно новенький.

Да, да, это все очень похоже. Стоит только как следует захотеть. И придумать. Вот он, Федор, давно этого хотел. Но придумал только вчера. И вот сегодня уже, сегодня вечером, отец придет домой вполне нормальным, надо только придумать, вот и все.

Комната с каждой минутой становилась ухоженной и чистой. Федор заправил постели — и свою и родительскую,— родительскую с особым тщанием, вымыл грязную посуду, застелил стол новой скатертью, поставил на нее вазу и сбегал в палисадник — отломил несколько верхушек мальвы. Протер тряпкой проигрыватель, отобрал несколько пластинок, а на диск поставил для отца «Амурские волны». Батяня ведь во флоте служил, на Дальнем Востоке, а Амур — это там, ему приятно будет. Федор оглядел довольно свою работу, насыпал в карман крупы и крошек для голубей и отправился на свою стройку. С большим опозданием.

Голуби на него заворчали. Это простаку кажется, будто голуби воркуют, и все, а он-то уж знает. Опоздал — они ворчат, сердятся. Посыпал им крупы, покрошил хлеба, подлил в лоток свежей водички, а теперь и погуляйте на здоровье. Хлопнул запор, открылось голубям небо, они затрепетали, рванулись в вышину и пошли, пошли кругами. Федор свистнул им вдогонку — переливисто, длинно, с перепадами, поглядел на полет их хитрый — на кружение по спирали, голова устала, опустил ее и заметил: занавеска в окне напротив голубятни дрогнула.

И он вспомнил. Вчера, когда побежал за родителями после того их разговора со слезами, нога у него подвернулась, он упал и увидел в окошке этом девчонку.

Первое, что пришло ему в голову,— досада.

«Значит, она все слышала»,— подумал он. Но в этом окошке никогда никаких девчонок не было, тут жили двое, муж и жена; муж геолог, Петр Сильыч, Федя знает его, подходил не раз к голубятне, спрашивал, которые турманы и чем от других отличаются. Но девчонка?

Федор легонько свистнул. Штора не шевелилась. «Может, ветер? — подумал он, но себя же перебил: — А вчера?»

Он попытался восстановить в памяти ее лицо. Не получалось. «Да поди никого и нет».

— Алё! — не крикнул, а сказал он.— Э! Девушка!

За шторой было тихо. «Может, случайно кто к ним заходил?» Он достал рубанок и принялся строгать доску, изредка поглядывая на окно. Нет, там никого не было. И все же что-то притягивало его к окну. Он отложил рубанок — ему пришла в голову забавная мысль.

— Девушка,— сказал он,— я знаю, что вы смотрите на меня. Зачем? — Было тихо.— Зачем сквозь штору? Можно ведь и так.— Никто не откликался.— А я вот сейчас,— сказал он, тщательно заправляя рубашку в брюки,— поднимусь по водосточке и увижу, есть вы или нет.

Он застучал ботинками, открыл голубятню, спустился на землю, стряхнул с себя стружку и вновь поглядел на окно.

Штора была сдвинута, и на него смотрела девчонка. У Федора сразу сердце оборвалось — какая она красивая была, белолицая, ржаные волосы косой, как солнце, вокруг головы уложены.

— Ну вот,— сказал он растерянно,— я же говорил.

— Что говорил? — спросила она.

— Что вы есть.

— Ну есть,— сказала она,— а дальше что?

Он смущенно пожал плечами.

— Не знаю. Есть, и все.

Федор видел, что она смущена, что он ее силком заставил выглянуть — румянец медленно разгорался на ее бледном лице.

— А чего вы смотрели на меня?

— Говори со мной на «ты»,— сказала она неожиданно резко и добавила мягко: — Не терплю официальщины.

— Чего, чего? — не понял он. Потом кивнул.— Ладно. Но ты не сказала.

— Так,— ответила она безразлично.— Смотрела, и все. Запрещается?

Он рассмеялся. Все это ему вдруг смешным показалось. А его смех смутил ее. Федя заметил, как она резко шевельнулась, будто хотела закрыть штору, но передумала.

— Да ты бы вышла, погуляла,— сказал он.— Голубей бы моих потрогала. Они у меня, видишь, какие.

Он задрал голову вверх, свистнул пронзительно, долго, мастерски, хвалясь перед девчонкой своим умением.

— Голуби у тебя, Федя, что надо,— сказала девочка.

Он понурился. Значит, все слышала. Он молчал, молчала и она.

— Ну и что,— сказал Федор неожиданно для себя,— у каждого свое. И смешного тут ничего нет. Все очень даже грустно... Но с сегодняшнего дня...— Федор решительно рукой рубанул: — ...все будет, как я постановил!

Он посмотрел на девочку, сердце опять застучало тревожно. Спросил:

— А как тебя зовут?

— Лена,— ответила она.

— Вот увидишь, Лена,— сказал Федор и почувствовал, как у него кадык ходит.— Сегодня же увидишь. В шесть часов. Мы вот по этой тропке пойдем. Как раз мимо твоих окон.— Он опустил голову, поморщился. Представил, как она сидит, эта Лена, в глубине своей комнаты и все слышит. И мать — что она говорила. И отца. Слышит, как он, Федор, плачет.

Он больше не глядел на нее. Поднялся в голубятню, подождал, пока слетятся птицы, закрыл свое хозяйство, спрыгнул вниз. Оттуда только и посмотрел на Лену. Она сидела все там же и все так же в каком-то кожаном кресле и как-то растерянно глядела на него. Федор кивнул ей благодарно. Улыбнулся. Повторил виновато:

— Зря ты все это слушала.

Она ответила не сразу и как будто с трудом.

— Ничего,— сказала она,— я и не такое знаю.

Федор вздохнул, повернулся, чтобы уйти, сделал несколько шагов, побежал и крикнул:

— Так ты приходи на голубятню.

Лена не ответила. Федор обернулся.

— Придешь?

Она кивнула издалека, и у Федора сжалось сердце: он еще не видел такой девчонки. Нигде не видел такой красивой — ни в школе, ни на улице.

Весь день он двигался как-то лихорадочно. Стоял в магазине за колбасой и яйцами, покупал молоко и хлеб, шел по дороге — и все это будто во сне: перед глазами стояла Лена.

Пшеничные косы вокруг головы и синие огромные глаза — как на иконе, в пол-лица.

«Кто же она? — спрашивал он себя.— Откуда взялась? Не с неба же спустилась?» И ругал себя за тупость: ведь говорил же, все бы мог спросить, разве трудно. И тут сам себе отвечал: да, не мог. Не мог он расспрашивать ее про всякие подробности. Она же не просто какая-нибудь девчонка. Она — прекрасная.

Федору попадались какие-то глупые и непривычные слова. Он такими словами не разговаривал никогда. И никогда ему в голову такое не приходило. Прекрасными в его жизни могли быть голубь или картина Рафаэля в журнале. Но человек?.. Да еще девчонка?..

Что-то путалось в нем. Что-то ломалось. Какие-то стенки, бывшие в нем, вдруг подтаяли и развалились, а вместо них появлялось новое, и он не понимал, хорошо это или плохо — просто что-то в нем происходило.

Лена стояла в глазах. Только она.

Федор даже наткнулся на какую-то старушку в магазине, и она долго обзывала его «слепым» и «полоротым». А он улыбался ей глупо в ответ. И старушка считала, что он ее дразнит.

Нет, этот день был волшебным, честное слово. Федя вспомнил утро: стоит только захотеть!..

В четыре он подготовился окончательно. Вышел на остановку, сел в троллейбус и поехал на стройку, где работал отец.

Отцовский экскаватор громыхал ковшом, наваливал землю в кузова грузовиков, и Федор невольно залюбовался. Какая же силища в этой машине! Сколько кубов сразу цепляет! И управляет всем этим легко, играючи, его отец. Слабак. «Никто», как назвал его вчера Федя.

Но вот настал этому конец. Теперь у Федора будет нормальный отец. Да, Джон Иванович, если хотите — ничего страшного нет. Только не «американец». Только не «дядя Сэм». Все. Кончено.

Он присел в сторонке. Дождался конца смены. Возник на пути отца, когда тот шел, вытирая ветошью руки,— простой, не похожий на себя, обыкновенный человек, никакой не паяц, никакой не алкаш, не шут гороховый.

Отец будто споткнулся, увидев Федьку. Хотел что-то спросить, но не спросил — понял. Вздохнул.

— Сам придумал? — буркнул угрюмо.

— Думаешь, мать? — спросил Федор.

Отец мотнул головой, потом еще раз мотнул. Так они и шли до самой остановки, и отец мотал головой, а потом еще и хмыкал.

В троллейбусе мрачность его прошла. Он посерьезнел. Сказал неожиданно:

— Это ты правильно, Федор, надумал. Приветствую. Вроде как испытание мне.

— Что ты, батяня,— ответил Федор.— Ты у нас сам с усам.

Отец снова хмыкнул. Они сошли на остановке и двинулись медленно, как все. Каменный город отступил, они вошли в свой райончик, где росла акация, была трава и цвели поздние одуванчики.

Пивная будка работала исправно, и там уже толклись Седой и Платонов. Они развернулись к Федору и батяне, и Федя сжался, готовый броситься на будку, чтобы снести ее вместе с пивом и этими «друзьями детства». Отец что-то почувствовал.

— Ну-ка,— сказал он,— дай мне твою руку.— И сжал напрягшийся Федькин кулак.

И неясно было — кто кого за руку вел: Федор отца или отец Федора.

Он прошли спокойным шагом мимо пивнушки и двинулись дальше — утоптанной пыльной дорогой. Справа от них оставалась голубятня.

— Как там твои турманы? — спросил отец, но Федор услышал его как бы сквозь вату. Он смотрел не на турманов, не на голубятню свою, а чуть вбок, где было окно.

Она сидела там. Ждала его. Он кивнул Лене, разрываясь от волнения. И подумал, что с самого утра, с того первого разговора обходил эту дорогу, хотя и в магазин и по другим делам надо было идти тут.

✪

Федор прошел по дороге вместе с отцом, кивнул Лене, скрылся в своем подъезде, и Лена отъехала от окна, задернув штору.

Этот день оказался сумасшедшим. И смешным. И странным...

Она каталась по комнате, крутила виражи и смеялась, вспоминая сумасшедший день. То глупо хихикала, то отчаянно хохотала, как дурочка. Вот тебе и Федор. Не нужен, видите ли, ему берег турецкий! И Африка ему не нужна! Еще как нужна!.. А ведь молодец, ничего не скажешь! Вытащил ее, как улитку из домика: улитка-улитка, высуни рога, дам кусок пирога,— дождь или вёдро? Есть такая детская прибаутка. Вот Федор ее и произнес. Другими только словами, а произнес. И улитка, дурочка, тут же растерялась, высунула рога.

Почти месяц пряталась. Таилась. Слушала, как он припевает, стучит молотком, вжикает рубанком. И раз тебе — попалась. Боево-ой парнишка, ничего не скажешь. Сообразительный.

Лена перебирала сказанные им фразы, простецкие слова — перебирала, словно украшения, словно какие-то ценности, и опять смеялась. «Э! — сказал он.— Девушка!» Вот тебе и «э»! Но потом, потом... «Зря ты все это слушала». И как он объяснил остальное, как рубанул рукой воздух. Выходит, теперь Федор будет водить отца, как маленького, на прицепе — с работы домой?

Лена остановилась. Это трудно было понять, ей особенно. Мамуля и папка всегда вращались возле нее, словно спутники вокруг светила. И классная мамочка Вера Ильинична служила своим воспитанницам беззаветно и преданно. И нянечка Дуся, жалевшая их день и ночь, причитавшая без конца: «Матушки вы мои, голубушки»,— только эту жалость они и сносили. Жалость... Вот Федора бы впору пожалеть. И не посторонней тете Дусе, а собственному отцу...

Лена не раз видела этого человека возле пивного ларька в конце квартала — там всегда стоял мужской водоворот, но прежде этот водоворот ее не касался, там шла чья-то чужая и чуждая ей жизнь. А теперь... Теперь получалось, это чуждое задевало ее...

— С какой стати? — сказала она вслух сама себе. И сделала еще круг по комнате.

— А вот с такой! — ответила, поглядевшись в зеркало. И засмеялась.— С такой, с такой! — И подъехала к зеркалу вплотную.

Они **там** запрещали себе глядеться подолгу в зеркало. Только по надобности. Самое минимальное. Причесаться, оглядеть себя, вот и все. Разглядывание себя в зеркало к хорошим мыслям не приводит — так считалось в их комнате. Зина говорила мрачно и кратко: «Нам это ни к чему. Мы и не бабы и не девки. Мы никто». Эта тема долго не обсуждалась. В неприятное они не углублялись, хотя у Лены была своя, отличная от Зининой, трактовка.

Первое время ей говорили, что она красавица. Лена фыркала и тотчас отъезжала. Потом завучу, Михаилу Ивановичу, отрезала, когда он повторил эти пустые слова: «С лица воду не пить! Вы дайте мне ноги!» — И пробормотала так, чтобы слышали остальные: «Медведь!» Кличка эта пристала к старику намертво, хотя Лена через полчаса приехала к нему извиняться за резкость. Завуч махал руками, тряс головой, повторял испуганно: «Что вы, Леночка, это я виноват, простите грешного»,— но она чувствовала себя дрянно. И, признаться откровенно, не столько из-за старика, сколько из-за своих слов. Из-за их обнаженной правды. Она действительно была красивая, это так. Ну, и что от этого? Ей жилось бы легче, будь она уродкой — одно к одному. И Лена сторонилась зеркал.

А тут подъехала вплотную. Уставилась на себя. Сначала со злобой. Потом улыбнулась. И заплакала.

Но слезы получились не горькие, а странно облегчающие. Лена промокнула их и посмотрела на себя спокойно. Ну, косы. Допустим, золотистые. Ну, глаза. Допустим, большие. Оттого, что худая, всего-навсего. Ну, лицо. В общем, правильное. А чего еще? Руки? Ну, руки. Как у всех. Чего еще? Ничего.

Она сердито отъехала от зеркала и снова подумала, что родной дом на нее плохо действует. Слезы какие-то глупые. Зеркало. Нет, одиночество для нее не подходит. Неприемлемо.

Одиночество? А Федор? Чего это он так краснел, разговаривая? И потом целый день не появлялся на голубятне и даже не проходил мимо. Дома, что ли, спрятался? Но зачем же тогда с отцом мимо шел?

Дурацкие все наворачивались вопросы. Лена взяла книгу. Прочитала несколько страниц и поняла, что читала механически,—не запомнила ни слова. Включила телевизор. Показывали футбол. Нашли, чем гордиться,— умеют бегать и пинать мяч. Щелкнула выключателем и взяла в руки транзистор. Мешались разные голоса и языки. Звучала музыка. «Солнечный круг, небо вокруг»,— прорвался мальчишеский голос. «Это все было»,— с тоской подумала Лена и бросила приемник на кровать. Нет, решительно тут можно свихнуться. Еще немного, и она запсихует. Надо в школу, в интернат. Ведь это



форменный ужас — целый год быть одной, пропустить класс и только, видите ли, потому, что двустороннее крупозное... Ну и что? Зачем бояться за нее? Даже если...

Она больно стукнула кулаком по подлокотнику. Опять! Опять это идиотство! Эти соображения о загробном царстве. Подумала бы лучше: ну, ты уедешь в интернат, к девчонкам, а Федор?.. Как он?

Лена хмыкнула: «Федор!» А он тут при чем? Что еще за новая тема? И вдруг снова покатила к зеркалу.

— Итак,— сказала она себе презрительно,— итак, Елена прекрасная, неужто ты, матушка-голубушка... Неужто ты — и влюбилась!

Она резко откатилась, подъехала к телевизору и включила его на полную мощь. Потом включила транзистор. Там гремел джаз. Схватила книгу и принялась громко, во весь голос читать первое, что попалось.

— «Луна, низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп,— закричала она.— Порой большущая безобразная туча протягивала длинные щупальца и закрывала ее. Все реже встречались фонари, и улицы, которыми проезжал теперь кеб, становились все более узкими и мрачными. Кучер даже раз сбился с дороги, и пришлось ехать обратно с полмили. Лошадь уморилась, шлепая по лужам, от нее валил пар. Боковые стекла кеба были снаружи плотно укрыты серой фланелью тумана. «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Как настойчиво звучали эти слова в ушах Дориана. Да, душа его больна смертельно. Но вправду ли ощущения могут исцелить ее?»

Лена кричала, напрягая связки, орал телевизор тысячами болельщиков на стадионе, ревел транзистор, и она ощущала облегчение.

Внезапно перед ней возникло лицо мамули. Глаза у нее беспрестанно моргали. Мелькнул седой висок папки — он быстро прошел по комнате, выключил телевизор и радио.

— Что с тобой, девочка? — спросил он сурово, и Лена испугалась. Она никогда никого не боялась в жизни, она не знала, что такое страх, и тут испугалась.

— Так,— сказала она растерянно,— Оскар Уайльд. «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа».

Мамуля, не переставая моргать, пощупала ее голову. Лена засмеялась.

— «Да, душа его больна смертельно»,— воскликнула она.— «Но вправду ли ощущения могут исцелить ее?»

— Нет, я ухожу с работы! — сказала мама.

— Ерунда,— спокойно проговорила Лена.— Имеет же человек право на бзик. На обыкновенный бзик. Чего здесь ужасного?

Мамуля ушла на кухню, а отец остался в комнате. Неожиданно он встал на колени перед коляской и принялся целовать Лене руки. Она вырывала их, ничего не в силах понять.

— Что с тобой, доченька,— повторял отец, и в голосе его было отчаяние,— что с тобой, доча?

Лена вырвала наконец руки и прижала к себе отцовскую голову.

— Ну, прости! — приговаривала она.— Ты что, испугался?.. Конечно... Какая же я дура.

Отец отстранился от Лены, отошел в угол. Сказал оттуда с напряженным весельем:

— А мы тебе платье купили. Длинное!

Лена захлопала в ладоши, закричала:

— Чур не показывать! Мыться! Мыться!

Так она завела для себя. Никто ее не учил, сама придумала: прежде чем обнову надеть — помыться. А дома было еще одно правило — купал ее отец.

Это было очень давно, совсем еще в детстве, когда стесняться совсем нечего. Отец брал ее на руки и нес в ванну. Потом она подросла и стала тяжелой, так что мамуля ее не могла поднять, и опять купаться ее носил отец. Закатывал рукава рубашки, надевал мамулин фартук, чтобы не забрызгать брюки, и укладывал ее в воду, и мыл, и полоскал, как самая заботливая мама. Лена не стыдилась отца. Может, оттого, что когда ее раздевали, она, как никогда, чувствовала себя больной. Неполноценной.

И вдруг она испугалась. В первый раз.

Отец напустил воды в ванну, нацепил фартук, закатал рукава и вошел в комнату, чтобы отнести Лену. Но она сидела одетой и исподлобья глядела на отца. Он все понял.

— Хорошо,— сказал он,— пусть мамуля.

Лена прикрыла глаза. Нет, в этот сумасшедший день с ней определенно что-то случилось.

— Подожди,— шепнула она,— все нормально.

Она сняла, что могла, сама, отец помог в остальном. Потом подхватил ее как пушинку, принес в ванную, бережно опустил в теплую воду

Оказавшись в воде, она словно очнулась.

— Прости,— сказала она отцу,— со мной сегодня действительно чего-то не того...

— Да нет, девочка,— улыбнулся отец,— просто ты растешь.

— Расту? — удивилась она и стыдливо спряталась под воду.

Они молчали. Весело капала вода из крана. Отец снял с полки трех маленьких цветастых утят и бросил в ванну. Этих утят он бросал ей всегда, сколько она помнит себя.

— Утята маленькие,— сказал мягко отец,— а наша Лена растет.

— Пап!— сказала она резко, и глаза ее наполнились слезами.— Пап! — повторила она требовательно.— Ну, ответь! Зачем я расту? Посмотри на меня. Я чувствую, что стала больше, какая-то сила раздвигает меня изнутри. И грудь, и бедра, и плечи... Но зачем? Зачем мне это? Посмотри на ноги! Они ничего не могут. Просто плети.

— Перестань! — попросил отец.

— Подожди, папочка,— сказала она, смахивая слезы.— Потерпи. Еще немножко. Помоги мне. Ответь! Зачем я расту? Женщина рождается на свет, чтобы рожать сама! А я! А я никогда не смогу стать матерью! Не смогу полюбить! И меня никто не полюбит, ты понимаешь? Так зачем же все это? — Она замолчала, взглянула на отца и спряталась с лицом под воду.

Когда вынырнула, отец сидел, опустив голову.

— Доча,— сказал он, взяв ее за мокрую руку.— Каждый миг из жизни уходят люди. И смерть порой становится избавлением от страданий.— Он помолчал.— Если бы я был верующим, я бы сказал тебе: помолимся. Но я говорю тебе: поверим. Поверим в себя, в свои силы. В то, что мы люди и ты — человек, еще небольшой, но смелый, умный и мудрый человечек. Ты все сможешь, только помни всегда: не быть — проще, чем быть.

Лена глядела на него широко раскрытыми глазами.

— Папа,— произнесла она,— я верю тебе, я очень верю тебе, но мне ведь от этого не будет легче.

Отец надолго замолчал. Он молчал, сидя на табурете, раскачиваясь из стороны в сторону, потом произнес:

— Позор, если я стану тебе лгать.— Он помолчал снова. И прибавил: — Легче тебе не будет.

Отец встрепенулся и принялся мыть ее — жестко

и нежно, и она помогала ему, вернее, себе, и на сердце у Лены стало неожиданно ясно.

Больше они ни о чем не говорили. В огромной махровой простыне принес папка дочку в комнату, надел на нее новое платье, помог заплести косы. Мамуля готовила ужин, и все их священнодействие проплыло мимо нее. Да, собственно, это и входило в ритуал.

Когда туалет был закончен и Лена сидела в каталке, отец позвал маму. Он умел это делать, папка,— соединять в одно два взгляда: мамуля появлялась на пороге в тот самый миг, когда он подвозил Лену к зеркалу. Мамуля, охая и ахая, разглядывала дочь, а Лена — себя: перед ней сидела взрослая девушка в сиреневом длинном платье с яркими цветами, так идущими к голубым глазам, к золотой косе через плечо, к горящим алым щекам.

✪

Федор ждал, что батяня прибранную комнату оценит, скажет чего-нибудь одобрительное, но он будто ослеп. Ходил из угла в угол, будто дергался — то тише пойдет, то быстрее. И пластинку «Амурские волны» Федору завести не с руки было. «Ладно,— решил он,— до мамки».

А она все не шла. Всегда рано приходила, никогда такого не случалось, чтоб задержалась... И без нее ничего не выходило у Феди с отцом. Молчали, будто не о чем говорить. Батяня метался по комнате. Садился на стулья — на все по порядку,—вскакивал, ходил, дымил в форточку, снова метался. Потом сказал:

— Может, я прогуляюсь?

Федя плечами пожал: что он, отца под арестом держит? Да пусть идет. Но тут же представил: стоит ему на улице появиться, как возникнут друзья детства и опять... Ответил строго:

— Потерпи.

Батя хмыкнул, уселся за стол, небрежно сдвинул вазу с цветами, скатерть сморщинил, начал газеты листать. Хмыкнул снова. Задиристо произнес:

— Нехорошо говоришь!.. Нехорошо!

Федор отмолчался. Понял: это в нем его страсти говорят, оттого и мечется и дергается — выпить надо.

Дверь отворилась.

Федя вздохнул освобожденно, подбежал к проигрывателю, включил. Вальс послышался. К матери подскочил, схватил сумку. Воскликнул:

— Ну, давайте! Танцуйте!

Но мать с отцом друг против дружки стоят как вкопанные. Будто первый раз встретились. У отца руки подрагивают, кулаки тяжелыми камнями висят, разжать их не может. Мама сморщилась, согнулась, будто старуха. Испуганно улыбается.

— Ну же! — смеется Федор.— Да ну!

Кончилась пластинка, Федя рукой в досаде махнул.

— Что же вы, а? Или танцевать разучились? Ведь умели, я знаю!

— Разучились, Феденька,— сказала мать, к столу подходя, и воскликнула: — А в комнате-то! Порядок! Красота! Молодец, сынок.

— Не я это,— покачал он головой.— Батяня наш...

— Ну! — засмеялась мама.— Рассмешил. Да батяня наш...— Она осеклась, быстро на отца взглянула, вздохнула тяжело.

— А что батяня у вас? — хмуро спросил отец.— Не может? Вышел из доверия?

Эх, не получалось опять, не выходило по-хорошему.

— Хватит вам,— перебил Федор,— давайте ужинать.

Он кинулся к плите, принялся жарить яичницу, включил чайник, поставил тарелки, нарезал хлеб. Батяня и мать сидели за столом в безделье, поглядывали смущенно друг на друга и молчали.

— Мамка,— суетился Федор,— а турману-то, старику, знаешь, ну самый зобастый, ему кто-то хвост пободрал, может, кошка, если присел на какой крыше. Батяня, а ты ножовку бы развел мне на работе, у вас там мастера имеются?..

Отец и мать хмыкали, что-то отвечали, кивали ему в ответ, и вдруг мать сказала:

— Вишь, Гера, мы с тобой нормально жить отвыкли. Вроде и говорить насухо не об чем?

Она подошла к сумке, достала бутылку, и Федор в досаде нож прямо на пол бросил.

— Ну что вы за люди! Ну неужели же без этого нельзя?

Его трясло от бешенства. Мамка! Сама вчера вон что говорила, уехать предлагала, сил, говорила, нет, а сегодня бутылку отцу предлагает. Все перед Федей померкло: и комната, им прибранная, и день сегодняшний удивительный.

От яичницы дымок пошел, Федор схватил сковородку, брякнул на стол, повернулся к двери.

— Ты куда, сынок? — воскликнула мать.

— Ну вас к черту! — сказал он сдавленно.— Темные люди.— И грохнул дверью так за собой, что штукатурка посыпалась.

На улице стояли густо-синие сумерки. Было тихо и звездно.

Федор сперва шел быстро, разгоряченный и злой, потом шаги поубавил.

Минувший день снова вернулся к нему. И не тем, что случилось только что, а голубями в ясном небе, шторой в чужом окне и лицом Лены. Ее лицо вновь возникло в нем, вытесняя все остальное. Огромные глаза и косы вокруг головы. Почему он был так уверен, что в комнате кто-то есть? И почему он так говорил с ней?

Нет, не стыд за вчерашнее управлял им тогда, нет. Просто в ней было что-то такое... необъяснимое. Она смотрела таким взглядом, перед которым изворачиваться нельзя, невозможно. Может, это и поразило его — она смотрела необыкновенно, вот что. Беззаботные девчонки так не смотрят.

Федор подошел к голубятне и поднял голову. Из-за шторы выбивался теплый розовый свет. Послышался приглушенный смех. Потом еще, громче.

«Вот,— подумал Федор,— живут люди, и все у них хорошо, все нормально. Отец и мать и дочка сидят, наверное, за столом, пьют чай и шутят. А мои...»

Неожиданно в нем пробудилась злость. Да что же это в конце концов? Кончится когда-нибудь?

Кулаки у него сжались, и ногти впились в ладони. Надо же воевать! Надо сражаться с ними! И если мать не помощница ему, не союзница, он и сам как-нибудь повоюет, что-нибудь выдумает сам!

Федор взглянул на теплое окно с розовым светом, повернулся и побежал. Дверь хлопнула и ударила в стену, когда он ворвался. Отец и мать испуганно вздрогнули. Бутылка была еще почти полная. Федя кинулся к ней, схватил, и не успели родители охнуть, как он швырнул ее в раскрытую форточку. Раздался приглушенный звон.

— Вот так! — сказал Федя.— А теперь можете бить! Убить можете! Валяйте!

Он приготовился к худшему, к самому грандиозному скандалу—батяня такого простить не мог,—но мать и отец молчали и даже не глядели на него.

Федор взглянул на рюмки — они были полные. «Значит, не выпили? И яичница простыла». Тут что-то было не так. Концы с концами не сходились.

И вдруг мать заплакала. А отец подсел к ней и начал гладить ее по плечам.

— Запутались мы, запутались,— проговорила мать сквозь рыдания.— Что же будет теперь, Гера? Что с Федей-то будет?

— Не надо раньше времени,— пробормотал отец.

— Да что у вас опять? — крикнул Федя.

Мать помотала головой, закрыла лицо платком.

— Ревизия у нас на базе, а у меня недостача.

— Ты чо, мам, воровка? — ошалел Федор.

Она платок от лица отняла, взглянула ему в глаза.

— И ты подумать мог?.. Плакала я часто, расстраивалась, невнимательная была... Наверное, обсчиталась, а недобрые люди попользовались.

Федор на отца посмотрел.

В упор.

Вот какое дело приключилось.

Вот, батяня, какое дело ты натворил!

✪

Вечер был теплый и тихий, а наутро хлестал дождь. Лена растревожилась: Федор, наверное, не придет, не будет мурлыкать свою глупую песенку, и даже голубей не слышно — то ли шум дождя заглушил их воркованье, то ли притихли от непогоды.

Капли ударялись в стекло, ползли вниз, соединяясь в мокрые дорожки, по улице пробегали редкие прохожие с зонтами и в плащах, и снова становилось пусто.

Новое платье красовалось на плечиках, Лена велела мамуле в шифоньер его не убирать, и, когда взгляд касался сиреневого пятна с пестрыми разводами, улыбка трогала Ленины губы.

Вот бы девчонки увидели ее в обнове. Взять бы и появиться на вечере в новом платье.

Вечера у них проводились часто. Вера Ильинична говорила, даже чаще, чем в нормальной школе.

В зал собирались все жители интерната — и учителя и нянечки. На сцену не выходили, она обычно пустовала, и это было справедливо. Как бы Лена поднялась на сцену? А она ведь не одна такая. Сидели, лежали, стояли кругом, но свободное пространство в центре круга существовало скорее для формы, нежели для дела: в него никто не выходил. Директриса, или завуч, или кто-нибудь из учителей, а чаще других Вера Ильинична, словесница, говорили, не вставая со стула, вступительные слова, а потом спрашивали, кто желает выступить.

Несколько мальчишек играли на скрипках. Была одна очень способная девочка, пианистка, тоже, как Лена, в каталке. Подъезжала к пианино, играла пьески, конечно, простые, но девочке бурно хлопали и гордились ею; ее звали Женя. Вообще у них никого никогда не принуждали, не заставляли, не готовили «номеров». Право выступить имел каждый, и вечера порой затягивались далеко за полночь: читали стихи и прозу — декламация была самым доступным жанром, слушали музыку в записях — от биг-бита и поп-оперы до Чайковского и Бетховена. Всем было весело и интересно, и всем хотелось танцев. И вот однажды, уже давно, директриса, едва пришедшая тогда из гороно, поставила пластинку и объявила вальс. Несколько девчонок, которые передвигались сносно, попробовали покружиться, но тут же одна упала, сильно расквасила нос, танцы остановили, директриса перепугалась, а наутро, говорят, главврачиха отчитала ее в учительской. С тех пор танцы устраивались, но по-другому. В круг выходили учителя или гости, если они были, включали музыку, взрослые танцевали, а девчонки и ребята жадно глядели на них и хлопали потом в ладоши. Учителя смущались, Вера Ильинична особенно, но зал громко требовал, чтобы танцы продолжались, и вот так, танцами учителей, заканчивались все вечера. Вообще они были главным событием в интернате.

Девчонки готовились к этим праздникам заранее, каждая мечтала об обнове, для них эти школьные вечера были главным развлечением и всякий раз как бы экзаменом.

Лена поражала других. Многим болезнь наносила удары — плохо давалась речь, тупела память, и стихи, например, Зина учила мучительно и остервенело. У Лены память служила идеально. Лишение ног болезнь компенсировала другим, среди прочего — обостренной памятью. Лене было достаточно прочесть дважды любое стихотворение, и она намертво запоминала его. Классная мамочка однажды даже устроила ее персональный вечер. Лена выучила множество пушкинских стихов, конечно, не по школьной программе, и устроила как бы конкурс: кто отгадает, чьи стихи. Она читала целый час, никто не отгадал ни одного стихотворения, и в конце, украсив голову Лены венком, торжествующая Вера Ильинична объявила: да ведь это все Пушкин!

Народ ахнул и застыдился своего невежества, и захлопал растерянно — то ли незнакомому Пушкину, то ли Лене, у которой такая потрясающая память и поразительное знание классика. Потом, когда аплодисменты утихли, Лена прочла еще один стих, конечно, до того незнакомый и ей. Он ее привлек чем-то потаенным, недоступным всем им. Вере Ильиничне она его не показала, выучила сама и прочла в тишине:

Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю,
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой;
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья
Уныло слушаешь меня...
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей любовный шепот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот...

Лена покраснела тогда, прочитав стихи, ей хлопали особенно яростно, и у всех были какие-то странные лица — полуулыбающиеся, полугрустные...

Лена представила сейчас: вот она сидит среди ребят и девчонок в своем замечательном длинном платье и читает эти стихи... Она вообще часто себя представляла в необычном виде. Сиреневое длинное платье — это самое простое и доступное. А вот стать бы летчицей. Управлять сверхскоростным самолетом. Или обладать бы голосом поразительным — во всех возможных регистрах, стоять на сцене Большого театра, «ложи блещут», публика потрясена. Или бы... на лыжах прокатиться с крутой горы, все падают, даже мужчины спортивного вида, а она мчится, и ветер обвевает ее сильные, красивые ноги.

Ах, мечты и сновидения! Это с Зиной или с другой подругой, Валей, можно шептаться о них, да и то тайком от девчонок. Тайком, потому что на жизнь это не похоже, не похоже на правду, тем более на их правду, и всякие пустые разговоры остальных ожесточали. Она по себе это знала. Сколько раз

взрывалась, когда кто-нибудь начинал выдумывать невозможное, плести бог знает что, да вдобавок плакать... Однажды Зина, которая любила копаться в библиотеке, подъехала в своей коляске к Лене и заговорщически приказала:

— Слушай. Это английский писатель и ученый. Чарлз Перси Сноу.— И прочитала залпом:— «Участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы — лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один». Вот!

Зина вздохнула, глядела на Лену круглыми глазами и повторяла:

— Понимаешь! Понимаешь! Оказывается, все на свете известно! Даже про смерть! А мы чего-то изобретаем! Выдумываем оазисы, читаем книги, ведем разговоры. А в самом деле — одиноки.

Лена спорила с ней до отчаяния, но высказывание Сноу переписала в записную книжку. И выучила наизусть.

В дни прекрасного настроения (и никогда — дурного), когда Зина была в ударе и хохотала, Лена подбиралась к ее уху и цитировала грустного Чарлза. Они смеялись, скорбная мысль не казалась такой скорбной, а, напротив, забавной. Привязанности, любовь! Да для них-то без привязанностей и любви вообще не было жизни.

— Это здоровым легко рассуждать, нам же не до того! — поддерживала их Валя: с ней единственной поделились они цитатой из Сноу... Так что плакать у них запрещалось, запрещалось рассказывать о невозможных мечтах и розовых сновидениях, как запрещалось впадать в отчаяние и тоску...

Лена раздвинула шторы и увидела лицо Федора. Он сидел в своей голубятне, там, правда, дождь его не доставал, но весь он был мокрый, как цуцик.

Лена улыбнулась ему и распахнула окно.

— Голуби в дождь не летают? — спросила она.

— Нет,— ответил он, стуча зубами.

— Где же логика? — улыбнулась Лена.

— Какая?

— Голуби не летают, а ты сидишь тут.

— Просто так,— сказал он неуверенно.

Первое ее желание было — позвать Федора, чего он там мается. Но она испугалась. Даже отъехала от окна. До сих пор он видел ее только в окно, а тут увидит всю. Взгляд ее упал на платье. Ну вот, все понятно. Она ведь и платье-то просила для этого. Чтоб Федор ее не видел такой...

Лена подкатилась к окну.

— Можешь,— спросила она Федора,— досчитать до трехсот?

— А потом? — удивился он.

— Потом возьми горсть стружки и приходи ко мне, ведь промок весь... Второй этаж, первая дверь налево.

И задвинула штору, чтобы не видеть его лица.

Мгновение она сидела в кресле неподвижно, безвольно опустив руки. Потом подъехала к длинному платью, принялась расстегивать кофточку. Это было не так просто для нее — переодеться. Ей помогала тетя Дуся в интернате, помогали девчонки. Дома — папка и мамуля. Снять кофточку — это пустяк. Главное — снять старую юбку, а потом надеть платье. Для этого надо приподняться на руках — сначала на одной, потом на другой.

Лена волновалась и торопилась. В голубятне считал до трехсот Федор, а она перебирала эти числа здесь, в комнате. У интерната были свои игры. Среди них и эта, вполне серьезная. Лена переодевала платье сама, досчитав до трехсот. Но это был ее рекорд. В других обстоятельствах. Когда некуда торопиться. И не предстоит свидание.

Свидание? Она засмеялась. Засмеялась, приподнявшись на руке и подсовывая под себя подол платья. Кресло скользнуло куда-то назад, и Лена, неловко скрючившись, рухнула на пол.

Она должна была заплакать по всем правилам. Но засмеялась. И, помогая себе руками, подползла к креслу. Красивое платье волочилось вместе с ней, собирая пыль с пола. Лена ухватилась за коляску и стала подтягиваться. Затрещала материя. Все-таки зацепилась. Вот это было досадно.

Кресло не слушалось — откатывалось под ее тяжестью, а ей не на что было опереться, нечем упереться. С силой втянула она себя в кресло.

Федор уже звонил в пятый раз. Она торопливо поправила подол, поправила волосы. Помчалась в каталке к двери. И снова засмеялась. Свидание!

Лена почувствовала: смеется неестественно. Сердце билось в груди, колотило, словно тяжелый молот. Перевела дыхание, открыла дверь.

Федор разглядывал ее с интересом. Глядел на ноги, на каталку. Потом вошел, вежливо поздоровался, снял мокрые ботинки.

— Ты что,— спросил он, проходя в комнату,— ногу сломала? Я в прошлом году тоже в гипсе все лето проходил. На руку свалился. Подпорки со всех сторон, как у крыла самолета,— знаешь, на АНах?

Очень разговорчивый был, даже как будто не ждал ответа.

— Нет,— сказала она, глядя ему в глаза.— Я без ног.

Лена враз успокоилась. Скучно ей стало, и Федор этот ни к чему.

— Как без ног? — спросил он испуганно.— Вон они, я же вижу.

— Они есть, и их нет,— ответила Лена. Кровь отхлынула от ее лица, и Федор это заметил.— Я не умею ходить.

Он открыл рот, наверное, хотел сказать что-то утешительное, но Лена оборвала его, сказала жестко:

— Не вздумай меня жалеть!

Федор смотрел на нее растерянно, и с каждым мгновением зеленые глаза его темнели.

— Знаешь,— сказал он вдруг,— а я, дурак, вчера вам позавидовал.

— И завидуй,— сказала Лена.— Завидуй! Ты что думаешь, и позавидовать нечему? А я никому не нужная инвалидка? Несчастная калека? Пода-айте копеечку!

Она не кричала. Говорила ледяным голосом, тщательно произнося каждое слово, и Федору стало не по себе от этого. Он сжал в руке стружку. Спросил спокойно:

— Мне уйти?

Лена осеклась. Пронзительно оглядела Федора. Кивнула.

— Уйди.

Он положил на стол стружку, подошел к двери, надел ботинки и обернулся на Лену. Она сидела в своем кресле, откинув голову, и глядела за окно.

Федор осторожно притворил за собой дверь.

Дождь все так же хлестал по земле, сек траву, вспенивал лужи, но Федор не бежал и не прятался. Он шел спокойно, как бы и не замечая ливня, и повторял про себя: «Это надо же! Это надо же...» А беспомощная девчонка в каталке стояла перед глазами.

Смятение испытывал Федор. Сколько он был у Лены? Минуту? Две? Всего несколько фраз, и вот все

кончено, больше он никогда не войдет к ней и никогда не заговорит. Хорошо, допустим, он виноват. Конечно, его потрясла эта каталка. И эти ее слова, что она не умеет ходить. Может быть, он таращился на нее, разглядывал, но что тут страшного? Он же видел ее в первый раз вот так — с головы до ног. И имел право разглядывать. Но потом... Он сказал про зависть от чистого сердца. Он думал при этом о себе и своих несчастьях, которые валятся одно за другим, как червивые яблоки с яблони, даже от легкого ветерка. А она?

Она думает про себя, вот что. Только про себя и про свои беды. И эти ее беды застят весь свет... В общем, она не поняла его. Сразу стала защищаться. И нападать, защищаясь...

Федор пришел домой, лег, мокрый, на кровать, но тут же вскочил, переоделся. Снова лег. За окном было серо и голо, и на душе у него точно так же. Ведь он шел в голубятню, чтобы увидеть ее, а теперь?.. Как теперь ходить ему туда? Знать, что тебя видят, и беззаботно гонять голубей?

Может, надо было ее похвалить. Сказать: ах, как все замечательно у тебя! И не обращай внимания на свои ноги! Есть они или нет, какая разница?.. Да он бы себя уважать перестал!

Федор раскрыл первую попавшуюся книгу. Прочитал несколько строк. Ничего не понял. Бросил ее.

Вот все эти дни он родителей осуждал. Что друг дружку понять не могут, не хотят, что отец такую жизнь себе устроил, из-за которой мать попала в беду... А сам-то... Сам-то уж такой умник? Вошел и вышел. И ни в чем не разобрался.

Мать страдает, переживает, почернела вся, а отец этого не видит. Может, у Лены так же. Страдает, а он не увидел. Подумала, что Федор ее страданиям обрадовался? Мол, позавидовал, а завидовать-то, слава богу, нечему... Неужели так подумать можно?

Федор походил по комнате и остановился в недоумении: ведь он на отца сейчас походил. Дергается, как батяня вчера. Выходит, на душе муторно. У батяни отчего — ясно, а вот у него?

И у него ясно. Как дурак сегодня себя вел. Кисейная барышня. «Уйти?» «Уйди!» А что она, за фалды хватать должна: подожди, Федя, мы еще не поговорили, не выяснили.

Да какого черта! Виноват ведь он. Виноват. Девчонка больная там сидит. Пожалела его, под крышу позвала, а он: зря позавидовал, ты такая же, может, хуже. Дурак, да и только.

Он подошел к окну, прислонился горячим лбом к стеклу. Стало прохладно и приятно. «Надо пойти к ней,— подумал он.—Ведь это же глупо, глупо... Надо извиниться, надо что-то сказать и сделать...». Федор надел плащ, захлопнул дверь и сбежал по лестнице. Дождь все так же яростно колотил о землю, только, пожалуй, стал еще гуще: за его стеной ближние дома было едва видно.

Не разбирая дороги, Федор кинулся к дому Лены и вдруг словно споткнулся. Он увидел вначале странный предмет, потом понял, что это, обалдело загляделся, зацепился ногой о кочку и шлепнулся на коленки.

— Куда ты, сумасшедшая? — крикнул, стоя на четвереньках.

— К тебе!—ответила она.—А ты?

— К тебе,— сказал он, поднявшись и приближаясь к коляске.

Лена сидела под плащ-палаткой, наверное, отцовской, подол длинного платья промок до самых коленок, и лицо забрызгано каплями дождя, а руки по локоть в грязи, ведь ей приходилось крутить колеса.

— Что ты наделала? — кричал Федор.— Как ты сумела?! По лестнице!

— Федя, я гигантская дура! — крикнула ему в ответ Лена.— Просто-таки великолепная дура!

— И я! — заорал он радостно.— А я дурак еще великолепнее!

Они хохотали, просто покатывались, слава богу, даже собак не было на улице, не то что людей, и никто не мог покрутить пальцем у виска. Был повод. По справедливости.

Еще смеясь, Федор наклонился, закутал плащ-палаткой ноги Лены, шутливо спрятал ее руки, развернул коляску и помчал ее к дому.

Они все смеялись. И умолкли только в подъезде.

— Ого! — сказала Лена.— Вниз я как-то скатилась. С помощью перил. А обратно?

— Дай ключ,— потребовал деловито Федор. Теперь-то ему все ясно было. Как себя вести. Как держаться. И вообще он понял, кто он такой. Как-то враз понял.

Он взял ключ, поднялся на второй этаж, отворил дверь Лениной квартиры. Спустился вниз и приказал ей:

— Держись за мою шею! Обеими руками.

— Да они грязные! — опять засмеялась Лена.

— Держись! — приказал Федор, и она обхватила его за шею, шепнув в ухо:

— Слушаюсь и повинуюсь!

Оттого, что она шепнула ему прямо в ухо и волосы ее касались щеки, Федору стало щекотно и смешно.

Он улыбнулся, подхватил ее на руки и понес вверх. Лена оказалась легонькой, и Федор почувствовал себя как бы сильней.

— Сумасшедшая,— повторял он, шагая по лестнице.— Ну, просто сумасшедшая... По лестнице, на коляске... В такой ливень...

Он шагал по ступенькам, бормотал притихшей Лене эти глупые слова и чувствовал, что какое-то тепло подкатывает к горлу и нежность к Ленке, к этой отчаянной девчонке, окатывает сердце горячей кровью.

— Сумасшедшая,— повторял он,— ну, сумасшедшая.... Ох, сумашайка...

Он внес ее в комнату и положил на диван. Когда он отстранился, Лена лежала побледневшая, с закрытыми глазами.

— Сумасшедшая! — позвал он тихонько. Лена не откликнулась. Федор испугался и окликнул ее погромче. Она молчала. Федор растерялся.

Он оглянулся, как бы ища глазами помощи, или лекарства, или еще чего-нибудь, потом наклонился к лицу Лены, чтобы услышать дыхание. Она дышала едва слышно, Федор успокоился и немножко отодвинулся. И вдруг она сказала, не открывая глаз:

— Поцелуй меня!

— Чего? — переспросил он, опешив.

— Дурачок,— ответила она, по-прежнему не открывая глаз.

Он помолчал, встал на колени перед диваном и прикоснулся к влажным и теплым губам.

— От тебя пахнет стружками,— прошептала она и открыла глаза.

— А от тебя дождем,— ответил он и поцеловал ее снова.

Она обняла его за шею, они целовали друг друга неумело и пылко и стали постепенно отплывать в туман, и окна, в которых стояла дождливая серость, засветились солнечным сиянием, пока она не спохватилась:

— Коляска!

Коляска стояла внизу, в подъезде, и дверь в квартиру была распахнута настежь. Федор с трудом поднялся с пола и, глупо улыбаясь, отправился вниз.

Он принес каталку, запер дверь, вошел в комна-



ту. Лена сидела на диване, сложив на пол мокрую плащ-палатку и отвернувшись в сторону.

— Лена!— шепнул Федор и снова приблизился к дивану.

— Что это с нами?— спросила она, покачав головой.— Какое-то затмение...

— Завтра затмение,— ответил шепотом Федор.— Солнечное затмение.— Он говорил, а она кивала в ответ после каждой фразы.— Я приду к тебе. Мы будем смотреть солнечное затмение.

Он поцеловал ее снова, она не отстранилась, но когда Федор приблизился вновь, Лена закрылась ладошкой.

Ладошка была грязная — ведь Лена крутила руками колеса, когда ехала по грязи.

Федор схватил ее грязную руку и прижал к своей щеке.

Глаза его горели. Он смотрел на Лену ликующим взглядом, и она, потухшая было, улыбнулась ему такой же безмятежной улыбкой.

Мамуля ничего не заметила. Квартира была убрана, коляска протерта, платье тщательно выглажено и покоилось на плечиках, на своем месте — Федор оказался мастером на все руки. Но от папки, от него разве укроешься?

Первым делом он обнаружил стружку и подробно выспросил, откуда она взялась. Пришлось рассказать про одного знакомого. Отец промолчал, но несколько раз Лена ловила на себе его беспокойные взгляды.

А в нее, как нарочно, будто бес вселился. Она то принималась распевать во весь голос первое, что приходило — «Орлята учатся летать!»,— то включала транзистор и под «Сентиментальный вальс» Чайковского кружилась в каталке по комнате, безбожно опаздывая, конечно, пыхтя от напряжения и срывая ногти, то принималась нюхать стружку, округляя глаза и глупо хихикая.

Потом она позвала папку и мамулю и принялась читать им Пушкина, то самое, неизвестное профанам стихотворение, которое теперь приобрело для нее новый смысл. Чтобы не выдать себя, она читала, дурачась, подвывая и гримасничая, не забывая, однако, следить за родителями.

Кляну коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей...

Когда она кончила, мамуля поаплодировала ей и убежала на кухню, а отец вздохнул и еще раз пристально оглядел Лену.

— Ну хорошо,— сказал он,— ты влюбилась, это мне понятно. Познакомь.

— Завтра,— ответила Лена.— Кстати, завтра — затмение.

— Что?— испугался отец.

— Солнечное затмение. И мы будем его наблюдать. Папа, а как наблюдают солнечное затмение?

Отец растерялся.

— Через специальные астрономические приборы, наверное... Он у тебя что, астроном?

— Конечно,— ответила она серьезно,— и астроном, и философ, и голубевод, и еще многое что.

Отец быстро подошел к окну, взглянул на голубятню, хлопнул себя по лбу.

— Как я сразу не допер,— воскликнул он,— значит, Федька! Сын американца.

— Не Федька,— рассердилась Лена,— а Федор. Какого американца?

Папка усмехнулся.

— Отца у него Джоном зовут,— сказал он,— так что твой приятель Федор Джонович.

— Да пусть хоть марсианин его отец,— засмеялась Лена.— Только бы дождя завтра не было.

Но утро вышло чу́дное. Оказалось, что это суббота и родителям не надо идти на работу. Лена смутилась: Федор мог испугаться и не прийти.

Она нервно раскатывала по комнате, прислушивалась к каждому шороху за окном: мало ли, Федор мог подать ей сигнал с голубятни. Но он не испугался. Послышался звонок, Лена кинулась к двери, но ее опередил папка.

Федор стоял на пороге принаряженный — в белой рубашке с короткими рукавами, в отутюженных брюках. Пушок на верхней губе намечал будущие усы, черные волосы крылом сползали на лоб, и Федор все время отбрасывал их назад.

— Здравствуйте,— сказал он бодро и перешагнул порог, не дожидаясь приглашения.

Папка провел его в комнату, тут же возникла мамуля, заморгала глазами, что-то силясь решить, какую-то свою задачу; покашливал, волнуясь, отец.

— Мы с вами знакомы, в общих чертах,— наконец проговорил он.— Я даже знаю, что вас зовут Федор.

— А вас Петр Силыч.

— Ну вот и познакомились,— засмеялась Лена и увидела, как облегченно улыбнулся папка. В самом деле, что произошло? Пришел человек, ее друг, и нечего папке покашливать, а мамуле моргать. Событие какое! Отец словно бы так же решил.

— А как вы будете наблюдать затмение?— спросил он.

Федор улыбнулся, полез в карман, аккуратно вынул что-то, завернутое в газетную бумагу. Это были два стекла, обыкновенные плоские стеклышки, закопченные на свече.

— Вот,— улыбнулся он смущенно,— сквозь них.

— Боже, как просто!— удивился отец.— Я думал, какой-нибудь прибор... Вообще, живя в мире сложного, мы совсем забываем о простом!

Федор взглянул на часы, и папка опять засуетился.

— Знаете,— воскликнул он,— Лена почти не бывает на улице. Давайте мы вывезем ее во двор, и там вы будете наблюдать ваше солнечное затмение.

— Почему — ваше? — спросил, смущенно улыбнувшись, Федор.

Отец пожал плечами, смутился, закашлялся снова, извинился, принялся хлопотать, чтобы помочь Лене.

Когда они остались одни, Федор шумно вздохнул. Коляска стояла под окнами, возле голубятни, в окно на них то и дело поглядывали папка и мамуля, но все-таки они были одни.

Ноги Лены укутывал теплый плед, сама она была в шерстяной кофте, хотя солнце светило еще очень ярко.

Федор смотрел, как родители утепляли Лену под голубятней, и сказал с упреком, когда они ушли:

— А вчера в одном платье мчалась под дождем. Вот бы они узнали...

До затмения еще оставалось время, и Федор выпустил голубей. Птицы взвились в небо, и Лена, прищурясь и откинув голову, следила за их ликующим полетом.

— Как хорошо все-таки, Федя,— сказала она.

— Я их люблю,— ответил он.

— Я не про птиц. Я вообще. Жить хорошо. Даже если у тебя нет ног.

Федор посмотрел на нее строго.

— Зачем ты об этом?

— А о чем же, Феденька?— улыбнулась она. И шепнула: — Поцелуй меня! Ну! Я смотрю!

Она покосилась на окна, а Федор поцеловал куда-то возле уха и попросил:

— Не надо так.

— Как?— удивилась она.

— Лучше, как вчера.

Она взяла его за руку, ощутила ее шершавость. Сказала, улыбаясь:

— Ах, Феденька, все это глупости. Ты вчера ушел, а я, дурочка, размечталась. И потом подумала: ну хорошо, раз так получилось, пусть будет. Все-таки целоваться хоть грустно, но приятно.

— А почему грустно?— улыбнулся Федя.

— Потому что бессмысленно. Это просто такие дни. Жизнь улыбается мне. А потом... ты встретишь нормальную девушку и забудешь про меня.

Федор ничего не ответил. Следил за своими голубями, за их полетом.

— Ты слышишь меня?— спросила она осторожно.

— Я не думал об этом,— ответил Федор.

— Подумай,— посоветовала она.

— Не хочу,— быстро сказал он.

Лена строго взглянула на Федора. «Вот ты какой,— подумала она,— не хочешь, а придется.— Это же решила повторить вслух, но промолчала.— Он ведь прав, раз не хочет думать. Ну и я не хочу».

Голуби кружили в бездонном небе, потом как будто замерли в нем и ринулись вниз. Что-то с ними стряслось. Белыми тенями промчались они рядом с Леной и Федором, влетели в голубятню и тревожно заворковали.

— Держи,— протянул Федор закопченное стеклышко.

Она прищурила глаз, но это вовсе не требовалось — стекло было довольно большое.

Солнце сквозь него казалось ярко начищенным пятаком, красно-медным и очень близким. Руки грело его тепло, а через стекло оно было холодным.

Федор взглянул на часы.

— Сейчас,— сказал он,— следи внимательно.

Сперва Лена ничего не заметила. Потом солнечный край стал неровным, будто срубленным. И постепенно солнце стало походить на месяц.

Ветер стих, но Лену вдруг зазнобило. Федор удивленно смотрел на нее, а у девочки не попадал зуб на зуб. Он отложил стекло, взял ее за руку. Рука была как ледышка.

— Ты озябла?— спросил он тревожно.— Что с тобой? Что?

Но Лена не отрывалась от стеклышка. Тускнеющее солнце странно завораживало ее.

— Ничего!— сказала она.— Смотри! Пропустишь!

На улицу опускались стремительные сумерки. В тополях отчаянно орали напуганные вороны. И тут солнце исчезло. Вместо него в совершенно синем небе висело черное пятно. Голуби заворковали отчаянно, в полный голос, и Лена прошептала:

— Федя! Мне страшно!

Он снова взял ее за руку.

— Потерпи,— сказал он,— потерпи, сейчас кончится.

С минуту черное пятно, затмившее солнце, повисело в небе, потом край его засеребрился, и, словно обрадовавшись, тотчас дунул ветер. Сумерки посветлели. С каждым мгновением солнце освобождалось от страшной тени, потом снова стало медно-красным, и Лена бросила стекляшку. Раздался звон, а она смотрела на яркое солнце, и от яркости этой, от острой рези в глазах у нее вспыхнули слезы.

Голуби ворковали успокаивающе, вороны в тополях умолкли, и Лена почувствовала, что согревается.

Она повернулась к Федору. Он разглядывал ее испуганно.

— Что с тобой было?— спросил он.

Лена пожала плечами.

— Что-то было,—ответила она.

— Дурак,— сказал он,— зря я тебе его показал.

— Нет,— ответила Лена,— не зря.— И облегченно вздохнула.— Все-таки жить хорошо. На солнце смотреть. Но чтобы все понять, надо увидеть это пятно... Ты меня понимаешь?

Они долго молчали. Ветер шевелил высохшие травинки, шелестел в кустах, шумел тополиными листьями.

— Все беды — это солнечные затмения,— сказала Лена,— а жизнь — само солнце.

Из подъезда вышел папка. Подсел к ним. Попросил показать голубя.

Федор быстро поднялся в голубятню, тут же вернулся, дал Лене настороженного рыжего турмана, тот косил глазом, оглядывая новую хозяйку, вопросительно взглядывал на Федора, открывал клюв, показывая острый розовый язычок, смешно дергал веком.

Лена слушала, как Федор рассказывает отцу про голубей, и почти ничего не слышала. Федор тоже не слышал себя. Он говорил, а сам смотрел на Лену. И Лена смотрела на него.

✪

Федор себя корил на чем свет стоит, ругал последними словами: у мамки вон какая беда, а он, словно угорелый, к Лене бежит. Беда, беда в дом пришла, умом он это распрекрасно понимал, да вот фокус в чем — беда с его счастьем совпала, и счастье это, встречи с Леной, сама она, лицо ее, из памяти не выходящее, беду домашнюю решительно отстранили.

Корит он себя. На Лену смотрит, вдруг вспомнит про мамкину недостачу, сморгнет и забудет, снова одну Лену видит, только ее. А про батяню и думать перестал. Грех отцовский совсем в стороне. Беззаботно, конечно, так жить, бессовестно даже, но ничего Федор с собой поделать не может. О доме и вспоминает только, когда к нему подходит.

В пятницу отец своим ходом добрался. Мокрый до ниточки, но трезвый. И в субботу с утра дома сидел. Мать и в субботу на базу ушла, проверка заканчивалась там, а батяня мрачнее тучи в комнате остался.

Вернулся Федор домой — боже мой, что творится! Отец босиком и с тряпкой в руке. Так тряпку жмет, с такой ненавистью, что та аж пищит. А лицо у батяни — хоть похоронный марш включай. Тряпкой об пол шлепает, чистоту наводит. Вот так штука!

Федя в тот день на отца чистоту в комнате свалил, хотел его в мамкиных глазах приподнять. Она засмеялась, не поверила. Странно: зацепила отца. Задела самолюбие. Конечно, был бы выпивши или с похмелья, про все бы на свете забыл, а трезвый запомнил. И трезвому — что делать. Взял тряпку, моет. Федор его похвалил, да сам не рад: батяня бровь изломал, нахмурился пуще прежнего.

— А что,— сказал,— я уж и впрямь такой, как думаете?— Зашвыркал тряпкой дальше.

Федор на пороге потолкался: в комнату не войдешь, обратно к голубятне идти глупо: сию минуту с Леной расстались. Она-то рада будет, а что родители подумают?

Развернулся и пошел на базу к мамке.

Овощная база на завод, пожалуй, была похожа. Проходная, шлагбаум. И серые корпуса — один к одному. Урчат машины, перекликаются грузчики. Шумное место мамкина база. Только в хранилище пустота. Ворота настежь распахнуты, чернеет зев хранилища, будто чудовищная глотка, тянет из нее холодом, сыростью, душноватым запахом гнилья.

Федор вошел туда — пусто и мрачно. В полумраке виднеется некрашеная белая табуретка, на ней сидит мамка в черном халате и сапогах, только лицо и руки белые в темноте выделяются. Страшновато: табуретка, лицо и руки на черном фоне. И руки к лицу прижаты.

Федор к мамке подошел, хотел подкрасться незаметно, крикнуть, напугать, удивить, а потом пожалел: раскачивается мама на табуретке, как от зубной боли.

Федя присел перед ней на корточки, сказал:

— Да не убивайся ты раньше времени.

Мама руки от лица отняла, не удивилась, увидев Федора.

— Уже после времени,— сказала, давясь слезами.— Все теперь, Феденька, просчитали, недостача на семьсот рублей, в неделю внести надо или дело на суд оформят.

— И слава богу!— сказал Федор.

— Чему радуешься?

— Ясности,— ответил он,— семьсот рублей! Да наберем мы их, займем, если надо. Хочешь, я голубей продам?

Мама его за голову взяла, посмотрела в глаза внимательно, опять слезы из глаз полились, прижала Федю к себе, к черному халату, пахнущему чем-то затхлым, запричитала:

— Ох ты, мой голубо-ок! Как бы я без тебя жила-то? Только в петлю, в петлю!

Федор из мамкиных рук вырвался, тряхнул недовольно головой

— Скажешь тоже! — Помолчал. Вспомнил отца.— Вон батяня-то! Третий день, как стеклышко, а сегодня дома пол моет.

— Не может быть,— сказала мама и засмеялась.— Не шутишь?

— Какие там шутки! Хвощет тряпкой по полу, аж брызги летят.

Мама опять засмеялась и снова заплакала, и Федя принялся ее уговаривать и гладить по голове, говорить, чтобы ушла она отсюда, с этой овощной базы, тоже, дескать, нашла себе работенку — овощи караулить.

— Семьсот рублей, Федя! Не шутка же, на семьсот рублей сколько всего разного — и яблок, и персиков, и винограда! Народ-то, комиссия эта, знаешь, как косилась — украла, мол, и все. Ладно — вступились люди добрые.

Федор кивал головой, слушал ее и себя проклинал: вот мать ему про свою беду рассказывает, а он в это время Лену видит. То глаза ее, то волосы, то губы. И мамкино несчастье отдаляется сразу, не переживает он нисколечко, хотя внимательно слушает.

— Мам,— сказал неожиданно для себя даже,— перестань горевать. Знаешь, сегодня солнечное затмение было.

— Ну и что?— сказала мать без интереса.

— Солнце пропало. Темно и жутко стало.

— Ну и что?— повторила мамка.

— Эта твоя беда, как солнечное затмение,— улыбнулся он, вспомнив Лену.— Ненадолго. А потом снова солнце выйдет. Да оно уже вышло. Ты только не заметила.

Мать вздохнула, вынула платочек, потерла глаза, поднялась с табурета. Закрывая хранилище на огромный амбарный замок, спросила:

— Ты чего такой умный стал? Про затмение говоришь...

Федя засмеялся.

— Научили!

— Это кто же, интересно?

— Добрые люди.

— А есть они,— спросила мамка, задумавшись,— добрые-то люди?

— Сама же сказала,— удивился Федор,— добрые люди тебя защитили.

Мама склонила голову, кивнула.

— Злые люди попользовались, а добрые защитили. Верно. Я вот только думаю, не одни ли и те же они. И добрые, и злые?

Федор ее не очень понял. Да и не стремился вникнуть в эти слова. Он опять про Лену вспомнил, как похолодела, будто ледышка, когда солнце исчезло.

Дома было прибрано, чисто, отец сидел за столом, побритый до синевы, в белой рубахе, причесанный и опрятный. Его бы похвалить не мешало, обрадоваться, но как тут обрадуешься, если напротив отца восседает седой друг детства Иван Степанович, а на столе красной наклейкой светится четвертинка. Пока закупоренная, но долго ли ее открыть. Федор и мамка враз нахмурились, и седой увидел это, спросил, вздохнув:

— Чего ты, Тоня, с Джоном сделала? Битый час уговариваю по случаю субботы отметиться, а он не желает. И вообще... какой-то торжественный.

— Торжества у нас невеселые, отмечать нечего,— понурился батяня, потом голову вскинул.— Ну как, Тоня?

Мамка опять заплакала, сказала про семьсот рублей, Иван Степанович крышечку с бутылки сорвал, себе в стакан налил, крякнул, выпив, и утешил — то ли себя, то ли всех их:

— Семь бед, один ответ.

Тут же он встал, вышел, не попрощавшись, ничего не сказав, оставив четвертинку недопитой, и батяня пожал плечами ему вслед.

— Ну,— поднялся он, отутюженный и чистый,— давай, Тоня, глядеть, что и как, унывать теперь прекрати, не ахти какие деньги, семьсот рублей, как-нибудь управимся.

Он двинулся к шифоньеру, распахнул скрипнувшую дверцу, достал свой выходной костюм, новенький, почти не ношеный, проговорил:

— Вот тебе сотня есть!

Мама села на краешек стула, Федор притих у нее за спиной и счастливо заулыбался. Вот таким ему батяня очень нравился. Про такого отца он мечтал. Хоть его Джоном обзови, хоть американцем, хоть самим дядей Сэмом, ему на шелуху эту наплевать. К водке не приложился, хоть друг детства уговаривал. А сейчас действует уверенно — сила в словах, передвигается спокойно, а не мечется, как дерганый.

— Вот проигрыватель, а, Федюнь, выдержим без музыки?

— Выдержим,— засмеялся Федор,— еще как выдержим!

— Ну тогда, считай, еще полста... Так! Однако, Тоня, ружье куда мое упрятала? Упрятала правильно, давно его пора продать, какой из меня охотник. Это, полагаю, бумаги полторы.

Федор, увлеченный отцом, выбрался из-за материной спины, снял с вешалки свои новые брюки, вытащил рубашки, нейлоновую куртку. Бросил на отцовский костюм, спросил:

— Сколько будет?

Мамка поднялась тоже, взялась перебирать плечики с платьями, но отец вдруг остановился, взял маму за руки, усадил обратно, Федины вещи сложил в шифоньер. Лицо у него было строгое, неприступное.

— Я виновный,— сказал он,— я и рассчитаюсь. А вы отдыхайте.

Мама опять заплакала. Отец к ней подсел, пожалел неуклюже:

— Ну чего, Тонь?

— Гера! — воскликнула мамка.— Чего же тебе мешает всегда-то таким быть, а? Сердце мое не разрывать выпивками своими. Сына собственного щадить!

Отец закурил. Руки у него тряслись — отчего, непонятно. Хрипло сказал:

— Обещание даю! Клянусь вам! Все, конец!— И засмеялся.— Что я, в самом деле, хуже всех? В кино ходить будем, гулять будем. Можно даже в театр.

Неожиданно он маму обнял, потом вдруг вскочил, схватил ее на руки, закружил по комнате, ваза с цветами на пол полетела, грохнуло стекло.

Федор смеялся счастливо, вот и пронесло, все в порядке теперь, посуда к счастью бьется! Кончилось солнечное затмение, опять солнце светит — и когда это было у них в последний раз? Нет, не упомнит Федор, чтоб так было.

Странно устроена жизнь. Когда все нормально, так худо жили, а случилось несчастье — и батяня словно очнулся.

Мама смеялась, батянин хрипловатый смешок ее перебивал, Федор улыбался, глядя на родителей, и не сразу заметил, что дверь открыта и на пороге люди стоят. Друзья детства — седой Иван Степанович, Платонов и лысый Егор.

Федор скис: ясное дело, за отцом пришли и сами тепленькие — комната сразу перегаром наполнилась.

Мама и отец гостей позже Федора увидели. Батяня мамку на пол бережно опустил, друзьям детства заявил:

— И не ждите. Завязал.

Но друзья, не ответив, прошли в комнату, уселись за стол.

— Ну что,— спросил седой пришедших,— допьем? Грех добру пропадать.

Из чекушки водку в стакан слил, пустил по кругу — каждый хлебнул. Батяня и мамка стояли у стола, удивленно на непрошеных гостей смотрели, ничего понять не могли. Один Федор понимал: у, мефистофели! Батянины совратители!

Он уже приготовился речь произнести, сказать этим мужикам, чтобы валили отсюда, чтоб больше никогда в этот дом не входили, чтоб дали им жить спокойно — маме, отцу, Феде, чтоб не вмешивались во внутренние дела, как пишут в газетах. И даже рот открыл, чтобы заклеймить их, но Иван Степанович погладил седые свои волосы и кивнул Платонову:

— Давай, друг!

Платонов полез в карман и вытащил охапку скомканных денег.

— Сотняга тут,— прохрипел Платонов.

— Ящик,— вздохнул Егор.

— Какой ящик?— спросила мамка.

— Этой, как ее...

— А ну, прекрати!— оборвал его Иван Степанович и торжественно произнес:— Гера, прими от друзей детства. И ты, Тоня. Чем богаты, тем и рады.

Они улыбались, эти трое, хмыкали, переглядывались, довольные, и у Федора запершило в горле. Только что речь он хотел сказать, выдворить из дому пьянчужек проклятых, а они вон что удумали. И хмыкают, теребят носы смущенно.

Отец принялся друзей обнимать, колотить их сильно по спинам, так что в спинах у них гудело, и они его колотили, а мама плакала опять, платок у нее промок, и она теперь вытирала слезы ладонью.

Вытирала слезы, снова плакала и тут же смеялась.

В дверь постучали. Все притихли, повернулись к входу, все еще улыбаясь.

И тут на пороге возник — у Федора аж дыхание перехватило — отец Лены Петр Силыч... Он кивнул, закашлялся смущенно в кулак и сказал:

— Я вот тут деньги принес.

— Но мы вас не знаем,— сказал батяня.

— Знаем,— сказал Федор и густо покраснел.

Лицо Лены стояло перед ним: огромные глаза и золотые волосы.

Друзья детства дружно обернулись к Федору, точно только его увидели. И батяня воззрился пораженно.

И мамка разглядывала, и на лице ее была написана какая-то мука. Что-то мучительно вспоминала.

✪

Лена думала сначала, они на выпивку собирают, эти пьянчужки. Подъехала к окну, осторожно подвинула штору.

— Ежели Джонову Тоню посадят, грех нам всем на душу до конца дней,— сказал седой дядька. Они стояли у голубятни, шуршали деньгами.

— А помнишь, Ваня, когда Тоня сюда приехала? Как они поженились-то. Голенастая такая пацаночка, а теперь...

— Все мы теперь,— сказал третий и пошлепал лысого по голове.

Они рассмеялись, и Лена поняла. Вот, значит, про какую Тоню речь. И возмутилась: а Федор молчал!

Молчал? Она сама себя осадила. Вспомнила тот день. Ливень тот и глупый разговор. Разобиделась тогда, ах ты боже мой! А парень про себя сказал. Думал, хоть у меня нормально, если худо у него. Вот что... Мать, значит. Кто она у него? Продавщица?..

Ей было все равно, кто у Федора мать. Вон даже эти пьяницы собирают деньги, чтобы помочь, так разве она может сидеть спокойно?

Лена откатилась от окна. Окликнула папку. Он вошел — очки на кончике носа, в руках газета. Посмотрел на нее вопросительно.

— Папа!— воскликнула она.— У Федора беда, а он молчит, понимаешь? Мать на работе просчиталась, что ли... Деньги ему нужны.

— Сколько?— спросил отец.

— Не знаю.

Он был отличный человек, папка. Исчез, вернулся переодетым, поправляя галстук. Спросил, какая квартира. Лена знала только подъезд. Вошла мамуля, заморгала глазами, узнав в чем дело, потом закивала головой:

— Конечно, о чем речь! Помочь надо. Но кто они, эти люди? Мы их не знаем.

Ах, мамуля! Лена закатила глаза. Отец ей помог, спросил мамулю:

— Ты Федора видела?..— И ушел.

Мамуля Лену к дивану подкатила, села сама. Вот они и вдвоем остались. Странно, она с папкой чаще бывала, чем с мамулей. У той все кухня да кухня. Понять можно, надо же кормить их, но все же...

— Ленусик,— сказала мамуля, гладя ей руку,—

ты, конечно, примешься ругаться, и папа со мной не согласится, но ты послушай... Может, не надо?

— Что?

— С мальчиком с этим, с Федей дружить?

Лене захотелось что-нибудь выкинуть или сказануть мамуле резкое словечко, но она сдержалась. Спросила:

— Почему?

Мамуля замялась.

— Он совсем на тебя не похожий, у него другая судьба, голубей вон гоняет...

— Хочешь сказать, я не могу голубей гонять? Допустим. Не могу. Что дальше?

Мамуля без конца моргала глазами, и это раздражало Лену.

— У тебя же есть подруги,— заспешила она,— Зиночка, например, девочки по комнате, наконец, в интернате мальчики есть...

Лена все поняла, и, странно, не злость, не обида всколыхнулись в ней, а жалость к мамуле. Вот она и опять щадит ее, опять жалеет, старается, чтобы не случилось ничего, что потом доставит ей горе, печаль, боль. Лена протянула к мамуле руки, та охотно подалась вперед, Лена прижала к себе маму и погладила, как маленькую, по голове.

— Не бойся,— шепнула,— не бойся, я все знаю.

— Что знаешь?— отстранилась мама.

— Что меня ждет разочарование. Обида. Потеря.

— Нет, нет,— фальшиво воскликнула мамуля,— я имела в виду совсем другое.

— Что же?— рассмеялась Лена.

— Хорошо,— ответила мама,— раз ты настаиваешь, хорошо. Он не поймет, что ты больная. Не поймет, что между вами нет равенства.

— Достаточно, мамочка,— сказала Лена, теперь уже злясь.— Это все разные слова про одно и то же.

Раздался звонок. Мамуля побежала открывать, должно быть, вернулся отец. Но из прихожей послышались восклицания — и еще один женский голос, страшно знакомый.

— Мамочка! — крикнула Лена, срываясь с места.

В комнату входила Вера Ильинична, с цветами в одной руке и коробкой торта в другой. Цветы и коробка полетели на диван, Лена повисла на шее учительницы, повизгивая от радости. Вера Ильинична уселась напротив Лены, и та разглядывала ее, приговаривая:

— Ну-ка дай на тебя поглядеть! Какая ты стала? Прическа — шик-модерн, просидела в парикмахерской не меньше двух часов! А вот под глазами круги — сколько забот. Ну, как там девчонки?

Девчонки! Лена только сейчас, сию секунду, с появлением классной мамочки, подумала, что про девчонок она совсем-совсем забыла. Помнила, думала, скучала — и вот появился Федор, и все ушло, все отдалилось, даже интернат.

— Мамочка,— заскулила Лена,— я домой хочу, в интернат, ко всем! — А глаза ее смеялись, и ей вовсе не было скучно и не хотелось в интернат: ведь там не будет ливня, голубей, Федора, поцелуев, солнечного затмения, одуряющего запаха стружки и добрых пьянчужек, выручающих Тоню.

— Неправда,— сказала Вера Ильинична.— Это раньше я многого в вас не понимала, а теперь понимаю все и по твоим глазам вижу, что у тебя много новостей!

— Полный короб! — воскликнула Лена, и мамуля кивнула, подтверждая ее слова, вздыхая, подбирая цветы с дивана и коробку с тортом.

— Я исчезаю,— сказала она грустно.— Исчезаю, чтобы поставить цветы в вазу и чай на плиту, но перед тем хочу спросить, Лена, какая разница между мамулей и мамочкой?

В ее голосе слышалась грусть, и Лена подумала, что грусть ее обоснованна: она звала маму мамулей иногда с иронией и не считала нужным свою иронию скрывать.

Она поняла это сейчас, только сейчас, неожиданно и точно, вспомнив, как осаживала мамулю своими холодными и умными речениями, как мамуля без конца моргала, разговаривая с ней, и все это оказалось ужасно противным, просто отвратительным. К черту всякое умничанье! Она всегда гордилась тем, что не пользуется своей болезнью, как некоторые,— словно преимуществом. Но ведь и тон ее в разговоре с мамулей, и ирония не нужны и глупы, и снисходительность — все это гадко, гадко, потому что мама не может ответить ей, не может,— она ее дочь, и дочь больная.

Доброта! Вот! Это единственное, чего желала теперь Лена. Бесконечно доброй — единственно такой! — желала она быть. Всегда, везде, со всеми. И с мамулей тоже. С мамой. С матерью. С женщиной, родившей ее. Родившей в муках, пусть даже такую — уродливую и беспомощную. Но ведь прекрасную для нее. Это было мгновение, не больше. Лена собиралась с мыслями, чтобы ответить маме — одно мгновение. И мысли о доброте пронеслись в одно краткое мгновение. В секунду ее жизни. В одну секунду из многих миллионов секунд.

— Наклонись ко мне, мамуля! — сказала Лена, и в глазах ее показались слезы.

Мама послушно наклонилась, и Лена прижалась к ней. Другой рукой она обняла Веру Ильиничну.

— Потому что я вас обеих люблю,— сказала она.— И еще потому, что я вас понимаю. И вы понимаете меня, мы все друг друга понимаем. Мы ведь женщины, правда?

Что с ней происходило? Кто это знает?

Прежде Лена терпеть не могла подобных сантиментов, а теперь захлюпала носом, как мамуля и Вера Ильинична, и засмеялась, правда, тут же, потому что это было действительно забавно: трио хлюпальщиц носами. Она рассмеялась, засмеялись и взрослые, и Лена принялась тормошить классную мамочку, забрасывать ее вопросами: какие были вечера в последнее время, какие школьные сенсации, как Женя, которая хорошо играла на пианино, а, главное, как их класс и еще точнее — их комната?

— Как Валя?

— Вышила новый коврик.

— Молодчина! Как тетя Дуся?

— Дремлет и причитает!

— Как директриса?

— Закатала на Новый год сто банок клубничного компота. Будет пир.

— Зинуля моя как?

— Нормально.

— Стихи учит?

— Да.

Лена удивленно взглянула на Веру Ильиничну: ее лицо странно напряглось. Но тут же стало прежним. Теперь расспрашивала она. Про здоровье. Про новые книги, которые Лена прочитала.

— О-о! — застонала Лена.— Расскажи, мамочка, про Оскара Уайльда! Я прочла «Портрет Дориана Грея», и там такие ужасные выражения! «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа».

Вера Ильинична улыбнулась.

— «Преступной юности моей». Так, кажется? Видишь, и Пушкин себе позволял.

— А вчера было солнечное затмение. Ты знаешь? — Лицо классной мамочки снова изменилось, но Лена не требовала ответа. Ее распирало желание

рассказать про Федора. Она перешла на шепот.— Мне показывал его один мальчишка. По имени Федор. Мы смотрели на солнце сквозь закопченные стеклышки. И ты знаешь,— она крепко сжала руку учительницы,— мне вдруг стало холодно. Я просто вся окоченела.

— И ты? — испуганно воскликнула Вера Ильинична.

— Да. Ты тоже мерзла? — Но учительница не ответила, а Лена продолжала: — И вот папа пошел к Федору. Чтобы выручить его мать. Она, кажется, растратила чужие деньги.

Вера Ильинична отодвинулась от Лены. Рассматривала ее с интересом. Потом прижалась к ней.

— Елена прекрасная,— шепнула она,— ты что, влюбилась?

Лена замерла. Быстро закивала. И сказала жарко:

— Да-да-да-да!

Пришел отец, они уселись за стол, пили чай с тортом, и Лена чувствовала, как Вера Ильинична удивленно разглядывает ее. Что страшного, пожалуйста, пусть разглядывает, но зачем отводить взгляд, едва только Лена посмотрит на учительницу?

Нет, что-то тут было не так. Может, она осуждает, как и мамуля? Но Вера Ильинична прятала взгляд не всегда. Лена встречалась с ее карими, горячими глазами, улыбающимися ей открыто и ясно, и чувствовала, что ее не осуждают, а напротив. Какие-то другие взгляды прятала учительница.

Мама пошла ее провожать. Лена осталась с отцом. Деньги он отдал и был чем-то доволен: все улыбался. А мамуля не знала, что разговоры под голубятней слышны в комнате. Словно нарочно они остановились с Верой Ильиничной именно там.

— Знаете,— говорила мама,— у меня порой такое впечатление, словно Лена старше меня.

— У меня тоже,— ответила учительница и добавила, помолчав: — Может, так и есть? Знаете, я терялась с ними первое время. Совсем не похоже на обычную школу. Там еще подчас живы неискренность, ложь, фарисейство. В этом интернате — обостренное чувство правды. Пусть больной, пусть тяжелой, но правды. Честность до дна.

— Ох,— вздохнула мама,— меня иногда так пугает эта честность.

— Пугаться нельзя,— ответила Вера Ильинична,— просто надо помнить: в школе больных детей — начисто исключается ложь.

— Ишь ты, расфилософствовались,— усмехнулась Лена.— Будто здесь не могли. Папа, прикрой окно.

Отец неспешно встал, подошел к окну. И пока оно было еще открыто, Лена услышала, как сказала Вера Ильинична:

— А Лена... Она могла бы быть Ульяной Громовой, Любовью Шевцовой, понимаете? Великолепный человеческий материал! Какая духовность! — Учительница помолчала. И воскликнула: — Где же справедливость? Почему лучшие больны, а худшим ни черта не делается?

Отец плотно затворил окно и, смеясь, обернулся к Лене.

— А вот с этим,— сказал он,— я не согласен.

✪

В понедельник Федор проснулся от непонятной тревоги.

Родители уже ушли — отец на стройку, мать на свою базу, веселая оттого, что обошлось, и деньги они собрали.

Федор проснулся, когда они собирались, поглядывал спросонья на радостную мать и бодрого отца, а у самого что-то ныло под ложечкой, какая-то была тревога.

Когда родители ушли и в комнате стихло, он услышал неясные ноющие звуки, как будто в луже застряла машина и никак не может выбраться.

Федор встал, умылся и вышел на улицу.

Лето подходило к концу, и хотя до осени было еще далеко, колючую, жесткую траву и пыльную дорогу усыпали жухлые листья тополя. Было безветренно, в блеклом голубом небе неярко светило солнце, пыльные акации, отделявшие райончик от шумных улиц, посерели и обвисли. И все-таки воздух тут особенный, как в деревне,— настоянный запахом травы и горьковатым ароматом флоксов, цветущих в палисадниках.

В тишине снова что-то зарокотало, и Федор опять забеспокоился: звук этот доносился не с шумных городских улиц, а из-за соседних бараков. Он двинулся туда, обогнул один, другой дом и увидел, что возле барака, такой же двухэтажной засыпухи, как и у них, стояло сразу несколько машин и возбужденные, какие-то нервные жители перетаскивали в них свой скарб.

Поблизости тарахтел бульдозер. Федор осмотрел улицу внимательнее и увидел людей с рейками и теодолитами, не одну пару,— ведь они работают в паре, техник и рабочий с рейкой,— а много таких пар, движущихся неспешно, но как-то упорно, както уверенно и настойчиво.

В оживленной толпе грузчиков сверкнула лысина отцовского друга детства Егора, и Федор, лавируя среди сундуков, столов и буфетов, подобрался к нему.

— Кончено,— крикнул Егор, промокая платком лысину,— переезжаем в новый дом.

— Все сразу? — удивился Федор.

— Совпало! — крикнул тот.— Дом-то сносить будут. И вас снесут. Всех снесут. Построят башни. Гостиницу, кажется.

Федор кивнул, отошел в сторону, сравнивая копошащихся, тянущих свои шмотки людей с муравьями, у которых разорили дом, и понял, отчего его тревога.

Он подошел к человеку с теодолитом. Усатый парень махал то одной рукой, то другой, что-то записывал в тетради и на Федора покосился с превосходством.

— Что тут будет? — спросил Федя.

— Площадь,— охотно ответил парень,— фонтан, цветник с голландскими тюльпанами.— Он прищурился, оглядел дома и прибавил: — Построим вместо ваших халуп отель, кинотеатр, универсам. Картинка будет — загляденье! — И удивился:— Слушай, все радуются, а ты чего?..

Федор отошел в сторону. Значит, видно даже по лицу, что он расстроился. В самом деле, вон лысый Егор тут всю жизнь прожил, а радуется, что их барак снесут: еще бы, в новом доме и ванна будет и отдельная кухня. Вот только знать никто друг дружку не станет. В одном подъезде будут жить, а здороваться не станут, потому что чужие. В Федином классе учились двое ребят. Учились и жили в одном подъезде, а узнали об этом только через год — ни разу за год не встретились: шутка ли, домина — шестнадцать этажей.

Федор шел по поселку, глядел на трейлеры, подвозившие экскаваторы и бульдозеры, смотрел на МАЗы, пускавшие душные синие выхлопы, слушал, как постепенно наполняется улица глухим рокотом, и тревога охватывала его все больше.

Он побежал к голубятне.

Турманы заворковали беззаботно и радостно,

приветствуя его,— он сегодня не опоздал, пришел вовремя. Только вот корму не захватил.

Птицы поворачивали головы боком, вопросительно взглядывали на него, а Федор глядел на них отрешенно.

Что теперь будет? С голубями? С Леной? С ним, Федором?

Штора легко шевельнулась, приоткрылась на мгновение, и из-за нее вылетел бумажный голубь. Он нырнул вниз, толкнулся носом о землю, и тут же вылетел новый, а за ним еще и еще.

Федор подумал про Лену с нежностью: целое утро, наверное, делала голубей, чтобы выпустить свою стаю.

Он улыбался, а Лена, откинув теперь штору, пускала в него своих птиц, громко смеялась, и некоторые прилетали сюда, втыкались в железную сетку бумажными носами. Федор вынимал их оттуда и посылал обратно, в ее окно.

— Ты знаешь,— сказал он тоскливо,— скоро все кончится.

— Знаю! — ответила Лена беспечно, и легкость, с которой она сказала это, царапнула его.

— Наш райончик скоро снесут,— объяснил он,— там нагнали столько техники.

— Что же будет? —испугалась Лена.

— Что же не будет,— грустно поправил ее он.— Не будет моей голубятни, твоего дома, моего дома, этой улицы и акаций.

— Что же будет? — глухо повторила Лена. И прибавила:— С нами?

Слова эти будто ударили Федора. Вот в чем его тревога. Сначала неосознанная, только предчувствие, потом явная, но еще не обозначенная словами. До слез жаль их райончика, голубятни, засыпух, но это еще не все сейчас для него. Главное — Лена. Что станет с ними? С ними! Вот.

Он открыл крышку, голуби взвились в небо, то исчезая в неярких солнечных лучах, то возникая вновь белоснежными и красными точками в небесной лазури.

Теперь они были вдвоем — Лена и Федор,— и им надо бы говорить, захлебываясь от слов и смеясь, но они молчали и даже смотрели куда-то в стороны. Словно была между ними обида...

— Я хочу посмотреть,— сказала наконец Лена, и Федор послушно спустился с голубятни. Он снова нес ее на руках, и вновь ее волосы щекотали его, но он не поцеловал Лену. Они молчали.

Шины каталки утопали в пыли, прохожие сочувственно поглядывали на них, а они молчали, будто посторонние.

Рыкали самосвалы, таскали мебель жильцы Егорова барака, ничего не переменилось за это время, и что-то все же изменилось.

Федору казалось, Лена не верила ему и вот проверяет, смотрит сама.

Они вернулись быстро, через каких-нибудь полчаса. Сухо расстались. Федор влез на голубятню и закрыл своих птиц.

Уходя домой, он несколько раз оборачивался, надеясь увидеть лицо Лены, но окно было тщательно затянуто шторой.

✪

Она не понимала, что произошло.

Все утро делала бумажных голубей, чтобы посмешить своей стаей Федора, а он сказал эту новость, и что-то такое сломалось в ней.

Она онемела, окаменела, стала неживой.

Что с ними будет?

Лена знала наверняка, что с ними будет, без всякого этого разрушения, без самосвалов, бульдозеров и других машин. Ей казалось, она ко всему себя приготовила, словно застраховалась, и была готова принять самое горькое.

Только это кажется, будто мы готовы к несчастьям. К ним готовым никогда нельзя быть. О них можно знать, предполагать, догадываться, даже готовиться можно, но готовым быть невозможно.

Она думала: будет постепенно. Все у них не сразу кончится, а протянется долго. Собственно говоря, она ничегошеньки не знала, как будет и что. Это только предполагать мы можем, а располагать — располагает случай. К тому же, когда человек счастлив, его предположения так условны, что он сам в них не верит.

Лена не знала этого, разве только догадывалась. И не было у нее никаких предчувствий, как у Федора, никакой тревоги.

Мастерила бумажных голубей, слушала воркование живых, настоящих, ждала, когда появится Федор, и улыбалась сама себе, представляя, как выпустит на него сразу целую стаю: и у нее есть голуби... А потом остановилась. Словно врезалась с ходу в стенку. И когда он вошел, чтобы снести ее вниз, ей хотелось завыть, зареветь, закричать от отчаяния — так отчетливо и ясно поняла она, что им вместе осталось недолго...

Но Лена молчала. И сердце ее билось ровно и скучно. «Если бы,— подумала она,— Федор решил поцеловать, наверное, отвернулась бы».

Ей было тошно все.

Мир. Сама. И даже Федор.

Они проехали по поселку, вернулись домой, Лена не посмотрела и вслед Федору. Запахнула плотной шторой окно, закрыла глаза, откинулась на подголовник каталки.

Разве можно так безжалостно?

Все срыть, уничтожить, их дома, голубятню, поселок! Выстроить нелепую гостиницу, разбить фонтаны и клумбы!

Она представила: журчит вода в чужом бетонном фонтане, и вода эта неживая, нет, у нее плоский, пустой звук, когда струя разбивается о бетон. Живое чувствует, способно страдать, и только неживое может спокойно течь, разбиваясь в капли и не горюя о том, что здесь было прежде.

Мертвый фонтан, мертвая вода, как в сказке, мертвые тюльпаны размахивают мертвыми ярко-красными цветками.

А голубей нет — их место в небе занял небоскреб. И тополей нет — густая мертвая травка. И их нет, Федора и Лены. И не было никогда.

Все что есть — не было.

Так зачем же она придумывает сейчас то, чего все равно не будет?

Лена кружилась в кресле, говорила себе: «Заумь, заумь все это!» — но ничего поделать с собой не могла. И вдруг остановилась. «Неужели эти мысли оттого, что она больная, безногая, ненормальная? Неужели вся эта неотступная заумь от неполноценности, от ущербности, в которой сама себе признаться не желает, боится, не хочет?..»

Ее поведение показалось ей похожим на приступы. На ненормальные приступы болезни. Лена попробовала разобраться, привести свою жизнь в систему. Острый запах стружки, чтение Уайльда под грохот джаза и улюлюканье футбольных трибун по телевизору. Слезы, поцелуи, солнечное затмение, когда у нее едва не остановилось сердце. И сегодня — эта онемелость и мертвенность...

Но ведь раньше этого не было! Никогда!

У них в интернате всегда царила на редкость здоровая обстановка. Строгие, спартанские правила.

Железное стремление не поддаваться болезни выработало неписаные законы, которым все подчинялись. И она, Лена, была главным блюстителем тех законов...

Может, все-таки воля? Вот эта воля, свобода ее виновата, когда она одна, без, как выражаются на собраниях, коллектива. Пусть не здорового в буквальном смысле слова, но здорового душевно.

Она помнила: девчонки срывались. То одна, то другая. Но нечасто. Все остальные как бы поддерживали их. Когда в ряду — не опасно, если споткнешься. Упасть не дадут.

И вот она одна осталась.

Наедине с собой. Один на один с Федором, со всем, что у них случилось. И ее ломает, корежит, скручивает.

Лена засмеялась. А еще Вера Ильинична сказала, будто она могла бы стать Ульяной Громовой или Любкой Шевцовой.

Чушь. Словесная шелуха. Не могла.

Лена крутнулась на кресле. Устало откинулась. Закрыла глаза. И неожиданно заснула.

Будто провалилась в черную яму...

✪

Наступили угарные дни.

Словно никогда не было в старом поселке деревенской тишины, пыльных дорог, запаха трав и шума тополей. Разворошили огромный муравейник, и никто не знал, оказывается, сколько народу живет в том муравейнике. Люди уезжали в новые дома где-то на окраинах, а их, кажется, не убывало. И передвигались все до странности торопливо. Словом, как на тонущем корабле, началось в поселке столпотворение.

Однажды вечером ордер на новую квартиру принес и батяня. Был он порядком навеселе, но ни мама, ни Федор внимания на это уже не обратили — так ошеломила их новость.

Федор все надеялся, что обойдется, что до них очередь не дойдет, и все останется, как было, но не миновало, не осталось, не обошлось.

Мамка и батяня тут же засобирались глядеть новую квартиру, потребовали, чтоб ехал и Федор.

— Да не горюй,— уговаривала его в автобусе мамка,— сам говорил, голубей продашь, вот и продай их тому отставному полковнику, что интересовался.

Он вздыхал, кивал, все у него в голове смешалось, да еще тяжесть давила страшенная — Лена, ее равнодушие и пустота.

Федор приходил к ней. И днем, когда никого не было, и вечером, при родителях. Лена говорила с ним так, будто только познакомилась. Холодно, на какие-то абстрактные темы. А когда он приблизился к ней, отъехала назад, да так, что трахнулась каталкой о стену. И глядела на него стеклянным, пустым взглядом...

Новая квартира была на десятом этаже, далеко на окраине, но с десятого этажа не открывались, как думал Федор, лесные дали, потому что их дом окружали монстры в шестнадцать и двадцать этажей. Оставалось глядеть лишь на небо да на гулкое пустое дно каменного колодца, который образовывали новые дома.

Зато мамка! Радовалась, словно девчонка. Включала и выключала краны, двигала рычаг душа, разглядывала электрическую плиту, свешивалась через край лоджии так, что батяня, пугаясь, хватал ее за пояс.

— Красотища! — кричала мамка.— И — гляди! — ни одной пивнушки!

Отец хмыкал, буркал: «Да чего я! Уж совсем, что ли?» — а сам довольно улыбался, расхаживал по комнатам хозяйским шагом, вымеривал длину стен и повторял:

— Раз квартиру дают, значит, ценят? А? Или не так?

— Ценят, ценят,— смеялась мать,— когда хочешь, тогда можешь.— И подтрунивала над ним: — Только редко стараешься!

Две комнаты, светлые и просторные, кухня, ванная, теплый туалет! Да разве было все это у них там? Только мечтать могли. И, конечно, Федор радовался, только был он, слава богу, не в том возрасте, когда вещи заслоняют другое, то, что поважнее...

В старом их поселке теперь появились новые звуки. То вечером, то днем вдруг начинало что-то грохотать, и Федор, как завороженный, шел на этот звук.

К автокрану был прикреплен на тросе круглый железный шар. Крановщик поднимал его, слегка отворачивал кран, как бы замахивался, а потом с лёту бил огромным шаром по засыпухам.

С треском и визгом стены рушились, обнажая грустные, пустые комнаты, в которых столько лет жили люди.

Федор глядел с тоской, как в одной комнате забыли на стене — или просто бросили? — дешевую цветную картинку в рамке, а в другой стояла голая солдатская кровать, или вдруг обнажилась стена с окном, и на подоконнике шевелила листьями герань в старом, почерневшем глиняном горшке.

Ночами Федору снились однообразные кошмары: голые трубы, переплеты окон, в которых хлопали на ветру форточки. Слышались ему гулкие удары круглой железной чушки о стены старых домов, и он с содроганием думал о том, как настанет час их дома, как рухнет он, словно упадет на колени большая старая лошадь.

Но он не увидел этого.

Вместе с батяней и мамкой он перевозил вещи на новую квартиру; отец заторопился с машиной назад, а они с матерью задержались разобрать вещи, и когда вернулись в сумерках — вернулись, неизвестно зачем,— все было кончено. Их старый дом лежал горой старых, прогнивших досок, клочьями ваты и прахом размельченной штукатурки.

Возле дома толокся отец, с оживлением сообщивший, что рушил железной кувалдой свой дом он сам, попросил у крановщика: хотелось обязательно самому, просто руки чесались.

Мама заплакала, но слезы у нее были легкие, это Федор понял, у него же в горле стоял тяжелый ком, и опять он удивился отцу, его странной безалаберности: чему радуется и зачем разбивал свой же дом?

В Федоре открылась какая-то теплая любовь к старому жилью, будто убили живое существо.

Он отошел назад, сумерки скрыли его. Федор отправился к голубятне.

Окна в доме Лены ярко светились, будто их вовсе и не касалось все, что происходило вокруг, будто этот дом, хоть он и повыше и получше бараков, претендовал на вечность, на бессмертие и оттого был беспечен.

Федор не поднялся к голубям. Днем он кормил их, выпускал полетать, все время поглядывал на окна Лены. Из-за штор не доносилось ни единого звука.

Он ушел тогда, понурясь, потом грузил в машину вещи, уехал... Машина проходила мимо окон Лены, она, наверное, все видела. Но и тогда, в тот миг,

когда уезжал в грузовике Федор, она не раздвинула штору.

Федор осторожно приподнялся на ступеньку лестницы, ведущей на голубятню. На штору ложилась тень Лены. Она читала книгу.

Федор услышал, как громыхает в нем сердце. Сначала он хотел окликнуть Лену и даже издал какой-то звук, но горло сдавило, он поперхнулся, едва не закашлялся и с трудом сдержался.

Тень шевельнулась, будто Лена прислушивалась к звукам, доносившимся с улицы.

Федор замер.

Он с тоской подумал о том, что потерял сегодня дом, что скоро потеряет голубей... И теряет, теряет, теряет Лену!

✪

Федя приходил к голубям, она это поняла.

Услышала сдавленный звук, похожий на сдержанное рыдание. Но не подала виду. Лена, конечно, все видела. Как он грузил вещи и проехал мимо окон на грузовике, не отрываясь глядел на нее и не видел — она же была за шторой. Как потом его отец крушил с ожесточением свой дом, только летели стекла и штукатурка.

Все как бы пересохло в Лене. Она обмелела, будто ручей в жару. И вся влага, вся ее доброта, жадность к жизни, вся любовь ее ушли под землю. Скрылись от людских глаз. Даже лицо ее обострилось и высохло.

С непонятной жестокостью казнила она себя целый день. «Надо кончать,— приказывала себе.— Самой. Все сделать собственными руками. Так легче».

Кто ее научил? Мать? Отец? Интернат?

Болезнь, вот кто ее научил этой жестокости. Лена вела с болезнью прямой диалог, без посредников. Вечером, когда появлялись мамуля и папка, она лицедействовала, улыбалась, шутила, а потом пряталась в синеватом луче, плывущем с экрана телевизора, когда можно было молчать или изображать внимательность, не видя, что показывают, и не слыша, о чем говорят.

«Кончать!» — приказывала она себе и считала время, которое ей оставалось. Немного, в общем-то. Отец должен был скоро получить ордер на квартиру в новом доме. И тогда — все. Конец. Она свободно вздохнет.

Не зря говорила Вера Ильинична будто Лена похожа на героиь. Честное слово, она одолеет все.

Всю жизнь болезнь учила Лену превозмогать ее. Болезнь — это горе. Несчастье. Так почему бы не одолеть счастье? Это же, видимо, проще! . И когда в прихожей задребезжал звонок, она не тронулась с места, решив, что это Федор.

Но звонок заливался требовательно и часто — Федор так трезвонить не мог, и Лена покатилась в прихожую.

На пороге стояла почтальонша с недовольным лицом. Увидев Лену, она подобрела и назвала ее имя.

— Заказное письмо,— сказала тетка,— строгое! Даже написано: лично, в собственные руки.

Лена вывела каракуль в почтальонской тетрадке, поблагодарила, закрыла дверь и, не переставая удивляться, поехала в комнату. Действительно, на конверте было написано печатными буквами: «Лично, в собственные руки»,— и Лена открыла его.

Она сразу узнала Валин почерк.

«Даже если ты очень больна,— прочитала Лена,— тебе нет прощения. Мы знаем, Вера Ильинична поехала к тебе на другой же день, но ты не появилась. А Зина так любила тебя. Запомни день ее смерти — суббота, когда было солнечное затмение. Пусть этот день станет для тебя днем вечного укора».

Лена втянула воздух, а выдохнуть его не могла, будто пробка закрыла легкие; в ушах возник тонкий звон и с каждой секундой становился громче. Неимоверным усилием она вытолкнула воздух из себя, выронила письмо. Ее трясло. Просто колотило. Лена принуждала себя заплакать, но у нее ничего не получалось. Она как бы плавала в ужасе, в черной жиже, у которой нет ни дна, ни берегов. Можно только барахтаться — плыть бессмысленно, потому что некуда.

Зина умерла! Это было невозможно. Невероятно. Почему? Как? Зачем?

Она и так страдала всю жизнь. Парализована левая рука и нога. Зина сказала однажды: «До меня ему добраться легко!» «Ему?» — удивилась Лена. «Ну да,— засмеялась Зина,— косоротому параличу. Чуть опуститься пониже или подняться повыше, и прямо сюда».— Она ткнула себя в сердце. Неужели угадала?

Но Вера Ильинична! Как смогла она! Ведь она же все прекрасно знала. Знала, что Зина и Лена подруги — не-разлей-вода. И приехала, а смолчала...

Зачем? Зачем такая жестокость?

Лена попыталась припомнить тот ее визит. Ведь что-то же было?.. Да, она односложно отвечала про Зину. Потом заговорила о затмении. Лена рассказала, как похолодели руки. Как ее зазнобило, и Вера Ильинична спросила, побледнев: «И ты?»

Она не задумалась. Весь мир был розовым для нее в те дни, и она не задумалась, не спросила, что это значит: «И ты?» Кто еще? Вера Ильинична?

Оказалось, Зина.

Лена, наконец, заплакала. Валя написала, что Зина умерла в субботу, а потом пришла Вера Ильинична Зачем же она пришла? Ведь Зину еще не схоронили! Сказать?.. Позвать на похороны?.. И промолчала! Бессовестная! Как она посмела?!

Лена стала торопливо одеваться. Открыла дверь и выкатила коляску на лестницу. Цепляясь обеими руками за перила, сдерживая каталку, спустилась вниз.

Ее транспорт не предназначался для езды по улице — только для коротких передвижений по комнате. Вперед, назад. Можно делать круги. А для того, чтобы ехать по улице, нужна совсем другая коляска — с рычагами и даже с тормозами. Но Лена не задумывалась над этим. Захлопнулась дверь подъезда за ней, и она погнала каталку мимо акаций, туда, где шумела оживленная улица.

Она ничего не видела перед собой. Не хотела видеть.

Он спросил растерянно: «Куда ты?» Но она даже не ответила. И все. Федор остался на обочине.

Лена выкатилась на улицу и помчалась по асфальту. Ей надо было ехать по тротуарам, но там шел народ. А люди мешали ей сейчас. Тут, по дороге, получалось быстрее. Она подгоняла колеса, смотрела упрямо вперед и не думала, что до цели несколько долгих километров.

Машины, притормаживая, осторожно объезжали ее, некоторые водители оборачивались, и Лена с опозданием сообразила, что сделала ошибку, не взяв денег: можно было остановить «Волгу»-пикап и погрузиться в отсек для перевозки вещей.

Она истерически рассмеялась.

Для перевозки вещей! Вот куда она годится, и только. И Зина была такой. И Женя. Все они вещи — почти неодушевленные предметы. Их можно перевозить в задних отсеках пикапов.

Улица шла под уклон, но Лена не замечала этого. Не замечала и упрямо подгоняла колеса руками.

Несколько раз твердые шины больно ударили по рукам, но она не обратила внимания, и только, когда коляска, разогнавшись как следует, помчалась под гору, пришла в себя. Спицы позвякивали в колесах, ветер выбивал слезы, и она вдруг увидела, что скорость несет каталку на левую сторону, прямо под колеса встречных машин.

Ей стало смешно.

Лена сжала руками колени, даже не пытаясь управлять каталкой, и глядела, завороженная, как с каждой секундой приближается к троллейбусу. Водитель заметил ее, глаза у него расширились, он резко затормозил машину, остановил совсем. Лена разглядела голубой бок троллейбуса, аккуратные заклепки ровным рядом, откинулась назад и закрыла глаза.

И вдруг закричала:

— Не надо!..

Послышался дробный стук, каталка резко замедлила ход, отвернула от троллейбуса, выбралась на тротуар и остановилась.

Лена увидела перед собой измученное лицо Федора. Он спрашивал ее:

— Что ты шепчешь? Что шепчешь?

А она не шептала, она кричала, она же кричала: «Не хочу! Не надо!»

Федор больше ничего не спросил, он разглядывал ее лицо, смотрел, наверное, целую минуту, потом исчез за спинкой каталки и спросил:

— Прямо?

— Прямо,— ответила она и говорила потом: — Направо... Налево... Прямо...

Каталка послушно двигалась вперед и замедлила ход только у кладбища. Потом остановилась.

— Зачем? — услышала Лена глухой голос Федора.

— Надо! — ответила она.

— Нет, не надо,— сказал он.

— Пусти! — приказала Лена.

— Не пущу,— ответил Федор.

Лена быстро обернулась к нему. Глаза у нее покраснели.

— Не имеешь права. Зина умерла!

Она тотчас отвернулась, пряча лицо руками, коляска послушно двинулась вперед, и Лена вздрогнула: за узорчатой чугунной решеткой старого кладбища гулко ухнул духовой оркестр.

Заиграла траурная мелодия.

✪

Федор снова остановился.

Если Зина умерла недавно, решил он, то она лежит неподалеку от новой могилы, возле которой играет сейчас духовой оркестр. А Лене незачем видеть похороны. Надо подождать.

Лена молчала, не оборачивалась, и он тихонько покатил ее вдоль ограды.

Осень надвигалась неумолимо, земля рядом с узорчатой чугунной решеткой была застлана цветастым и нарядным половиком из желтых и красных листьев.

Листья шуршали, пахли пряно, нежарко грело солнце, и Федор, содрогаясь, думал о том, что было бы, поддайся он глупой обиде.

Поддайся он обиде, пойди своей дорогой, когда Лена даже не заметила его возле акаций, ее бы просто уже не было или она лежала бы в больнице, и Федор никогда не простил бы себя, до самой смерти.

Лена, показалось Федору, не заметила его, не ответила на вопрос, и он сначала обиделся, пошел дальше, но остановился. Вид Лены встревожил его: что-то случилось неладное, она была не в себе.

Федор повернул и побежал за Леной. Догнать ее было не просто — она мчалась со страшной скоростью прямо по дороге, а Федор бежал тротуаром, лавируя среди прохожих. Потом он догнал коляску, однако обгонять не стал, чтобы Лена не заметила, и двигался позади, в нескольких шагах.

Он налетел на какого-то человека в сером макинтоше, наступил ему на ногу, да, видать, больно, тот схватил Федю за руку, начал ему выговаривать, и еще немного — из-за этого макинтоша случилась бы беда.

Федор увидел, как коляска, раскатываясь, пошла под уклон, затем, неуправляемая, перекатилась на противоположную сторону, навстречу троллейбусу, вырвался из рук серого макинтоша и опрометью бросился за Леной.

Он слышал, как скрипели за ним тормоза машин, но уже не обращал ни на что внимания, выжимал из себя, из своих ног, предельную скорость. Краем глаза он видел, как останавливались люди, наблюдая за ним и за коляской, но никто не сдвинулся с места, то ли растерявшись, то ли надеясь на него; он ухватил каталку за спинку в двух метрах от клепаного бока троллейбуса и откатил на тротуар.

Еще бы мгновение, две секунды...

Духовой оркестр смолк, Федор не спеша подъехал к кладбищенским воротам. Мимо них прошли, бодро переговариваясь и посмеиваясь, музыканты с блестящими трубами, потом молчаливые люди в трауре. Выходя из ворот, все поворачивались к Лене и Федору и внимательно оглядывали их. Некоторые, сделав несколько шагов, оборачивались и смотрели еще. Нигде не смотрели на них так пристально, как тут, у кладбища.

Федор покатил Лену по аллее. В листве весело кричали птицы, солнце, прорываясь сквозь кроны деревьев, театральными прожекторами освещало памятники. Кладбище показалось Феде чем-то условным и нереальным, будто существующим понарошке, чтобы только попугать людей...

Зинину могилу они нашли быстро, она была с краю, и неутрамбовавшаяся земля на соседних могилах имела разные оттенки. Свежая и коричневая на последних, она подсыхала к началу ряда, и на Зининой могиле стала плотной и серой.

Федор увидел, как сникла Лена. Скрючилась в своей каталке, закрыла руками глаза, спина ее содрогалась в молчаливых рыданиях.

Слабость ее и беспомощность пробудили в Федоре сострадание и нежность, и два этих чувства вновь, как когда-то, сделали его уверенным и смелым.

Федор обошел коляску, присел перед Леной и властно оторвал от лица ее руки.

— Лена! — звал он ее.— Лена! Ты вспомни! Вспомни, пожалуйста. Ты же сама говорила! Про солнечное затмение. Все наши беды — это затмение, и без них тоже нельзя. Без них разучишься видеть солнце!

Лена смотрела на него сначала с непониманием, потом взгляд стал осмысленным.

— Знаешь, какие слова откопала Зина в книге? — сказала она неожиданно ясным голосом.— Слушай.— Лена глубоко вздохнула, словно освобождаясь от тяжести, мельком взглянула еще раз на Зинину могилу и внимательно всмотрелась в Федора.— Слушай,— повторила она: — «Участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы — лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один».

— Из библии? — спросил Федор.

— Из Чарлза Перси Сноу,— ответила Лена.— Слыхал?

Федор качнул головой.

— Вот и Зина,— проговорила она,— один на один.

— Хватит! — приказал Федор, и Лена не возразила. Он развернул каталку и покатил ее к выходу. Когда массивные ворота остались позади, Федор испытал облегчение. Тяжелое и горькое осталось за плечами, а улица звенела жизнью: промчалась визгливая дворняжка, гудя пронесся троллейбус.

Федор почувствовал власть и превосходство над Леной там, на кладбище. Но длилось это всего минуту. Потом она привела слова какого-то Перси. Или Сноу. Видать, англичанин... И Федя опять шагает, мучительно раздумывая, что бы сказать Лене. Как воспротивиться этим мудрым, но холодным словам?

Что она там говорила? «Оазисы, созданные собственными руками».

— Знаешь,— сказал Федор,— твой Чарлз спорит сам с собой.

Она не ответила.

— Любовь, сильные привязанности — что еще там? — надо создавать. Собственными руками. Сам же он говорит.

Лена молчала. Федор разозлился: так же рехнуться можно! Спятить! Он решительно развернул коляску к себе.

— Правильно он про оазисы говорит, твой этот англичанин! — сказал Федор.— Но, ведь человек — существо мыслящее. Если он сознает неизбежность одиночества, значит, в силах превратить всю свою жизнь в сплошной оазис!

— А Зины нет! — заплакала Лена.— И меня не будет.

— Всех нас не будет! Так что теперь — ложиться и помирать?

— Нет, Федя,— сказала она,— богатый нищего не поймет. В нашем интернате не до оазисов.— Она подумала, посмотрела на Федора жалеючи и добавила: — Грех нам оазисы создавать.

— Да кто,— закричал Федор,— кто тебе вдолбил эту чушь! Ты же от себя отрекаешься! А ты сильная, я видел! Разве же мало здоровых людей, несчастных более вас! Да ежели все будут убиваться! В могилу глядеть!

На них оборачивались, но Федор никого не замечал, кроме Лены, и нежность рвалась через край. Сердце замирало от боли, от жалости к этой девчонке, и чем беспомощней она была, тем больше любви рождалось к ней в Федином сердце.

— Сегодня солнечное затмение просто! — говорил он, задыхаясь.— Думай так: затмение, и все. Видишь, руки у тебя снова холодные, как тогда! Да проснись! Посмотри вокруг! Вспомни, черт возьми, Островского: жизнь дается только раз! Жить же надо! Жить!

Федя почувствовал, что вот-вот сорвется и заплачет, резко развернул каталку и погнал ее перед собой. Он плакал молча, кусая губы, чтобы не издать ни единого стона, и бежал что есть мочи, только посвистывали спицы в колесах. Федор плакал от отчаяния, что не может убедить Лену, не может сломать ее беды, и сам, сам ощущал неотвратимое приближение горя. Откуда?

Он знал, откуда.

Там, в их районичке, за плотной стеной старых акаций гремели бульдозеры, ахал круглой кувалдой подъемный кран. Там сносили старое, чтобы построить новое.

Но новое не всегда радость. А старое терять нелегко. Особенно, если оно окрылило твою любовь.

✪

Они приближались к дому Лены, а навстречу им, размахивая руками, бежали трое: папка, мамуля и Вера Ильинична.

Лена вспомнила — письмо упало на пол. Родители, не найдя ее, обнаружили листок, помчались звонить Вере Ильиничне, та тут же приехала. Они все знали, все успели сообщить друг другу, и у каждого теперь глаза были круглые от ужаса.

Вот близкие люди, а все-таки какие разные! Мамуля, едва подбежав, крикнула Федору:

— Зачем вы ее туда повезли?

А папка сказал совсем другое:

— Спасибо, что не оставил Лену.

Федя смолчал, а Лена не могла увидеть его лица. Вера Ильинична! Она смотрела на Веру Ильиничну, разглядывала ее пристально, хотела задать свой единственный вопрос и, странное дело, чем дольше вглядывалась в лицо учительницы, тем меньше хотелось ей спрашивать.

Учила Веру Ильиничну Лена, еще в шестом классе учила, не жалеть, говорить правду, а теперь вот сама Вера Ильинична урок ей преподносит — на ту же тему, о жалости. В самом деле, коли посмотреть на дело рассудочно, что она выиграла, Вера Ильинична? Лена все равно бы про Зину узнала, рано или поздно. Учительница, наверное, клянет себя за ошибку. Но все-таки ошибка ее добрая. Не решилась, пожалела, отложила. Пощадила.

Лена шептала ей тогда про Федора. Сказала это: «Да-да-да!» Солнце Лену слепило, все казалось таким прекрасным... За что же Веру Ильиничну судить? За добро? О чем же ее спрашивать?

Они подошли к подъезду, Лена услышала голос Федора:

— До свидания.

Лена развернула коляску. Федя стоял шагах в десяти — черноволосый, в светлой рубашке и потертых джинсах. И глаза у него усталые были. И руки висели плетьми.

Будто кто бичом над ухом щелкнул—Лена вздрогнула, поняла: сегодня Зину потеряла, а теперь... Как за соломинку, схватилась за ту свою идею — ей об оазисах думать не дозволено, грешно,— но ничего не выходило, не получалось ничего, выдумка эта водой сквозь пальцы катилась, в ладонях ничего не оставляя, а Федор, вот он, живой Федор, отступил назад — на шаг, еще на шаг.

— Федя,— сказала Лена глухо,— Федя, что же будет?

— Я приду,— крикнул он, отступая.— Ты не волнуйся, я приду.

Федор повернулся и побежал, а коляска Лены тихо повернулась к дому, сильные отцовские руки подхватили ее, и она поплыла в воздухе. Лена ощущала запах табака и колючую щеку отца. Она показалась себе маленькой, совсем маленькой в крепких отцовских объятиях. Ей захотелось заплакать, и она заплакала, светло и тихо, как плачут дети, когда боль и обида уже прошли и слезы льются просто так, без тяжести и беды.

Сквозь такие слезы проступает улыбка, будто сквозь тучи пробивается солнышко. И в чистых глазах земля становится черней, трава зеленей, и голубей становится речка. И с плеч спадает тяжесть.

Ты ведь не один. А когда не один, не так трудно, как кажется поначалу. Они вошли в комнату, сели на диван, и Вера Ильинична потупилась.

— Дай я тебя поцелую,— сказала вдруг Лена и почувствовала, как дрогнула рука той, которую она звала классной мамочкой.



— Спасибо,— шепнула учительница, но зря она это сделала, не поняла немножко Лену.

— Дай я тебя поцелую,— сказала Лена мамуле и крепко прижала к себе, как бы передавая ей силы свои.

Мама носом шмыгнула, Лену чмокнула в ответ, тоже не поняла ее как следует.

— Дай я тебя поцелую,— сказала Лена папке и крепко прижалась к нему, словно беря себе его твердость. И тот прижал ее крепче. Шепнул: «Вот переедем — и в командировку». Он понял. Все понял, что требовалось.

Лена выпрямилась. Улыбнулась и сказала:

— Видите, как я изменилась. Лизуньей и плаксой стала. Казалось бы, надо наоборот. Все-таки девятый класс...

Она помолчала, оглядела их троих, самых близких взрослых людей, оглядела строгим и сухим взглядом и произнесла очень просто, как бы между прочим:

— Завтра — сентябрь. Я уезжаю в интернат.

Мамуля глазами захлопала, а отец, понимая, кивнул.

— Я должна там быть,— твердо сказала Лена и взглянула на Веру Ильиничну.

Тогда, в шестом, Вера Ильинична носом шмыгала, а теперь сидела спокойная, прямая, даже, кажется, безразличная. Смотрит на Лену сухими глазами. И, пожалуй, точней всех знает, чего добивается Лена.

Девочка, которая кажется старше взрослых.

✪

Федор пришел через день.

Накануне начался сентябрь. Федя учился в новой школе, недоверчиво вглядываясь в новые лица одноклассников,— теперь ведь никто не знал, что отец у него — Джон Иванович, «американец», дядя Сэм, да и батяня пока совсем другой, держится еще, так что сторониться ребят теперь было не обязательно, даже вовсе ни к чему,— и Федор разглядывал их с интересом, хотя и с опаской.

После школы мамка заставила крутить дыры в новой квартире — для карнизов, для полок на кухне. Он думал, справится вмиг, но провозился, это было тяжкое дело, бетон с трудом брало даже победитовое сверло, и закончил работу только поздно ночью, да и то с помощью батяни, а наутро — снова школа, потом уроки...

Он пришел через день. К вечеру.

Вначале поднялся на голубятню, покормил птиц, выпустил полетать. Смотрел на окна Лены и тревожился — пусто там было, даже штор нет. Крикнул пару раз — молчание.

Федор спустился вниз, вошел в подъезд, позвонил.

Звонок прогремел, кажется, громче обычного. В квартире было тихо. Он снова и снова нажимал кнопку звонка, но никто не подходил и не подъезжал к двери. Федор позвонил соседям, те тоже не отвечали.

Спустился вниз, задумался и полез по водосточной трубе. Его словно ударило, когда он приник к стеклу. Голые стены, пол, яркий там, где стояла мебель, и выцветший в середине. Пол тщательно подмели, когда уезжали, может быть, даже вымыли, он тускловато поблескивал, бросая зайчики от последних лучей заходящего солнца на мелкие гвоздички обоев.

Федор оглядывал пустую комнату еще и еще раз, словно стараясь запомнить все до мельчайших подробностей. Он был там совсем немного и знал эту комнату другой. А главное, там всегда была Лена, и остальное не имело абсолютно никакого значения — где шкаф, где диван, где телевизор; главное — Лена. Вокруг нее стояло как бы сияние — радостное или грустное,— и этот свет вытеснял остальное, приглушал подробности, делал их незначительными и неважными...

Федор пригляделся: у двери, в темном углу лежал маленький целлулоидный пупсик. Голая розовая куколка. Она лежала очень неловко — уткнувшись лицом в пол и задрав руки. Будто бросилась в отчаянии на землю.

Федя оглядел пустую комнату еще раз и спустился на землю.

Он прислонился спиной к водосточной трубе и принялся следить за голубями.

Солнце упало за акации, но небо было прозрачным и светлым, и голуби кувыркались, купаясь в воздушной лазури.

Что-то замкнулось в Федоре. Он молчал дома. Он даже ни о чем не думал. Пусто было в голове.

На уроках, когда его поднимали, он вставал, растерянный, не знающий, что сказать, и ребята уже начали похихикивать над ним, тут же присобачив кличку «Угрюм-Бурчеев». Но Федор и этого не слышал.

Тело его как будто потеряло способность ощущать, а душа — чувствовать. После уроков он садился в автобус и ехал в старый райончик. Кормил голубей, следил за их полетом и каждый день поднимался по водосточной трубе на второй этаж дома напротив.

Глаза его стекленели, он висел, обхватив трубу, глядел в пустую комнату и не шевелился.

Однажды Федору некуда стало подниматься. Старая водосточная труба лежала в груде развалин, ветер продувал ее, издавая тоскливую однозвучную ноту, окно, через которое смотрела Лена, торчало мертвым крестом переплета.

— Эй, парень,— крикнул Феде экскаваторщик, грузивший щебень в самосвал,— убирай свою голубятню. Завтра будем рыть котлован.

Федор онемело смотрел на развалины дома и вдруг вспомнил то утро, когда мамка относила деньги на базу. Родители смеялись, шушукались оживленно, а он проснулся в тревоге.

Вот и все. Даже голубей не будет. Он выпустил птиц. Не так, как всегда. Брал каждого голубя, гладил по головке и бросал кверху.

Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей, как всегда, но он пускал их поодиночке, прощаясь с каждым.

Где-то в соседнем квартале жил отставной полковник, готовый купить Фединых голубей, но про полковника Федор не вспомнил.

Птицы носились в прозрачном осеннем небе, а Федор медленно и деловито собирал стружку. Она просохла за ясные и сухие дни, кололась, шуршала в руках, издавая мягкий запах дерева.

Экскаваторщик закончил смену, вытирал ветошью руки, улыбался, сверкая зубами.

— Спичек нет? — спросил Федор.

— Балуешься? — засмеялся мужик.— Смотри, мамка выпорет! — Кинул коробок, махнул рукой, дескать, не возвращай, отправился на остановку.

Федор присел у голубятни. Снова посмотрел в небо. Жадно, в последний раз.

Голуби кружились, разделяясь и вновь сливаясь в легкое светлое облачко.

Стало темнеть. А в темноте голуби сами возвращаются к голубятне. В этот раз не должны вернуться.

Федор поднялся наверх. Захлопнул крышку. Зачем-то повесил замок. Достал коробок.

Рука с крохотным огоньком дрогнула, голубой дымок тонким стебельком отплыл в сторону. Федор выпрямился, оглядел старый поселок. Его уже не было. Несколько бараков кособочились по краям огромной черной площади. Там, где жили люди. Где была пыльная дорога. Только голубятня осталась. Два тополя.

Федор чиркнул спичкой, поднес ее к куче стружки и спустился с голубятни.

Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали перегородки и сухие бревна.

Федор поднял голову. Голуби носились как ни в чем не бывало.

Он повернулся. И побежал.

Народу на остановке было немного, но он полез без очереди, не видя никого. Его обругали, машина тронулась, Федя стоял на задней площадке, прижавшись лбом к стеклу, и смотрел, старался смотреть вниз, на серый и спокойный асфальт.

Но он не удержался. Помимо его воли, глаза посмотрели в небо. Голуби кружились, не подозревая беды. И Федор бросился к двери. Стал колотиться, как сумасшедший.

— Водитель,— закричал кто-то,— остановись, мальчик остановку пропустил!

Троллейбус послушно притормозил, дверь с шипением распахнулась, Федор выпрыгнул, неловко подвернул ногу и грохнулся коленом о дорогу. Острая боль пронзила его, и он словно очнулся.

Спал он эти дни, уснул, как только увидел пустые окна Лены. А тут проснулся.

Голуби! Разве их можно бросить? Разве он имел такое право! Кто-то там сказал, какой-то мудрец: мы отвечаем за всех, кого приручили. Вот и все. Он отвечает за голубей.

И еще. Отвечает за Лену.

Федор подбежал к голубятне, объятой высоким пламенем. Повисли плотные сумерки, и во мраке, возле пляшущих языков огня, метались молчаливыми тенями обезумевшие голуби.

Федор молча поднял руки. Его фигура отбрасывала на землю огромную мечущуюся и трепещущую тень, он заметил ее, обернувшись, и сила влилась в него — он показался себе большим и сильным.

Федя раскинул руки, голуби узнали его, затрепетали над головой, садились ему на плечи, он брал их, воркующих, встревоженных, и прятал под куртку, за пазуху. Все туда все-таки не помещались — двоих он держал в руках. И вот так, с голубями, вошел в отделение милиции. Первое, которое попалось.

Он спрашивал про школу-интернат больных детей, строгие мужчины в милицейской форме слушали его с вниманием и пониманием, объясняли, как туда добраться, а сами поглядывали на голубей, которых вез больным детям этот добрый парнишка.

Потом Федор ехал в коляске милицейского мотоцикла, входил в скрипнувшую калитку, пробирался, сдерживая дыхание, влажной осенней аллеей.

В глубине огромного сада стояло несколько зданий, но свет горел только в одном, одноэтажном, из розового кирпича, теплого в последних отсветах утухающего неба. За окнами было шумно, слышались взрывы смеха, и Федор на минуту почувствовал себя лишним. Но он все-таки крикнул. Первый раз неуверенно и не очень громко. Его не услышали.

— Лена! — крикнул он вновь.— Лена! Лена! Лена!

На подоконнике мелькнула тень, хлопнула форточка, старушечья голова появилась на улице.

— Кого тебе?

— Лену! — сказал Федор.

Бабка убрала из форточки голову, и Федя услышал, как она сказала кому-то:

— Парнишка-то с голубями!

✪

Лена мчалась в коляске, наспех одетая тетей Дусей, по коридору, потом по дорожке, усыпанной листьями, и сердце выпрыгивало у нее из груди.

В темноте было плохо видно, и она едва не наскочила на Федора, выдохнув:

— Ты?

Федор протянул ей турмана, она спрятала его под плащ, к груди, и голубь загулькал, как ребенок.

Лену переполнило волнение, тревога и еще какое-то необъятное ощущение. Оно словно поднимало Оно расправляло плечи, вздымало грудь, разливало по легким освежающий ключевой воздух.

Федор смотрел на нее молча, горячо, и Лена повторила бессмысленно:

—Ты? — И отъехала назад.— Зачем?

Лена чувствовала одно, а говорила совсем другое.

— Зачем ты нашел меня,— говорила она, спеша.— Это ни к чему, понимаешь. Рано или поздно все кончится. Надо самим. Самим легче!

— Голубятни больше нет,— прервал ее Федор.— И твоего дома.

Лена вздрогнула.

Вспомнила поселочек, свой дом, казавшийся ей чужим, гульканье голубей и острый запах трухи.

Нет. Она знала, что не будет. Знала, что не будет и их — Федора и ее. Она все на свете знала и понимала, умная девочка Лена, а вот Федор стоял перед ней, и все тут, стоял, держал голубей, и мелкая дрожь била его.

— Не надо, Федя,— сказала она, не слушая свое сердце. Повторила: — Лучше самим и теперь.

— Знаю,— твердо сказал Федор.— Но ведь нельзя. Понимаешь, я согласен, так, наверное, и бывает, когда люди становятся взрослыми. Но мы же не взрослые. Мы не должны, пока мы не взрослые...

Он умолк на полуслове, не договорил, но Лена поняла.

«Пока мы не взрослые, рассудок не должен нас побеждать. Не должен!»

— Не должен! — проговорила она вслух, и Федор понял, кивнул, подтверждая.

Лена услышала за спиной шаги и голос тети Дуси:

— Деточка, голубушка, а как остынешь?

Она встала между ними, поглядывая то на Федора, то на Лену, и Федор протянул тете Дусе голубя. Потом достал еще. И еще.

— Их надо в клетку,— бормотал он.— Я приду. Сделаю голубятню.

Тетя Дуся ойкала, совала голубей под халат, они бурчали недовольно, но слушались — куда было деваться. Нянечка ушла, шаркая ногами.

Они вновь остались одни.

— Я приду,— спокойно повторил Федор.— Сделаю голубятню. И мы... Пока мы не взрослые.

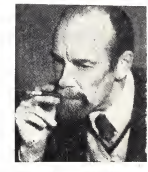
Он наклонился к Лене, уверенно взял ее лицо в свои ладони.

Лена закрыла глаза.

В ближнем окне громко хлопнула форточка.

Сергей Баруздин





✪

Не знал, не ведал никогда,
Что встречу я тебя такую,
Простую
И не простую,
Святую
И не святую,
И это телерь —
Навсегда.

Перед войною мы равны
И перед завтрашним в ответе,
Хлебнувшие
Горький ветер,
Дети
И бывшие дети,
Пришедшие
С той войны.

✪

Июньская хнычет логода,
Дождь с утра дотемна.
А было девчонке три года,
Когда началась война.
И солнце тогда палило,
Землю сжигала жара,
Все было, все это было
Для нас, как будто вчера.
От вражеской авиации
Не виден в небе рассвет.
Дороги эвакуации
Не ломнит девчонка, нет.
А я ее вижу в теллушке,
Едущую на восток,
Крохотную болтушку,
Тоненькую, как росток.
Словно я рядом с нею
На дальних дорогах был,
Словно шинелью своею
От смерти ее лрикрыл.
...Ты входишь красивая, тонкая,
И кажется, дождь перестал.
Я ломню тебя девчонкой,
Которой тебя не знал.

✪

Мать олускают в землю.
Вот какие дела!..
Голосу разума внемлю:
«Что ж, ложила, пожила...»
Мы стоим у могилы.
Зимний сырой рассвет.
Как много раз это было,
А странно, что мамы нет...

✪

Снова лоезда и самолеты,
И, увы, частенько доктора...
Жизни нелременные заботы,
Как вчера и как лозавчера.
Я готов куда угодно мчаться,
Радоваться грусти и борьбе,
Чтоб к тебе скорее возвращаться,
Открывая новое в тебе.

✪

Ты лросишь вспомнить о войне...
Что мне сказать, ответить мне!
Пока я жив, лока дышу,
Я ту войну в себе ношу
И за себя и за других,
Что не лришли с передовых,
За тех, что гибли лод огнем,
За тех, что умерли лотом...
И мне рассказывать о ней
С годами все трудней, трудней...

✪

Былые годы не отдам,
С тобой не លоделю.
Как ношу, сохраню их сам,
Сказав тебе: «Люблю...»
Твои возьму и сберегу,
Как самый верный знак.
Ты знаешь: без себя могу,
А без тебя никак.

✪

Остановка и снова в путь.
На душе светло и легко.
Как бы мне в тебя заглянуть,
Заглянуть глубоко, глубоко!..
Только ты далеко-далеко,
Близко и далеко...

✪

Когда мы встретились с тобой!
Зимою или летом,
А может быть, весной хмельной!
Давно минуло это.
Давно, как старое кино,
Знакомое до боли,
Как зерна, слитые в одно
В большом российском лоле.
Безмерна ширь, бескрайна даль,
Бесценны наши земли...
Все вместе — радость и печаль,
С тобою все лриемлю.

✪

Считай, мне крелко ловезло.
Войну лрошел и не согнулся,
На двух своих домой вернулся
И вот живу, смертям назло.
Считай, мне крелко повезло.
Средь будней путь лорою труден,
Я шел, как мог, навстречу людям
И сохраняю их телло.
Считай, мне крепко повезло.
Хоть счастье трелетно и хрупко.
Плывет все дальше наша шлюпка,
И я держу твое весло.

Анатолий Тоболяк

1. „История одной любви"

2. „Откровенные тетради"

3. Альберт Лиханов

„Солнечное затмение"